

INSPIRIA

Девушка из Германии

«Незабываемый роман, который займет свое место среди великих исторических романов о Второй мировой войне».

АДРИАНА ТРИЖИАНИ, автор бестселлера «Жена башмачника»



АРМАНДО ЛУКАС КОРРЕА

INSPIRIA

Annotation

Роман переведен на 15 языков, издан в 30 странах и будет экранизирован продюсером фильмов «Отступники» и «Остров проклятых».

Книга основана на реальных событиях.

Берлин, 1939 год. Ханна Розенталь – еврейская девочка с арийской внешностью, и теперь, когда улицы Берлина увешаны зловещими флагами, ее семье больше не рады на родине. Проблеск надежды появляется в виде лайнера «Сент-Луис», обещающего евреям убежище на Кубе. Но корабль, который должен был стать их спасением, похоже, станет их гибелью.

Семь десятилетий спустя в Нью-Йорке, в свой двенадцатый день рождения, Анна Розен получает странную посылку от неизвестной родственницы с Кубы, ее двоюродной бабушки Ханны. Анна и ее мать отправляются в Гавану, чтобы узнать правду о загадочном прошлом их семьи.

- [Армандо Лукас Корреа](#)

-

- [Часть первая](#)

- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)
- [Анна](#)
- [Ханна](#)

- [Часть вторая](#)

- [Суббота, 13 мая](#)
- [Понедельник, 15 мая](#)
- [Среда, 17 мая](#)
- [Четверг, 18 мая](#)
- [Пятница, 19 мая](#)
- [Вторник, 23 мая](#)
- [Четверг, 25 мая](#)
- [Суббота, 27 мая](#)
- [Вторник, 30 мая](#)
- [Среда, 31 мая](#)
- [Четверг, 1 июня](#)
- [Пятница, 2 июня](#)
- [Часть третья](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
 - [Анна](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [Анна](#)
 - [Ханна](#)
- [Примечание автора](#)
- [Слова благодарности](#)
- [Пассажиры судна «Сент-Луис»](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- 3
 - 4
 - 5
 - 6
-



Армандо Лукас Корреа

Девушка из Германии

*Моим детям:
Эмме, Анне и Лукасу
Ане Марии
(Карман) Гордон,
Джудит (Киппель)
Стил и Герберту
Карлинеру, которые
были ровесниками
моих детей, когда
поднялись на борт
«Сент-Луис»
в порту Гамбурга в
1939 году*

*Вы мои
свидетели.*

ИСАИЯ 43:10

*Воспоминания –
это то, что я
предпочла бы
забыть.*

ДЖОАН ДИДИОН

Armando Lucas Correa
THE GERMAN GIRL

Copyright (c) 2016 by Armando Lucas Correa
Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., is the original
publisher

© Норова-Лукина В., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Часть первая

Ханна и Анна

Берлин – Нью-Йорк

Ханна

Берлин, 1939

Мне почти исполнилось двенадцать, когда я решила убить родителей. Решила со всей серьезностью. Я лягу в постель и дождусь, когда они уснут. Это всегда было легко определить: папа, как обычно, закроет большие, тяжелые окна с двойными рамами и задернет плотные зеленые, с бронзовым отливом, шторы. В очередной раз он повторит то, что говорил каждый вечер после ужина, уже более разнообразного, а не просто дымящейся миски безвкусного супа.

– Ничего не поделаешь, все кончено. Нам нужно ехать.

Потом мама начнет кричать и попрекать его срывающимся голосом. Она снова будет мерить шагами квартиру – свою крепость посреди погибающего города, пристанище последних четырех с небольшим месяцев, – пока окончательно не выбьется из сил. Потом она обнимет отца, и ее слабые всхлипы вскоре затихнут.

Я выжду пару часов. Они не окажут никакого сопротивления. Я знала, что отец уже сдался и хотел уйти. С мамой все было сложнее, впрочем, она приняла такую большую дозу снотворного, что быстро уснет, убаюканная ароматами жасмина и герани. Несмотря на то, что мама постепенно повышала дозу, она все равно просыпалась по ночам в слезах. Я бегала посмотреть, что случилось, но мне удавалось разглядеть сквозь приоткрытую дверь только то, как папа обнимал безутешную маму, похожую на маленькую девочку, которой приснился ужасный кошмар. Вот только для нее кошмаром было бодрствование.

Никто больше не слышал, как я плакала; никому не было до этого дела. Папа сказал, что я сильная и вынесу все что угодно. Но не мама. Боль захватила ее целиком. В доме, куда больше не пускали солнечный свет, ребенком была она. На протяжении всех четырех месяцев мама плакала по ночам. С тех самых пор, как улицы города покрылись битым стеклом и наполнились смрадным запахом пороха, металла и дыма. Именно тогда они и начали планировать наш отъезд. Родители решили покинуть дом, где я родилась, и запретили мне ходить в школу, в которой меня больше никто не любил. Потом папа подарил мне второй фотоаппарат.

– Чтобы ты оставила след для выхода из лабиринта, как Ариадна, – шепнул он мне.

В голову мне пришла шальная мысль, что было бы замечательно от них избавиться. Я подумывала о том, чтобы подсыпать аспирин отцу в еду или стащить мамино снотворное – она бы не выдержала без него и недели. Единственным препятствием стали охватившие меня сомнения. Сколько нужно аспирина, чтобы у отца открылась смертельная язва или внутреннее кровотечение? Сколько мама сможет продержаться без сна? О кровавом деле даже речи не могло быть, потому что я не выносила вида крови. Так что лучше всего им было бы умереть от удушья. Так вот взять и задушить их огромной перьевой подушкой. Мама прямо говорила, что ей всегда хотелось умереть во сне.

– Я не выношу прощаний, – говорила она, глядя на меня в упор, или, если я не слушала ее, обхватывала меня рукой и слегка прижимала к себе – сил у нее оставалось немного.

Однажды ночью, очередной ночью слез, я проснулась с мыслью, что уже совершила преступление. Мне казалось, я видела безжизненные тела родителей, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Я чувствовала себя свободной. Теперь никто не заставит меня переехать в дрянной район, бросить книги, фотографии, фотоаппараты, жить в страхе, что тебя отравят собственные отец и мать.

Я задрожала. И позвала:

– Папа! – Но на мой зов никто не пришел.

– Мама! – Это была точка невозврата. В кого я превратилась? Как я могла до такого опуститься? Что бы я стала делать с их телами? За сколько они бы разложились?

Все бы подумали, что это самоубийство. Никто бы не стал дознаваться. Страдания родителей длились уже четыре месяца. Все воспринимали бы меня как сироту, а я себя – как убийцу. В словаре было название моего преступления. Я нашла его. Какое отвратительное слово. Я содрогаюсь от одного его звука. *Отцеубийца*. Я попыталась произнести его еще раз и не смогла. Я была убийцей.

Было совсем просто найти название своему преступлению, признать вину и понять характер своих душевных терзаний. А как же мои родители, которые планировали избавиться от меня? Как называют тех, кто убил своих детей? Не такое ли это ужасное преступление, что ему не нашлось даже определения в словаре? Это означало, что им оно

могло вполне сойти с рук. В то время как мне приходилось нести бремя смерти и этого отвратительного слова. Человек может убить родителей, братьев или сестер. Но не своих детей.

Я бродила по комнатам, которые казались мне невероятно тесными и темными, в доме, который вскоре не будет нам принадлежать. Осмотрев высокие потолки, я прошла в холл, увешанный портретами теперь уже немногочисленных членов семьи. Свет от лампы с кипенно-белым абажуром в папиной библиотеке проникал в коридор, где я стояла безо всякого движения и наблюдала, как мои бледные руки окрашивались золотом.

Открыв глаза, я обнаружила, что по-прежнему нахожусь в спальне, в окружении изрядно потрепанных книг и кукол, с которыми я никогда не играла и, очевидно, так и не поиграю. Я прикрыла глаза и ясно почувствовала, что уже совсем скоро мы уплывем на огромном океанском лайнере куда глаза глядят, оставив позади порт и страну, которая никогда не была нам родной.

В итоге я не убила родителей. Мне просто было незачем. А вина лежала на отце с матерью. Ведь именно из-за них я бросилась в эту пропасть.

* * *

Запах в квартире стал невыносимым. Я не понимала, как мама может жить в этих стенах, обтянутых темно-зеленым шелком, поглощавшим весь дневной свет, которого и без того было мало в это время года. Здесь пахло заточением.

Нам оставалось здесь жить мало времени. Я это знала, чувствовала. Мы не станем проводить лето здесь, в Берлине. Маме приходилось раскладывать по шкафам нафталиновые шарики, чтобы сохранить свой мирок, и квартиру наполнил надоедливый запах. Мне было совершенно непонятно, что она старается сберечь, ведь мы в любом случае должны были лишиться всего.

– От тебя пахнет, как от старух с Гроссе Гамбургерштрассе, – поддразнивал меня Лео. Лео был моим единственным другом, человеком, который мог смотреть мне в лицо, не испытывая желаний в меня плюнуть.

Весна в Берлине выдалась холодной и дождливой, но папа часто выходил из дома без пальто. Всякий раз, когда ему нужно было отлучиться, он не ждал лифта, а шел вниз по скрипучим ступенькам. Впрочем, мне и не разрешали спускаться по лестнице. А отец спускался пешком не потому, что торопился, а чтобы не встретить никого из соседей. Пять семей, живущих на нижних этажах, дожидаться не могли, пока мы съедем. Те, кто раньше с нами дружил, теперь общались отчужденно. Те, кто в незапамятные времена благодарил отца или заискивал перед мамой и ее друзьями, а еще восхвалял ее прекрасный вкус и спрашивал ее, как составить комплект из яркой сумочки и модных туфель, теперь воротили от нас нос и могли отступить от нас в любой момент.

Мама который день сидела дома. Каждое утро, поднявшись с постели, она надевала рубиновые серьги и зачесывала назад прекрасные густые волосы – предмет зависти всех ее друзей, всегда восхищавшихся ею, когда она входила в кафетерий отеля «Адлон». Папа называл ее небожительницей, потому что она была совершенно очарована кинематографом, служившим ей единственной связью с окружающим миром. Она никогда не пропускала премьеры фильмов, в которых играли настоящие богини кино: взять, к примеру, фильм «Божественная женщина» с Гретой Гарбо, который показывали в кинотеатре «Паласт».

– В ней больше немецкого, чем в ком бы то ни было, – утверждала мама, когда речь заходила о божественной Гарбо, которая на самом деле родилась в Швеции. Но в те времена люди смотрели немое кино и никому не было дела до того, откуда родом звезда экрана.

Талант Гарбо открыли немцы. Мы всегда знали, что ей будут поклоняться. Именно мы прежде всех оценили ее по достоинству, именно поэтому ее заметили в Голливуде. И в своем первом интервью она сказала на идеальном немецком: «Виски, но не слишком разбавленный!»^[1]

Время от времени, когда родители возвращались из кино, у мамы в глазах все еще стояли слезы.

– Обожаю печальные финалы – но только в фильмах, – говорила она и поясняла: – Комедии всегда были не для меня.

И она замирала в папиных объятиях, поднимала руку ко лбу, а другой поддерживала шелковый шлейф ниспадающего платья и,

откинув голову, начинала говорить по-французски.

– Арман, Арман... – томно повторяла она с сильным акцентом, как до того «божественная женщина».

А папа называл ее «моя Дама с камелиями».

– Надейся, мой друг, и будь уверен в одном: что бы ни случилось, твоя Маргарита останется с тобой^[2], – декламировала она, раздражаясь истерическим смехом.

– Правда же, Дюма ужасно звучит на немецком?

Но теперь мама больше никуда не ходила.

Фраза «Слишком много выбитых окон» стала ее привычным объяснением с ноября прошлого года, когда произошел тот ужасный погром и папа потерял работу. Отца арестовали в его университетском кабинете и отвезли в участок на Грольманштрассе, где держали в изоляции за какое-то правонарушение, суть которого мы так и не поняли. Вместе с ним в камере находился и отец Лео, герр Мартин. После освобождения они стали встречаться каждый день, что еще больше беспокоило маму: как будто они планировали отъезд, к которому она пока не была готова. Именно страх мешал ей покинуть свою крепость. И она жила в постоянной тревоге. Прежде она посещала изысканный салон отеля «Кайзерхоф», находившегося по соседству, но вскоре там не осталось людей, кто бы не относился к нам с ненавистью: те, которые считали себя добродетельными, кого Лео называл ограми.

В прошлом мама очень гордилась Берлином. Если она отправлялась сорить деньгами в Париж, она всегда останавливалась в отеле «Ритц»; а если сопровождала отца в Вену на лекцию или концерт, то в «Империале»:

– Но ведь у нас есть «Адлон», наш гранд-отель на Унтер-ден-Линден. Там останавливалась «божественная женщина», кино его обесмертило.

Но в те дни мама выглядывала в окно, стараясь найти причину происходящему. Что стало со счастливо прожитыми годами? К чему ее приговорили и почему? Она понимала, что расплачивается за чужие ошибки: ее родителей, бабушек и дедушек – каждого предка на протяжении многих столетий.

– Я немка, Ханна. Я Штраус. Альма Штраус. Что же еще нужно, Ханна? – говорила мне мама на немецком, потом на испанском, затем

на английском и в заключение на французском. Как будто рядом были другие слушатели, будто бы она старалась донести ясно свою мысль на каждом из четырех языков, на которых бегло говорила.

В тот день я согласилась встретиться с Лео и пойти фотографировать. Мы встречались ежедневно после полудня в кафе фрау Фалькенхорст у площади Хаккешер-Маркт. Когда владелица кафе нас замечала, она улыбалась и называла нас хулиганами. Нам это вполне нравилось. Если кто-то задерживался, пришедший первым обязательно заказывал горячий шоколад. Иногда мы встречались в кафе у выхода с вокзала Александерплац, где полки ломились от конфет в серебряной обертке. Если Лео нужно было срочно со мной увидеться, он ждал меня у газетного киоска возле дома, благодаря чему мы могли не бояться встретиться с кем-то из соседей, которые хоть и были нашими квартирантами, но всегда нас сторонились.

Чтобы не ослушаться взрослых, я обошла ужасно пыльную, покрытую ковром лестницу и зашла в лифт. Он остановился на третьем этаже.

– Добрый день, фрау Хофмайстер, – сказала я, улыбаясь ее дочери Гретель, с которой раньше часто играла.

Гретель выглядела печальной, потому что совсем недавно потеряла своего красивого белого щенка. Я ей сочувствовала. Мы были ровесницами, только я повыше ростом. Гретель смотрела в пол, а фрау Хофмайстер имела наглость сказать ей:

– Давай пойдем по лестнице. Когда они наконец уедут? Они нас ставят в трудное положение...

Как будто я не могла ее слышать, как будто в лифте была только моя тень. Как будто меня не существовало. Именно этого ей и хотелось: чтобы меня не существовало.

В нашем доме жили семьи по фамилиям Дитмар, Брауэр и Шульц. Мы сдавали им квартиры. Здание принадлежало маминой семье еще до ее рождения. Так что уехать следовало им. Они были нездешними. В отличие от нас. Мы были больше немцами, чем они.

Дверь лифта закрылась, он поехал вниз, и я увидела ноги спускавшейся Гретель.

– Мерзкие люди, – донеслось снаружи.

Я не ослышалась? Что мы такого сделали, из-за чего я должна терпеть все это? Какое преступление мы совершили? Я не была

мерзкой. Я не хотела, чтобы люди так обо мне думали. Я вышла из лифта и спряталась под лестницей, чтобы снова с ними не столкнуться. Я видела, как они выходят из дома. Гретель так и не подняла голову. Она обернулась, ища меня взглядом. Возможно, хотела извиниться, но мать подтолкнула ее.

– Что ты там высматриваешь? – повысила она голос.

Поднимая шум, я побежала вверх по лестнице вся в слезах. Да, я плакала от гнева и бессилия, потому что не смогла сказать фрау Хофмайстер, что в ней гораздо больше мерзости, чем во мне. Если мы причиняли ей неудобство, она могла выехать из дома: ведь это был наш дом. Мне хотелось биться о стену, разбить драгоценный фотоаппарат, подаренный отцом. Когда я вошла в квартиру, мама не могла понять, почему я была вне себя от ярости.

– Ханна! Ханна! – позвала она, но я не обратила на нее никакого внимания. Я пошла в холодную ванную, захлопнула дверь и включила душ. Я все еще плакала, точнее, мне хотелось остановиться, но я не могла. Не раздеваясь и не разуваясь, я забралась в сверкающую белизной ванну. Единственным звуком был шум обрушившейся на меня обжигающе горячей воды. Она заливала мне глаза, пока в них не защипало, попадала в уши, нос и рот.

Я начала снимать одежду и обувь, которые отяжелели от воды и вменяемой мне мерзости. Вымывшись с мылом, я до красноты растерлась маминой солью для ванны, а после обернулась белым полотенцем, чтобы избавиться даже от малейших частичек грязи. Кожа алела, будто вот-вот сойдет. Я включила воду погорячее и прибавляла температуру, пока не почувствовала, что больше не могу терпеть. Выйдя из душа, я рухнула на черно-белый кафельный пол.

К счастью, плакать мне больше не хотелось. Я вытерлась, жестко проводя полотенцем по ненавистной коже, которая, даст бог, скоро начнет сходить от всего этого жара. Встав перед затуманившимся зеркалом, я осмотрела каждый миллиметр тела: лицо, руки, ноги, уши, силясь понять, остался ли хоть один невымытый участок. Интересно знать, кто теперь мерзкий.

Сжавшись и дрожа, я забилась в угол, чувствуя себя куском мяса с костями. Только там я и могла укрыться. Поскольку в конечном итоге я знала, что можно сколько угодно мыться, обваривать кожу, стричься, зажмуривать глаза, пропускать все мимо ушей, нарядно одеваться, по-

другому говорить, называться другим именем, – все равно меня будут считать грязной. Возможно, неплохо было бы постучать в дверь уважаемой фрау Хофмайстер и попросить ее удостоверить в том, что на моей коже нет ни единого пятнышка и ей незачем прятать от меня Гретель, что я не окажу никакого плохого влияния на ее ребенка, такого же светленького, прекрасного и безусловно чистого, как и я.

Придя в свою комнату, я оделась во все белое и розовое – одежду самых светлых тонов, которая только нашлась у меня в шкафу. Затем я отправилась к маме, обняла ее, чувствуя, что она понимает меня, даже несмотря на то, что она решила запереться дома и ни с кем не встречаться. В своей комнате, укрепленной мощными колоннами нашей квартиры, она выстроила настоящую крепость, размещавшуюся в здании, построенном из огромных каменных блоков и двойных оконных рам. Но мне нужно было спешить. Лео наверняка уже пришел на вокзал и теперь перебегает с места на место, стараясь не попасть под ноги людям, спешащим на поезд.

По крайней мере, я знала, что он-то считает меня чистой.

Анна

Нью-Йорк, 2014

В тот день, когда отец пропал, мама еще была беременна мной. Срок, правда, был всего три месяца. У нее была возможность избавиться от ребенка, но она не стала этого делать. Она никогда не теряла надежды, что отец вернется, даже когда получила свидетельство о смерти.

– Предоставьте мне какие-нибудь доказательства, хотя бы анализ ДНК, а там и поговорим, – отвечала она официальным лицам.

Вероятно, дело было в том, что отец оставался для нее в некотором смысле малознакомым человеком – таинственным, отстраненным и немногословным, – который, как ей казалось, может объявиться в любой момент.

Отец уехал, так и не узнав о моем предстоящем рождении.

– Если бы он знал, что у него вскоре родится дочь, он и сейчас был бы с нами, – с уверенностью говорила мама, на моей памяти, каждый сентябрь.

В тот день, когда отец ушел и не вернулся, мама собиралась накрывать ему и себе ужин в нашей просторной столовой, из окон которой виднелись деревья Морнингсайд-парка, освещенные бронзовыми фонарями. Мама готовилась рассказать ему новости. Она все же накрыла на стол в тот вечер, поскольку не допускала возможности, что его больше нет. Но бутылка красного вина так и осталась неоткупоренной. А тарелки стояли на покрытом скатертью столе несколько дней подряд. Еду в конце концов выбросили в мусорное ведро. Той ночью мама легла спать, так и не поев; она не плакала, но так и не сомкнула глаз.

Она рассказала мне все, потупив взгляд. Будь на то ее воля, тарелки и бутылка так бы и стояли на столе до сих пор – и, кто знает, возможно, соседствуя с гниющей, высохшей едой.

– Он вернется, – уверенно говорила мама.

Они говорили о том, чтобы обзавестись детьми. Рассматривали родительство как будущую возможность, долгосрочный план, мечту, от которой они так и не отказались. Они даже решили, что если у них

однажды в самом деле родятся дети, то они назовут мальчика Максом, а девочку Анной. Только об этом отец всегда и просил ее.

– Это долг перед моей семьей, – объяснял он маме.

Они прожили вместе пять лет, но мама так и не смогла уговорить отца рассказать ей о годах на Кубе и о его семье.

– Все они умерли, – коротко отвечал отец.

Спустя столько лет это все еще беспокоило маму.

– Твой отец – загадка. Но эту загадку я любила больше всего на свете.

Стараясь разгадать отца, мама таким образом хотела снять с себя бремя. Поиски ответа стали ее наказанием.

Я сохранила его маленькую серебристую фотокамеру. Вначале я часами просматривала снимки, которые он сохранил в карте памяти. Среди них не было ни одной фотографии мамы. Но к чему она ему, если мама постоянно была рядом? Все снимки были сделаны с одного и того же места – узкого балкона в гостиной. Фотографии рассвета перемежались снимками, сделанными в дождливые дни, ясные, пасмурные и туманные, дни, когда небо было оранжевым или голубовато-сиреневым. На других фотографиях все было белоснежным и снег покрывал все кругом.

И всегда солнце. Вот рассвет: полоска солнечного света, испещренная заплатками домов спящего Гарлема, вот трубы, поыхивающие белым дымом, вот Ист-Ривер с островами по обеим сторонам. Снова и снова солнце – золотое, огромное, временами кажущееся теплым, а иногда – холодным, снятое из-за нашей двери с двойным стеклом.

Мама называла жизнь картинкой-пазлом. Вот она просыпается, пытается найти нужный фрагмент, пробуя все возможные комбинации, чтобы собрать видимые ей отдаленные ландшафты. В то время как я живу, чтобы разобрать их и узнать о своих корнях. И я создаю собственные пазлы из фотографий, которые я распечатала дома с кадров, найденных на отцовской камере. С того самого дня, когда я узнала, что на самом деле случилось с отцом и мама поняла, что я могу сама о себе позаботиться, она заперлась у себя в спальне, и я стала присматривать за ней. Она превратила спальню в убежище, никогда не открывая окна, позволявшего видеть весь двор. В мечтах я видела, как она, приняв таблетки, быстро засыпает, утопая в серых простынях и

подушках. Мама говорила, что таблетки помогают унять боль и позволяют забыться. Иногда я молилась – так тихо, что сама не могла расслышать и запомнить слов, – чтобы она так и не проснулась и боль оставила ее навсегда. Я не могла видеть, как мама страдает.

Каждый день, перед тем как уйти в школу, я приношу маме чашку черного кофе без сахара. По вечерам она сидит со мной за ужином, как призрак, а я рассказываю ей об уроках. Она слушает, поднося ложку ко рту, и улыбается мне, чтобы показать, как она благодарна за то, что я все еще с ней, за то, что готовлю ей суп, который она поглощает из чувства долга. Я знаю, что мамы может не стать в любой момент. Куда мне тогда идти? Когда днем я выхожу из школьного автобуса на остановке возле нашего дома, первым делом я беру почту. Затем готовлю нам ужин, делаю уроки и проверяю, пришли ли какие-нибудь счета, которые отдаю маме.

Сегодня мы получили большой конверт с желтыми, белыми и красными полосами, на котором большими красными буквами красовалась надпись: НЕ СГИБАТЬ. Адресант из Канады отправил письмо на мамино имя. Положив письмо на обеденный стол, я легла на кровать и начала читать книгу, заданную в школе. Несколько часов спустя я вспомнила, что не вскрыла конверт, и постучалась к маме. «В такое позднее время?» – должно быть, подумала она и притворилась спящей. Тишина. Я снова постучала. Ночь для мамы священна: она пытается уснуть, вновь и вновь проживая ушедшее и размышляя о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы ей удалось убежать от судьбы или обмануть ее.

– Сегодня принесли пакет. Наверное, нам нужно вместе его открыть, – сказала я, но ответа не последовало.

Некоторое время я стояла под дверью, а потом тихонько открыла ее, так, чтобы не побеспокоить маму. Свет выключен. Мама дремала; ее тело, покоившееся в центре кровати, казалось почти невесомым. Присмотревшись, я увидела, что она дышала и все еще жила.

– Это не может подождать до завтра? – пробормотала мама, но я не сдвинулась с места. Она закрыла глаза, но потом снова открыла и повернулась ко мне, стоявшей в дверном проеме.

Из коридора проникал свет, который вначале ослепил ее, ведь она привыкла к темноте.

– Кто его прислал? – спросила мама, но я не знала имени отправителя.

Я настаивала, чтобы она пошла со мной, говоря, что ей будет полезно подняться.

В конце концов мне удалось ее уговорить. Слегка покачиваясь, мама встала, пригладила прямые черные волосы, которые она не стригла вот уже несколько месяцев. Она оперлась на мою руку, и мы двинулись в столовую, чтобы посмотреть, что же нам прислали. Может быть, это подарок мне на день рождения. Кто-то вспомнил, что мне скоро исполнится двенадцать, что я подросла, что я существую.

Мама медленно села. Выражение на ее лице, казалось, говорило: *«Зачем ты заставила меня встать с кровати и нарушить свой распорядок?»*

Когда же мама увидела имя отправителя, она схватила конверт и прижала его к груди. Ее глаза широко открылись, и она торжественно произнесла:

– Это от семьи твоего отца.

Как? Но ведь у папы не было семьи! Он один пришел в этот мир и так же оставил его, не имея рядом никого.

Я помнила, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда ему было девять. Трагедия ему была предназначена судьбой, как однажды сказала мама.

После смерти родителей его растила Ханна, старая тетушка, которая, как мы думали, уже умерла. Мы не имели ни малейшего понятия, продолжали ли они созваниваться, переписываться или поддерживать связь по электронной почте. Ханна была для него семьей. А меня называли Анной в ее честь.

Пакет был доставлен из Канады, но на самом деле его отправили из Гаваны, столицы острова в Карибском море, где родился отец. Когда мы его вскрыли, внутри мы увидели другой конверт. Надпись, сделанная крупными буквами дрожащей рукой, гласила: «Анне от Ханны. Нет, это не подарок, подумалось мне. Должно быть, там документы или бог знает что еще. Вероятно, содержимое никак не связано с моим днем рождения. Или, быть может, конверт от человека, который последним видел отца живым и наконец решил выслать нам его вещи. Двенадцать лет спустя. Я очень нервничала. Мне не сиделось на месте, я вскакивала и снова садилась. Ходила из угла в угол. Потом

начала вертеть локон, наматывая его на палец, пока прядь не спуталась. Но внутри обнаружили только старые фото – листы с несколькими кадрами на каждом, множество негативов и журнал – на немецком? – датированный мартом 1939 года. На обложке была улыбающаяся молодая блондинка, сфотографированная в профиль.

– Немецкая девушка, – произнесла мама, переводя название журнала. – Она вылитая ты, – с таинственным видом добавила она.

Эти снимки навели меня на мысль, что передо мной новый несобранный пазл. Я с удовольствием буду рассматривать фотографии, добравшиеся до нас с острова, где родился отец. Меня очень взволновала находка, хоть я и надеялась найти там все еще работавшие отцовские наручные часы, доставшиеся ему по наследству от прадедушки Макса, или его обручальное кольцо из белого золота, или очки без оправы.

Все эти детали об отце я помнила по фотографии, которую всегда носила с собой и клала ночью под подушку, в прошлом бывшую отцовской.

Пакет никак не был связан ни с отцом, ни с его смертью.

Мы не знали никого из этих людей. Трудно было рассмотреть маленькие смазанные фотографии, напечатанные на листах, по виду переживших кораблекрушение. Среди них мог быть и отец. Нет, это невозможно.

– Этим снимкам семьдесят лет, а то и больше, – объяснила мама. – Твой дедушка, возможно, еще даже не родился.

– Мы должны завтра отдать их в печать, – сказала я, сдерживая возбуждение, чтобы не расстраивать ее. Мама продолжала вглядываться в загадочные фотографии, лица людей из прошлого, которые она пыталась рассмотреть.

– Анна, они сделаны еще до войны, – сказала она с изумившей меня серьезностью. Теперь я была совсем сбита с толку. О какой войне она говорит?

Разбирая негативы, мы наткнулись на выцветшую почтовую открытку. Мама взяла ее в руки с такой осторожностью, будто она могла разлететься на куски.

На одной стороне корабль, на другой – надпись.

Мое сердце сильно забилося. Это наверняка ключ к разгадке. Но открытка была датирована 23 мая 1939-го, так что я зря думала, что это

как-то связано с исчезновением отца. Мама держала открытку бережно, как настоящий археолог. Ей не хватало только пары шелковых перчаток, чтобы не повредить ее. Впервые за много лет она выглядела живой.

– Пора выяснить, кто такой отец, – сказала я в настоящем времени прямо как мама, когда о нем говорила. Затем мой взгляд привлекла немецкая девушка.

Я была уверена, что отец не вернется. Что я потеряла его навсегда одним солнечным сентябрьским днем. Но мне хотелось больше узнать о нем. У меня не было никого, кроме матери, живущей взаперти в темной комнате в компании мрачных мыслей, которыми ей не с кем поделиться. Я знаю, что иногда на вопросы нет ответов, и приходится это признать, но я не могу понять, почему, когда они поженились, она не стала выяснять больше о его жизни, не попыталась узнать его получше. Сейчас, конечно, уже поздно. Но в этом вся мама.

Теперь у нас был план. По крайней мере, у меня. Мне казалось, что мы вот-вот обнаружим важную подсказку. Мама ушла обратно в свою комнату, но теперь я была полна решимости бороться с ее пассивностью. Я забрала себе эту вещь, присланную далеким родственником, с которым мне теперь ужасно хотелось познакомиться. Я поставила маленькую открытку рядом с ночником у себя в комнате и выключила свет. Затем я легла в кровать, укрылась одеялом и внимательно смотрела на картинку, пока не уснула.

На открытке был изображен океанский лайнер «Сент-Луис» пароходства «Гамбург – Америка». На обороте – надпись на немецком: «Желаю всего доброго в твой День Рождения, Ханна. И подпись: «Капитан^[3]».

Ханна

Берлин, 1939

Огромная дверь из темного дерева, которую я с силой толкнула изнутри, резко открылась, и бронзовый дверной молоток случайно ударил по бляшке. Звук эхом разнесся по притихшему дому, в котором я больше не чувствовала себя защищенной. Я внутренне подготовилась к гулу Французишештрассе, увешанной красно-бело-черными флагами. Люди шли по улице, наталкиваясь друг на друга, и продолжали путь безо всяких извинений. Казалось, все ищут убежища. Я добралась до Хакеше Хефе. Пять лет назад здание принадлежало папиному другу герру Микаэлю. Огры отняли его у Микаэля, и ему пришлось уехать из города. Каждый день после полудня Лео ждал меня во внутреннем дворе, у дверей кафе фрау Фалькенхорст. Он там и стоял со своим обычным насмешливым выражением лица, явно собираясь выговорить мне за опоздание.

Я достала фотоаппарат и начала снимать его. Лео увлеченно позировал и смеялся. Тут дверь кафе отворилась, и оттуда вышел мужчина с лицом, покрытым красными пятнами. Вместе с ним вырвалось облако теплого воздуха с запахом табака и пива. Когда я подошла к Лео поближе, он вздохнул, и меня обдал аромат горячего шоколада.

– Нам нужно убираться отсюда, – сказал он. Я улыбнулась и кивнула.

– Нет, Ханна. Нам нужно совсем отсюда убираться, – повторил Лео, имея в виду город.

На этот раз я его поняла: никто из нас не хотел дальше жить среди этих флагов, солдат, пихающихся и толкающихся людей. *Я пойду за тобой куда захочешь*, подумала я про себя, и мы пустились бежать. Мы бежали против ветра, флагов и потока машин.

Я старалась не отставать от Лео, который несся вперед, виртуозно лавируя в толпе людей, считавших себя чистыми и неуязвимыми. Когда я встречалась с Лео, то временами даже не слышала шума громкоговорителей или криков и песен людей, марширующих в такт. Казалось, это была высшая степень счастья, но я знала, что долго это не продлится.

Мы перешли мост, оставив позади королевский дворец и собор, и теперь могли наблюдать за рекой Шпрее, облокотившись о парапет. Воды реки были такими же темными, как и стены зданий по ее берегам. Мои мысли неудержимо текли со скоростью течения самой реки. У меня возникло чувство, будто я могу броситься в воду и позволить ей нести себя вдаль – стать еще более грязной. Но в тот день я была чистой, в чем я совершенно уверена. Никто бы не посмел в меня плюнуть. Я была такой же, как и они. По крайней мере, снаружи. На фотографиях воды Шпрее скорее отливали серебром, а мост неясно вырисовывался вдали, как тень. Я стояла в центре, над маленькой аркой, когда услышала, как Лео кричит что есть мочи:

– Ханна!

Что заставило его выдернуть меня из сна наяву? В ту минуту важнее всего было отрешиться от всего, не обращая внимания на окружающую действительность, и представить, что нам не нужно никуда идти.

– Там какой-то человек фотографирует тебя!

Только тогда я заметила тощего долговязого мужчину с намечающимся толстым животом. Он держал фотокамеру фирмы «Лейка» и наводил ее на меня. Я резко отвернулась и стала ходить туда-сюда, чтобы он не смог сфокусировать на мне камеру. Должно быть, это был один из огров, который хотел донести на нас, или кто-то из предателей, работавших на полицейский участок на Ирранишештрассе и собиравших на нас информацию.

– Лео, он и тебя снял. Верно, дело тут не только во мне. Что ему нужно? Мы что, даже не можем постоять на нашем мосту?

Мама без конца повторяла, что мы не должны ходить по городу, потому что он кишел грубыми надсмотрщиками. Все уже понимали, что им даже необязательно маскироваться, чтобы угрожать кому-то. Но это мы несли угрозу, а они воплощали в себе рациональность, долг и контроль за соблюдением закона. Огры нападали на нас, выкрикивали оскорбления, а мы должны были молчать и не подавать голоса, пока они пинали нас.

Они обнаружили наш изъян, наше несовершенство и поносили нас. Я улыбнулась человеку с камерой. У него был огромный рот, а из носа капала густая прозрачная жидкость. Он вытер ее тыльной стороной руки и снова несколько раз нажал на кнопку фотоаппарата.

Давайте, фотографируйте меня, сколько вам влезет. Отправьте меня в тюрьму.

– Давай заберем у него камеру и кинем в реку, – прошептал Лео мне на ухо.

Я же не могла отвести взгляд от этого жалкого человека, который пожирал меня глазами и готов был чуть ли не в ноги мне броситься ради удачного ракурса. Мне хотелось в него плюнуть. Мне был отвратителен его большой сопливый нос. Такой же огромный, как на карикатурах на нечистых на первой полосе «Штурмовика»^[4], ставшего очень популярным журналом, в котором нас ненавидели. Да, это, должно быть, один из тех, кто мечтает попасть на службу к ограм. Гнусные негодяи, как их обычно называл Лео.

Меня бросило в дрожь. Лео пустился бежать, волоча меня за собой как тряпичную куклу. Мужчина замахал нам и попытался нас догнать. Я расслышала, как он кричал:

– Девочка! Как тебя зовут? Мне нужно знать!

С чего он взял, что я остановлюсь и скажу ему свое имя, фамилию, возраст и адрес?

Пытаясь затеряться среди машин, мы перешли улицу. Мимо проехал заполненный пассажирами трамвай, а мужчина, как мы видели, все еще стоял на мосту. Мы рассмеялись, а у него хватило нахальства крикнуть нам:

– До свидания!

Мы направились в кафе Георга Хирша на Шенхаузер-аллее, крупнейшей торговой улице. Это было наше любимое кафе в Берлине; там мы обычно налегали на конфеты и могли просидеть всю вторую половину дня, не боясь, что нас обидят. Лео всегда хотел есть, и у меня слюнки текли при мысли о праздничном печенье с орехами и специями, хотя сейчас мы были не на каникулах. Мне особенно нравилось печенье с сахарной присыпкой и анисовым экстрактом, а Лео предпочитал посыпанное корицей. Мы ели, пачкая пальцы и носы сахарной пудрой, а потом салютовали ограм. Лео изменил приветствие, скопировав сигнал регулировщика «Стоп!». Он вытягивал руку вперед и поднимал ладонь вверх – получалась буква L. Шутник он, этот Лео, как говорила мама.

Подойдя к кафе, мы замерли на углу: окна кафе Георга Хирша тоже были выбиты! Я не могла удержаться и не заснять вид на камеру. Но

видела, что Лео очень расстроился.

Из-за угла показалась рота огров. Они шли маршем, чеканя шаг, и пели гимн, эдакую оду совершенству, чистоте, стране, которая должна принадлежать только им.

Прощай, печенье!

– Еще один знак, что мы должны уехать, – произнес Лео севшим голосом, и мы снова пустились бежать.

Я знала, что *уехать*: не с этого угла улицы, не с моста и не с Александерплац, а вообще уехать.

Вполне возможно, они ждут дома, чтобы посадить нас под замок. И если не огры, то мама. Нам не удастся выбраться невредимыми.

* * *

На станции Хаккешер-Маркт мы сели в первый вагон электрички. Напротив нас сидели две женщины, которые все время причитали о дороговизне, об урезании пайков, о том, как сейчас трудно достать хороший кофе. Всякий раз, когда они махали руками, от них шел запах пота, розовой воды и табака. У дамы, которая больше говорила, на переднем зубе был след от красной помады, напоминавший скол. Я взглянула на нее и, не замечая того, начала покрываться потом. Это не кровь, сказала я себе, не отводя взгляда от ее огромного рта. Дама, испытывающая неудобство из-за моей не деликатности, хлопнула меня, чтобы я перестала ее разглядывать. Я опустила глаза, и тут же мне в нос ударил тяжелый запах, шедший от женщины. Но тут подошел кондуктор в синей униформе и попросил нас предъявить билеты.

Между станциями Зоологический Сад и Савиньи-плац мы смотрели в окно на почерневшие фасады домов. Окна были грязными; на одном балконе женщина вытряхивала грязный, весь в пятнах, ковер, мужчины в окнах курили, и повсюду виднелись красно-бело-черные флаги. Лео указал на красивое здание на Фазаненштрассе, неподалеку от железнодорожного переезда. Здание горело. Дым все еще поднимался над главным разрушенным куполом. Больше никто не смотрел на загубленное здание. Вероятно, чувствовали себя виноватыми. Люди не хотели видеть, во что превращается город. Дама со смазанной помадой тоже опустила голову. Ей не только не хотелось

быть свидетельницей пожара, она и нам не решалась посмотреть в лицо.

Мы вышли на следующей станции и прошли назад к Фазаненштрассе, миновав несколько домов. Мы завернули в боковой проход у дома, оштукатуренные стены которого разрушались от влаги и угольной пыли. Мы даже не успели подойти к окну герра Брауна, как услышали радио, игравшее на полную громкость.

Герр Браун был отвратительный глухой старик. Лео называл его огром, как он именовал всех, так сказать, чистых и тех, кто носил коричневые рубашки. Мы устроились под окном его неубранной столовой, посреди разбросанных окурков и грязных луж. Здесь нам нравилось прятаться больше всего. Иногда огры замечали нас и кричали оскорбительное «слово, начинающееся на «ю», которое мы с Лео отказывались говорить вслух. Ведь мама всегда говорила, что мы в первую очередь немцы.

Лео не мог понять, зачем я фотографирую лужи, грязь, окурки, обшарпанные стены, валявшиеся на земле осколки стекла и разбитые витрины. Я считала, что любое из этих изображений лучше огров и зданий с их флагами: тот Берлин, который я не желала видеть.

Даже дым, поднимавшийся от горящих зданий, не мог перебить дыхание этого огра, разившее чесноком, табаком, шнапсом и мерзкими свиными колбасами. Он вечно сплевывал и сморкался. Даже не знаю, от чего больше мне сводило живот: от дурного запаха из его дома или от одного только взгляда на его физиономию. Впрочем, если не считать этого, то благодаря его глухоте мы могли выяснить, что происходит в Берлине.

Нам больше не разрешали слушать радио дома, покупать газеты и пользоваться телефоном.

– Это опасно, – говорил мне папа. – Не стоит искать на свою голову неприятностей.

Огр несколько раз переключал радиостанции. Новости – или сводки, как их называл Лео, – должны были начаться через пару минут, и огр как раз переставал возиться и шуметь. В конце концов он усаживался у окна. Лео дернул меня в сторону как раз в ту минуту, когда огр выглянул в окно. Мы умирали со смеху – уж очень здорово изучили его привычки.

Лео знал, что мне бы хотелось провести здесь весь день, что я чувствовала себя с ним защищенной. Когда мы были вместе, я не думала о том, как угасала мама, или о том, как отец собирался изменить нашу жизнь. Лео был страстным человеком. Он не ходил, а бегал; всегда спешил, желая достичь цели, показать мне что-то, что я никак не должна была пропустить. Он также наведывался в разные кварталы, стараясь выяснить, что происходит в нашем городе, который постепенно распадался на части. Время от времени он сливался с толпами громкоголосых огров, марширующих по улицам, увешанным их флагами. Но я никогда не решалась присоединиться к нему. Лео говорил со мной очень взволнованно, словно предвидя, что у нас осталось не так много времени. Единственные минуты покоя у нас были здесь, в мерзкой, заплыванной подворотне огра, благодаря старому радио, игравшему на полную мощность.

Лео был старше меня на два месяца. Из-за этого он считал себя более взрослым. Я легко мирилась с этим, потому что он был моим единственным другом, единственным человеком, которому я могла полностью доверять.

Иногда Лео следил за своим отцом, который сговаривался о чем-то с моим еще с того дня, когда они встретились в полицейском участке на Грольманштрассе, который, как говорил мой друг, провонял мочой. Лео зачастую приходил поделиться со мной ужасающими мыслями, на которые я предпочитала не обращать внимания. Мы знали, что наши отцы планируют что-то масштабное, что затронуло бы, а возможно, и нет, нас самих. Я не думала, что они бросят нас, или отправят в специализированную школу в пригороде Берлина, или отошлют одних в другую страну, где говорят на другом языке, как говорили соседи Лео со своими детьми. Но они точно что-то планировали – Лео был совершенно уверен. И это меня пугало.

Герр Мартин был бухгалтером, который потерял всех своих клиентов. Он вместе с Лео снимал комнату в пансионе в доме номер сорок на Гроссе Гамбургерштрассе. Их дом находился по соседству с приютом, где ютились женщины, старики и дети – все те, чья судьба еще не была решена и которых не знали куда отправить. В этот район мама отказывалась даже заглянуть. Матери Лео удалось бежать в Канаду и воссоединиться с братом, золовкой и племянниками, которых она увидела впервые. У Лео и его отца не было никакой возможности

уехать к ним в ближайшее время. И они искали, как говаривал Лео, «другие пути отступления». Мой же отец был частью плана. По словам Лео, он так же переводил деньги в Канаду, поскольку наши банковские счета в Берлине стали закрывать.

По крайней мере, меня это радовало. Мы бы поддержали любое решение родителей, если, конечно, оно бы также касалось Лео и меня и наших семей. Лео был убежден, что мои родители помогают его отцу, оставшемуся без гроша в кармане и возможности работать, чтобы они также могли бежать.

Лео имел обыкновение сопровождать отца на утренние встречи с моим папой. Он притворялся, что не слушает и занимается чем-то другим, так что они говорили свободно и спокойно строили планы. Я шутила, что он стал шпионом товарищества Мартин-Розенталь. Но Лео со всей серьезностью относился к своей миссии держать ухо востро и ничего не упускать из виду.

Он не разрешил мне навестить его в новом доме.

– Это совершенно ни к чему, Ханна. Какой смысл?

– Вряд ли он хуже той ужасной подворотни, в которой мы столько времени сидели.

– Фрау Дубиецки не любит, когда к нам приходят. Эта старая ворона извлекает выгоду из нашей ситуации. У нас никто ее не любит. А папа только рассердится. Кроме того, Ханна, там даже негде сесть.

Лео достал из кармана кусок черного хлеба и отправил большой кусок в рот. Он и мне предложил, но я отказалась. У меня не было аппетита: я ела только потому, что было нужно. А Лео жадно ел хлеб, и за трапезой я могла его хорошенько рассмотреть. Каждая его черточка источала энергию. У него была яркая внешность: на красноватой коже сияли карие глаза.

– По моим венам течет кровь! – радостно хвалился Лео, и ему вторили румяные щеки.

– Ты такая бледная, почти прозрачная. Я вижу тебя насквозь, Ханна.

И я краснела.

Лео жестикулировал мало, но ему и не было нужды: всего лишь с одной сказанной фразой его лицо выражало мириады эмоций. Когда он говорил со мной, я всегда внимательно слушала. Он обстреливал меня словами. Он заставлял меня нервничать, я могла смеяться и дрожать

одновременно. Когда ты слушаешь Лео, кажется, что город вот-вот взорвется.

Лео был высоким и худым. И хотя мы были одного роста, его густые кудрявые волосы, которых, казалось, не касалась расческа, с виду делали его на пару дюймов выше. Перед тем как сказать что-то важное, Лео сильно, чуть ли не до крови, кусал губы. У него были испуганные, широко распахнутые глаза, а таких темных и густых ресниц я ни у кого больше не видела.

– Они всегда на шаг впереди тебя, – подкалывала я его.

Как же я ему завидовала. Мои меня совсем не радовали; они были светлыми и казались почти незаметными, как и у мамы.

– С такими большими голубыми глазами, как у тебя, они не нужны, – говорил Лео, чтобы меня утешить.

Смрад напомнил мне, что мы все еще в этой отвратительной подворотне. Огр ходил туда-сюда по комнате. Он редко выходил на улицу, разве что за покупками.

Лео рассказал мне, что этот огр раньше работал в мясной лавке герра Шмуэля, в нескольких домах отсюда, пока сам же и не донес на владельца. Он чувствовал свою силу с тех пор, как огры пришли к власти. Они дали ему право возносить других или делать их такими же ничтожными, как и он сам. Тем ужасным ноябрьским вечером, о котором все еще не стихали разговоры, в лавке герра Шмуэля выбили окна и закрыли ее. Именно с этого дня по городу распространилось зловоние: смрад от сломанных труб, сточных вод и дыма. Герр Шмуэль был арестован, и больше ничего не было слышно о человеке, который продавал лучшие куски мяса в квартале.

Так что теперь этот огр сидел без работы. Мне было любопытно узнать, что же он выгадал от доноса на герра Шмуэля.

Огры заполонили Берлин. В каждом доме жил свой каратель. Они вменили себе в обязанность доносить, преследовать и делать жизнь невыносимой для всех несогласных: тех, кто происходил из семей, которые не вписывались в их представления о семье. Нам нужно было остерегаться их, а также предателей, которые думали, что смогут обезопасить себя, донося на нас.

– Лучше жить, запершись дома, и чтобы окна и двери были на засовах, – говорил Лео.

Но нам двоим не сиделось на месте. Какой в этом смысл, если наши родители все равно собираются отослать нас, куда им заблагорассудится? Ограм было сложно вычислить, кто я такая. В парке я могла сидеть на скамейках, которые были не для нас, или заходила в вагоны трамвая, предназначенные для представителей чистой расы. Если я бы захотела, я могла бы купить газету. Лео говорил, что меня можно принять за кого угодно. Во внешности у меня не было отличительных особенностей, но внутри себя я носила клеймо, полученное от всех моих бабушек и дедушек, которых так ненавидели огры. Лео был точно таким же. Все считали, что он такой же, как они, хотя сам Лео думал, что его выдавал нос или взгляд. Тем не менее Лео мог совершенно не беспокоиться, что его выведут на чистую воду, потому что мастерски ускользал от опасности и бегал быстрее, чем великая американская олимпийская чемпионка Джесси Оуэнс.

Но моя способность подражать тем, кто мне нравился, не вызывая у них желания в меня плюнуть или пнуть меня, вышла мне боком в общении со своими. Они считали, что я их стыжусь. Никто меня не любил, а я не принадлежала ни к тому, ни к другому кругу, но меня на самом деле это не беспокоило. Ведь у меня был Лео.

Мы часто прятались в подворотне у огра, чтобы разузнать, что происходит. Если днем у нас не было времени туда пойти, Лео начинал волноваться, опасаясь, что пропустил какие-то новости, которые могли кардинально изменить нашу жизнь.

Нашу идиллию прервал сын булочника, мальчик, с гордостью демонстрировавший свой огромный нос. Я опустила голову. Если Лео хочет пойти с ним играть, пусть идет. Я найду себе другое занятие.

– Снова с ней? – крикнул его друг. – Оставь эту *немочку* и выходи из этой вонючей дыры.

Называя меня так, он произнес каждый слог отдельно и сделал значительное лицо.

– Оставь ее. Она считает себя лучше нас. Пойдем посмотрим драку на углу. Они там насмерть дерутся. Идем!

Лео сказал, чтобы он говорил тише и уходил отсюда.

– *Милая, милая, милая*, – пропел мальчишка, как будто у нас с Лео была любовь, и испарился.

Лео попытался успокоить меня.

– Не слушай его, – сказал он мягко. – Он просто уличный хулиган.

Мне захотелось пойти домой, чтобы увеличить нос, завить волосы и выкрасить их в темный цвет. Мне надоело, что люди принимали меня не за ту, кем я являюсь. Возможно, я была не родной дочерью своих родителей, а сиротой – настоящей сиротой чистой расы, удочеренной состоятельной нечистой парой, считавшей себя важными, потому что у них были деньги, драгоценности и недвижимость.

Новости, звучавшие по разбитому радиоприемнику огра, заставили меня отвлечься от патетической жалости к себе. Нам придется подчиняться новым правилам и законам. Я вздрагивала при каждом приказе, отдававшемся эхом, как раскат грома. И причинявшем боль.

Нам придется составить имущественные списки. Многим из нас придется сменить имя и продать недвижимость, дома и лавки по установленным правительством ценам.

Мы были чудовищами. Мы крали деньги у других людей. Мы превращали менее состоятельных людей в рабов. Мы уничтожали наследие страны. Мы обобрали Германию. От нас воняло. Мы верили в других богов. Мы были белыми воронами. И нечистыми.

Я посмотрела на Лео и себя. И не могла понять, в чем была разница между ним, Гретель и мной. Зачистки начались в Берлине, самом грязном городе Европы. Нас будут поливать мощными струями воды, пока мы не станем чистыми. Мы им не нравились. Мы никому не нравились.

Лео помог мне подняться, и мы ушли. Я бесцельно брела за ним, позволяя ему вести меня по улице.

Огр подошел к окну с напыщенным видом, довольный тем, что приближалась чистка – как раз вовремя! – вроде той, которую он устроил в своем квартале. Пришло время сокрушить нежелательных личностей, сжечь их, душить, пока никого не останется в живых. Чтобы никто не смог покушаться на их совершенство и чистоту.

И с удовлетворением человека, который мог уничтожать, быть выше других, чувствуя себя богом в своем прекрасном укрытии, вокруг которого валялись окурки и грязь, он снова харкнул и сплюнул густую мокроту.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Сегодня я проснулась раньше обычного. У меня из головы не шел образ девочки из Германии: у нее были такие же черты лица. Мне хотелось полностью проснуться, чтобы забыть ее. На прикроватной тумбочке, где я хранила фотографию папы, теперь стояла и выцветшая открытка с кораблем.

Это моя любимая фотография отца. Кажется, будто он смотрит прямо на меня. На ней у него темные волосы, зачесанные назад, большие глаза с нависающими веками и густые черные брови, прячущиеся за очками без оправы, а на тонких губах застыла легкая улыбка. Отец – самый красивый мужчина в мире.

Всякий раз, когда мне нужно поговорить о школе, о том, что произошло за день, или поделиться с кем-то тревогами, я достаю его фотографию и ставлю под ночник с абажуром цвета слоновой кости, украшенным серыми единорогами, которые скакали по кругу, пока свет не выключался и я не засыпала.

Иногда мы пили вместе чай. Ели вместе шоколадное печенье или я ему читала отрывок из библиотечной книжки, которую мне задали. Если мне нужно было отрепетировать презентацию к уроку испанского, отец был со мной. Он лучший слушатель: самый понимающий и спокойный. Однажды мама рассказала мне, что его любимой книгой в детстве был «Робинзон Крузо», и в мой первый школьный день она мне ее подарила. Мама положила мне на плечи тонкие руки, заглянула в глаза и сказала:

– Чтобы ты быстрее научилась читать.

Я просмотрела малочисленные иллюстрации, изображавшие двух мужчин в лохмотьях на пустынном острове, и спросила себя, почему же в этой книге в более чем сто страниц, которая так нравилась отцу, было так мало картинок. Мне было непонятно, что такого интересного в пачке белых страниц, испещренных черным шрифтом, где нет ничего цветного.

Как только я научилась читать, я попыталась понять это, повторяя про себя каждое слово, каждый слог, но мне по-прежнему было очень трудно. Все эти сложные предложения казались мне совершенной

китайской грамотой, даже первое я еле преодолела: «Я родился в 1632 году в городе Йорке, в добропорядочной семье, которая, впрочем, происходила из другой страны. Мой отец был иностранцем...»

В книге не упоминалось о собаках или кошках, потерянной луне или заколдованных лесах. Это была книга о приключениях. Первая загадка решена. И я начала читать ее с отцом, слог за слогом. Каждый вечер мы брали штурмом очередную страницу. Поначалу борьба давалась нелегко. Но вскоре я даже и не заметила, как предложения потекли свободным потоком.

История о человеке, потерпевшем кораблекрушение и оказавшемся на затерянном острове, где было только два сезона – дождливый и засушливый, вместе со своим другом Пятницей, которого он спас от каннибалов, наполняла меня надеждой. А потом я начала придумывать свои приключения.

Возможно, отец попал на далекий остров, и я поплыву на своем величественном корабле через моря и океаны, сражаясь с ужасными штормами и огромными волнами, чтобы найти его.

Но сегодня мне не до чтения. Мне нужно рассказать ему о пакете, прибывшем с Кубы, настоящей семейной реликвии. Потому что если кто-то и знает что-нибудь о корабле и подписи на немецком, то это наверняка он.

Я уговорю маму пойти в фотостудию, чтобы отпечатать фотографии. Я знаю, он поможет мне выяснить, кто эти люди. Возможно, среди них есть и его родители или бабушка с дедушкой, ведь, насколько можно судить, снимки сделаны до войны. Второй мировой войны, самой ужасной из всех.

Каждое утро, проснувшись, я брала фотографию и целовала ее. Затем я варила маме кофе. Только так я могла убедиться, что она встанет.

Сегодня, когда я варила ей кофе, я дышала ртом, потому что запах вызывал у меня тошноту. Но маме он нравится и позволяет ей проснуться. Я медленно принесла ей большую чашку, держа ее за ручку, чтобы не обжечься. Это настоящее волшебное зелье, которое выведет ее из дремы. Я дважды постучала, но, как обычно, она не откликнулась. Я медленно открыла дверь, и свет из коридора устремился в комнату вместе со мной.

Потом я увидела ее: она была белой как полотно и лежала неподвижно, вся извернувшись и закатив глаза, а подбородок был вздернут вверх. Я выронила чашку с кофе, которая, упав на пол, разбилась, и кофе забрызгал белые стены спальни.

Я выбежала в коридор, судорожно пытаюсь открыть входную дверь, а затем со всех ног бросилась наверх, на пятый этаж, и постучала в дверь к мистеру Левину. Когда он мне открыл, его пес Бродяга наскочил на меня.

– Я с тобой сейчас не могу поиграть, маме нужна помощь.

Мистер Левин увидел, насколько я была расстроена, и приобнял меня за плечи. Больше я не могла сдерживать слезы.

– С мамой что-то случилось! – все, что я сказала ему, потому что не могла произнести самое страшное слово. Что я ее потеряла, что она ушла, оставила меня. С этого дня я буду сиротой не только по отцу, но еще и по матери. Возможно, мне придется съехать с квартиры, оставить фотографии и школу. Кто знает, куда меня отправят. Может быть, на Кубу. Да, я могла бы попросить социальных работников, которые приходят проводить меня, найти мою семью на Кубе – найти Ханну, единственного человека, который у меня остался на свете.

Мы с Бродягой побежали вниз, а мистер Левин спустился на лифте. Прибежав первой, я ждала у двери маминой спальни, не решаясь заглянуть внутрь. Сердце колотилось в груди. Оно так тяжело стучало, что каждый удар отдавался болью. Мистер Левин вошел совершенно спокойно, включил лампу и присел на мамину кровать. Он послушал ее пульс, затем обернулся ко мне и улыбнулся. И начал звать ее.

– Ида! Ида! Ида! – кричал он, но тело оставалось таким же неподвижным.

Затем я увидела, как мамины руки потихоньку начали расслабляться, и она слегка повернула голову налево, как будто не желая нас видеть. На ее щеки вернулся румянец, и, казалось, она очень недовольна тем, что в ее комнате стало так светло.

– Не волнуйся, Анна. Я уже вызвал скорую. С твоей мамой все будет хорошо. Во сколько приезжает твой школьный автобус? – спросил мой единственный друг во всей вселенной, который к тому же был хозяином самой замечательной собаки в доме.

Мама увидела слезы, катившиеся по моим щекам, и, мне показалось, это опечалило ее больше всего. Как будто бы ей было

стыдно и она просила у меня прощения, но у нее не было сил что-то сказать. Я подошла и нежно, чтобы не сделать больно, обняла ее.

Я вытерла слезы и побежала вниз, к автобусу. С улицы я увидела мистера Левина, который вышел на наш балкон, чтобы удостовериться, что водитель меня заберет. Когда я села в автобус и прошла по проходу к своему месту, другие дети увидели, что я плакала. Я села в самом конце салона, и ко мне тут же повернулась девочка с косами, сидевшая впереди меня. Уверена, она подумала, что меня наказали за какой-нибудь проступок: за то, что недоделала уроки, не убрала комнату, а может, не позавтракала или не почистила зубы, прежде чем выйти из дома.

Сегодня на уроках я никак не могла сосредоточиться. К счастью, учителя не задавали мне вопросов, на которые я не знала ответов. Я не знала, нужно ли будет маме провести несколько дней в больнице и смогу ли я пожить немного у мистера Левина.

Когда я пришла домой из школы, мой друг снова стоял на балконе. Думаю, это означало, что мама в больнице и мне теперь придется подыскать себе другое жилье.

Я вышла из автобуса, не попрощавшись с водителем, затем несколько минут стояла у парадной, поскольку мне не хотелось заходить внутрь. Я заметила первые зеленые побеги бостонского плюща, покрывающие одну из стен нашего дома.

Я взяла почту, как делала всегда, а потом побежала вверх по лестнице. Когда я вошла, Бродяга бросился ко мне и принялся меня облизывать. Я сидела на полу и гладила его, стараясь оттянуть момент, когда нужно будет пойти в гостиную. Когда я наконец пришла туда, я увидела мистера Левина, у ног которого Бродяга немедленно улегся, и маму, сидевшую в кожаном кресле рядом с открытой балконной дверью. Они оба улыбнулись, а мама встала и подошла ко мне.

– Я тебя напугала, но все прошло, – прошептала она мне на ухо так, чтобы не услышал мистер Левин. – Обещаю, доченька, больше такого не повторится. – Она уже давно не называла меня доченькой.

Мама начала гладить меня по волосам. Я закрыла глаза и уткнулась ей в грудь, как делала, когда была маленькой. Тогда я не имела ни малейшего представления о том, что могло случиться с отцом, и все надеялась, что, возможно, он вот-вот объявится и войдет в дверь. Я сделала глубокий вдох: она пахла чистой одеждой и мылом.

Я обняла ее, и мы так стояли несколько минут. Ни с того ни с сего комната вдруг показалась мне огромной, и я начала клевать носом. *Не шевелись, постой так еще немного. Обнимай меня, пока не устанешь и пока руки не отяжелеют.* Бродяга подошел и лизнул мне ноги. Он пробудил меня от сна наяву, но, когда я открыла глаза, мама все еще стояла и улыбалась, а на ее щеках играл румянец. Она снова была красивой.

– У нее слишком сильно упало давление. Все будет хорошо, – сказал мистер Левин. Мама поблагодарила его, отвела в сторону и отправилась на кухню.

– А теперь мы будем ужинать, – объявила она, входя в ту часть дома, которая была ей чужда несколько последних лет.

Стол был уже накрыт: салфетки, тарелки, столовое серебро – все на троих. Из духовки доносился запах лосося с каперсами и лимоном. Мама принесла блюдо к столу, и мы стали есть.

– Завтра мы пойдем в фотостудию в Челси. Я позвонила и договорилась.

Именно это мне и нужно было услышать, чтобы оправиться от сегодняшнего испуга. В некотором смысле я чувствовала себя виноватой. Иногда мне хотелось, чтобы она больше не проснулась, чтобы больше не открыла глаза, а просто продолжала спать, освободившись от боли. Не знаю, как я могла бы попросить у нее прощения. Но теперь мы собирались выяснить, кто был на тех фотографиях. И я чувствовала, что мама снова контролирует ситуацию или же, по крайней мере, у нее появилось больше сил.

Я проводила мистера Левина до его квартиры. По пути мы наткнулись на вредную соседку, которая терпеть не могла достойнейшего пса.

– Подобрали на улице какую-то вонючую собаку, – несколько раз говорила она другим соседям. – Кто ее знает, может, у нее полно блох.

Все считают ее сумасшедшей.

Но Бродяга все равно здоровается с ней, когда ее видит. Ему все равно, что она его отталкивает. У Бродяги обвисло одно ухо, он немного глуховат, и у него сломан хвост. Поэтому старуха и ненавидит его. Мистер Левин спас его и теперь говорит с ним по-французски.

«Мой клошар», – называет он пса. Мистер Левин рассказал мне, что хозяйкой Бродяги раньше была старая француженка, которая, как и

он, жила одна. Ее нашли мертвой в Ля Турэн, одном из старейших многоквартирных домов на Морнингсайд-драйв.

Я вдруг вспомнила, как мама говорила, что мы живем во французской части Манхэттена, еще в те дни, когда она рассказывала мне на ночь сказки. Когда вахтер открыл дверь квартиры старой француженки, Бродяга убежал, и его не смогли поймать. Неделю спустя, во время одной из утренних прогулок, мистер Левин заметил собаку, которая с трудом поднималась по крутому склону в Морнингсайд-Парке. А потом Бродяга сел у его ног.

«Мой клошар», – позвал мистер Левин, и пес подпрыгнул от радости. Бродяга послушно шел за мистером Левином, приземистым старым мужчиной с кустистыми седыми бровями, прямо до его квартиры. И с тех пор он стал его верным спутником. В тот день, когда мистер Левин познакомил меня с Бродягой, он серьезно сказал:

– В следующем году мне будет восемьдесят, и в этом возрасте уже начинаешь считать минуты, оставшиеся до конца. И я не хочу, чтобы с моим клошаром произошло то же самое, что и в прошлый раз. И когда в мою квартиру взломают дверь, чтобы посмотреть, почему я не отвечаю, я хочу, чтобы моя собака знала дорогу в твой дом.

– Мой клошар, – сказала я Бродяге со своим американским акцентом, поглаживая его. Несмотря на то, что мама никогда не разрешала мне завести домашнее животное – кроме, пожалуй, рыбки, которая живет даже меньше цветов, – она понимала, что не сможет отказать Бродяге в доме, ведь это был наш долг перед моим единственным другом.

– Анна, мистер Левин проживет еще долго, так что не возлагай особых надежд, – сказала она мне, когда я принялась убеждать ее в том, что мы должны будем присматривать за его собакой. Как по мне, мистер Левин был ни старым, ни молодым. Я знала, что у него не очень много сил, потому что он ходил очень осторожно, но его ум был так же ясен, как и мой. Мистер Левин знал ответы на все вопросы, а когда он смотрел собеседнику в глаза, тот всегда внимательно слушал.

Теперь же Бродяга не хотел, чтобы я уходила, и начал повизгивать.

– Ну полно тебе, невоспитанный пес, – увещевал его мистер Левин. – У юной мисс Анны есть дела поважнее.

Когда мистер Левин прощался со мной на пороге, он коснулся своей мезузы. А я обратила внимание на одиноко висящую на стене

старую фотографию, на которой мистер Левин был в компании своих родителей: симпатичный, улыбающийся молодой человек с густыми темными волосами. Кто знает, помнит ли мистер Левин годы, проведенные в родной деревне, которая тогда находилась на территории Польши. Это был так давно.

– Ты девочка с душой человека преклонных лет, – сказал он, положив тяжелую руку мне на голову и поцеловав в висок.

Я не поняла, что это значит, но приняла за комплимент.

Потом я пошла в свою комнату, чтобы рассказать отцу, ожидавшему меня на прикроватной тумбочке, обо всем, что произошло за день. Завтра мы отвезем негативы в фотостудию. Я рассказала папе о Бродяге и мистере Левине, а также об ужине, приготовленном мамой. Только об одном я умолчала: о том ужасе, который мы испытали тем утром. Мне не хотелось расстраивать его такими вещами. Ведь я знала, что все будет в порядке.

Я чувствовала себя более утомленной, чем обычно. Мои глаза слипались, и я уже не могла ни говорить, ни даже погасить свет. Я успела задремать, когда ко мне в комнату зашла мама и выключила ночник. Единороги остановились отдохнуть, как и я. Мама укрыла меня сиреневым покрывалом, а потом наклонилась ко мне с долгим нежным поцелуем.

Наутро меня разбудил яркий солнечный свет – я забыла опустить жалюзи. Я в изумлении поднялась, размышляя несколько секунд: не приснилось ли мне все это?

Я услышала шум в квартире. Кто-то был в гостиной или на кухне. Я оделась как можно быстрее, чтобы узнать, что происходит. И даже не причесалась.

На кухне мама держала в обеих руках чашку с кофе. Она пила неторопливо, улыбалась, а ее карие глаза сияли. На ней была лиловая блузка, темно-синие брюки и туфли, которые она называла балетками. Она подошла и поцеловала меня. А я, почувствовав ее так близко, закрыла глаза, сама не зная почему.

Я быстро принялась завтракать.

– Анна, не спеши...

Но мне хотелось доесть как можно скорее. Я хотела узнать, что это за люди на снимках, потому что была уверена, что мы очень скоро найдем информацию о семье отца. И история о корабле, который,

возможно, утонул в океане, нам в этом поможет. Когда мы вышли из квартиры, я увидела, как мама быстро повернулась, заперла дверь и замерла на минуту, как будто передумала. Когда мы вышли на улицу, она прошла вперед шесть шагов, отделявших ее от мира, который она успела позабыть, даже не держась при этом за железный поручень. Когда мы вышли на тротуар, мама взяла меня за руку и заставила ускорить шаг. Казалось, она хотела набрать в легкие как можно больше воздуха, даже несмотря на прохладу, и почувствовать лучи весеннего солнца на своем лице. Она улыбалась встречным людям и, казалось, чувствовала себя свободной. Когда мы добрались до Челси, где находилась фотостудия, мне пришлось помочь ей открыть тяжелые двойные двери из стекла. Мужчина за прилавком, ожидавший нас, надел белые перчатки, развернул рулоны с негативами на просмотрном столе с подсветкой и принялся рассматривать их через увеличительное стекло один за другим. Мы получили настоящее сокровище из Гаваны. А я детектив, работающий над тайной, которая вот-вот откроется. Мы видели, как негативы обернулись: черное стало белым, а белое – черным. Скоро под мощными лампами и химическими препаратами наши призраки оживут.

Несколько минут мы рассматривали фотографию, помеченную белым крестом. В углу была размытая надпись на немецком, которую мама нам перевела:

– Сделана Лео 13 мая 1939 года.

На снимке была девочка, очень похожая на меня, смотревшая в окно, которое, по мнению седоволосого мужчины, могло быть корабельным иллюминатором.

Думаю, мама немного забеспокоилась, когда увидела, как сильно я разволновалась из-за негативов. Она считала, что я надеюсь получить от них ответы на многие вопросы, а ответы эти будут неутешительными. Теперь нам нужно было узнать, откуда они взялись, кто из родственников отца есть на фотографиях и что с ними стало. По крайней мере, мы знаем, что один из них отправился на Кубу. А что стало с остальными?

Отец родился в конце 1959 года, но этим негативам больше семидесяти лет, так что здесь мы говорим о тех днях, когда мои прадедушка и прабабушка прибыли в Гавану. Возможно, их сопровождал мой дедушка, который тогда был ребенком. Мама думала,

что эти фотографии сделаны в Европе и во время плавания, когда они бежали от приближающейся войны.

– Твой отец был совсем немногословным человеком, – сказала она снова.

Когда мы возвращались домой на такси, она взяла меня за руку, так, чтобы завладеть моим вниманием. Я знала, что есть и другие сведения, которые она хотела мне передать, что-то, что она носила в себе все эти годы. Она по-прежнему считала, что я слишком маленькая, чтобы понять, что случилось с моей семьей. *Мама, я сильная. Ты можешь мне рассказать что угодно. Я не люблю тайн. И мне кажется, что в этой семье их ужасно много.* Было бы гораздо проще, если бы она рассказала мне, как именно я потеряла отца, еще до того, как я пошла в Филдстонский детский сад. Но мама всегда говорила одно и то же: – Однажды твой отец ушел и не вернулся. И больше ничего.

– Думаю, пришло время тебе узнать кое-что. По отцу ты тоже немка, – сказала мама с легкой, будто извиняющейся улыбкой. Я не ответила. Просто не среагировала.

Когда такси выехало на Вест-Сайд-Хайвей, я открыла окно. Холодный ветер с Гудзона и шум машин не дали маме продолжить. А я все думала о том, что она только что сказала.

Когда мы добрались до дома, мои щеки замерзли и покраснелись. У парадной мы встретили мистера Левина и Бродягу: после прогулки они часто отдыхали на ступеньках.

Ханна

Берлин, 1939

Ужин был накрыт. Столовая, отделанная панелями из темного дерева, которые давно уже никто не полировал, стала нашей тюрьмой. Потолок с тяжеловесной квадратной лепниной, казалось, вот-вот рухнет нам на голову. Теперь у нас в доме не было слуг: они все ушли. Включая Еву, которая служила нам еще с моего рождения. Для нее это было небезопасно, да и она не хотела видеть, как мы страдаем. Хотя, на мой взгляд, на самом деле она оставила нас потому, что не хотела стоять перед выбором: доносить на нас или нет.

Впрочем, втайне Ева продолжала приходить к нам, и мама все так же платила ей, как будто она по-прежнему была нашей служанкой.

– Она часть нашей семьи, – объясняла она отцу каждый раз, когда он предостерегал ее от лишних трат, чтобы не остаться в Берлине без гроша в кармане.

Иногда Ева приносила нам хлеб или готовила дома, а потом приносила еду в огромном котелке, и нам оставалось только разогреть ее. У нее был ключ, и раньше она входила через парадную дверь. Но теперь ей приходилось заходить через служебный вход, чтобы фрау Хофмайстер не увидела ее из окна. Эта женщина постоянно все разнюхивала; она и была надсмотрщиком в нашем доме. Я даже затылком чувствовала ее взгляд. Всякий раз, когда я выходила на улицу, ее взгляд преследовал меня и пригибал к земле. Она была пиявкой, которая бы отдала что угодно за то, чтобы заиметь одно из маминых платьев, попасть к нам в квартиру и вынести оттуда все украшения, сумки и обувь ручной работы, которая никогда бы не налезла на ее пухлые ноги.

– За деньги хороший вкус не купишь, – вынесла вердикт мама.

Фрау Хофмайстер тратила на платья целое состояние, но на ней они всегда смотрелись как с чужого плеча.

Я не могла понять, почему мама одевалась и красилась так, как будто она собиралась на вечеринку. Она даже наклеивала накладные ресницы, придававшие ее полуприкрытым глазам еще более томное выражение. У нее были очень широкие веки, «идеальные для макияжа», как говорили ее подруги. Но она наносила на лицо лишь

небольшое количество косметики: немного румян и пудры, немного туши и несколько серых штрихов вокруг глаз. Помадой она пользовалась только по особым случаям.

Наша столовая становилась все просторнее с каждым днем. Я откинулась на стуле и всмотрелась в родителей с расстояния. Я не могла разглядеть их лиц, их черты казались размытыми. Единственным источником света была лампа, висевшая над столом и придававшая тарелкам из китайского фарфора бледно-оранжевый окрас.

Мы сидели вплотную к прямоугольному обеденному столу из красного дерева с массивными ножками. Рядом с папиной тарелкой я увидела номер журнала «Немецкая девушка», пропагандистское издание Союза немецких девушек. Все мои друзья – а точнее, одноклассницы – были подписаны на него, но папа никогда не разрешал мне приносить домой этот «печатный мусор». Но я не понимала, зачем он положил журнал рядом с собой. Может, начнем есть? Они оба выглядели озабоченными и сидели, склонив голову. Казалось, они не решаются заговорить со мной. В молчании они одновременно подносили ложки с супом ко рту и с трудом его проглатывали. Никто из родителей даже не посмотрел на меня. Что я сделала? Папа перестал есть и поднял голову. Теперь он пристально смотрел на меня. Он перевернул журнал и со сдерживаемым гневом подтолкнул его ко мне.

Я не могла в это поверить. Что теперь со мной станет? Лео меня возненавидит. Мне придется забыть о наших ежедневных полуденных встречах в кафе фрау Фалькенхорст. Никто больше со мной не станет пить горячий шоколад. *Сын булочника оказался прав, Лео. Тебе следовало меня бросить. И не приходи искать меня.*

На обложке журнала для чистых молодых девушек – тех, что не носят клеймо, полученное от четверых прародителей, у которых маленькие вздернутые носики, белая, как пена, кожа, а глаза голубее неба, в которых нет ни намека на несовершенство, – была именно я, улыбающаяся, смотрящая вдаль. Я стала «Немецкой девушкой» месяца.

Казалось, в столовой совсем пусто. Даже не было слышно стука ложек, погружаемых в злосчастные тарелки с супом. Никто со мной не говорил. Никто меня не упрекал.

– Папа, я не виновата! Поверь!»

Фотограф, которого мы посчитали доносчиком, оказался огром, работавшим на издание «Немецкая девушка». А я-то считала, что даже если бы я в тот день терлась так, что кожа бы слезла, он все равно обнаружил бы мое клеймо, и именно поэтому он меня и сфотографировал.

– Как же он мог так ошибиться? – спрашивала я, но никто не отвечал.

– Ты грязная, Ханна. Больше не садись за стол в таком виде, – сказала мама, и впервые этот эпитет в мой адрес не показался мне ругательством.

Да, я замаралась, и мне хотелось, чтобы весь мир знал, что меня заботит, грязная ли я, запачканная или растрепанная. Я хотела сказать это родителям, но не могла, поскольку в итоге мы все были грязными. Никто этого не избежал. Даже изящная и высокомерная Альма Штраус, которая теперь носила фамилию Розенталь и была такой же грязной, как и нежелательные личности, ютившиеся в тех комнатах в квартале Шпандауэр-Форштадт. Этого не избежал и папа, знаменитый профессор Макс Розенталь, который сейчас печально расхаживал взад и вперед по комнате, глядя в пол. Я вышла из-за стола и пошла переодеваться, чтобы сделать маме приятное.

Я надела идеально отутюженное белое платье с короткими рукавами. *Тебе такое нравится, мама? Я не надену это платье в тот день, когда нам придется все бросить.* Я не могла в нем пошевелиться. Иначе оно растянется. Если я сяду, оно помнется. Даже от слезинки на ткани оставалось пятно. Еще я вымыла руки, так тщательно их намылив, что они так и пахли сульфатом, когда я вернулась к столу. Когда я ела суп, мама оглядела меня с ног до головы, но без неудовольствия.

Папа вздохнул. Он взял журнал и убрал его в портфель.

– Возможно, обложка этого журнала с твоим лицом когда-нибудь принесет пользу, – сказал он, сдаваясь. – Вред она уже принесла.

– Мы можем хотя бы теперь спокойно поесть? – сказала мама.

Тишину в комнате нарушал только тихий скрип ложек о мейсенский фарфор, которым мама начала пользоваться только тогда, когда узнала, что ей вскоре придется оставить его и он достанется какой-нибудь вульгарной берлинской семье.

– Фарфор, который принадлежал семье Штраус более трех поколений, – вздохнула она и съела еще ложку супа.

Я не притрагивалась к своей тарелке. Мне казалось, что, если я разобью какой-нибудь предмет, родители совершенно точно отправят «немецкую девушку» на поезде неизвестно куда. И горе мне, если я издам хоть звук, поглощая этот прозрачный безвкусный суп, в котором плавала лишь пара картофелин и грубо нашинкованный красный лук, – тогда меня отправят напрямик в кровать на голодный желудок.

– Мадагаскар, – сказал папа.

Я не имела ни малейшего понятия, о чем он говорит. Мама поднесла ложку с уже остывшим супом ко рту и медленно опустила ее. Молчание. Я ждала, когда папа продолжит. Мадагаскар.

– На каком континенте находится Мадагаскар? В Африке? Мы поедем так далеко? – спросила я, но они мне не ответили.

Богиня старалась сдержаться, но слеза все же покатила по ее щеке. Поспешно вытерев ее белой кружевной салфеткой, она улыбнулась и слегка коснулась моей руки, чтобы показать, что она не придает этому значения. Печаль отступила. Нам придется эмигрировать: другого выбора нет.

– Чем дальше мы уедем, тем лучше, – произнесла она, подкрепляя сказанное еще одной ложкой супа. Поднеся белые как снег руки к шее, она огладила ее аристократичным движением.

– Эфиопия, Аляска, Россия, Куба, – продолжал папа перечислять возможные направления.

Мама посмотрела на меня и улыбнулась. Потом она заговорила и, казалось, не собиралась останавливаться:

– Не плачь, Ханна. Мы поедем куда придется. Мы знаем несколько языков. И если понадобится, выучим еще. Мы совсем другие, пусть даже они относятся к нам так же, как и к остальным. Начнем все сначала. Если у нас не будет дома напротив парка или на берегу реки, будет на берегу моря. Давайте насладимся последними днями в Берлине.

Ее спокойствие напугало меня. Она говорила, выделяя каждое слово и растягивая гласные, как в церкви. Остановилась набрать воздух и продолжила. Я почувствовала, что она вот-вот расплчется, начнет обвинять отца, проклинать свою ужасную жизнь, прошлое и наследственность.

Она казалась настолько хрупкой, что я была уверена: она не вынесет путешествия на Мадагаскар. Или же простой выход в отель «Адлон»; или последнюю прогулку к Бранденбургским воротам; или прощальный поход к колонне Победы, памятнику павшим в объединительных войнах Германии, который мы посещали осенними днями.

– Мы могли бы пойти в «Адлон», Ханна. Мы должны попрощаться с месье Фурно, он всегда был очень любезен. И с Луи, конечно же.

У меня слюнки потекли при мысли о сладостях, которые подавал нам месье Фурно. Я вспомнила, что, разворачивая мою салфетку, он наклонялся так близко, что его заостренный нос оказывался совсем рядом с моим лицом и я чувствовала его дыхание. Луи был сыном владельца, а теперь принял на себя управление. Он был в восторге от мамы и того уважения, которая она выказывала отелю. Обычно он приходил посидеть с нами и рассказывал, какие знаменитости из немецкого высшего общества, или даже Голливуда, находились в отеле в тот момент.

Маме было трудно принять тот факт, что теперь ей больше не рады в отеле, который она считала своим собственным. Она любила с гордостью говорить о том, что он был символом современной Германии и элегантности.

У отеля был мрачный фасад, но внутри своды поддерживали колоссальные мраморные колонны, а в холле находился необычный фонтан, украшенный скульптурами черных слонов.

В 1907-м мамины родители были приглашены на открытие отеля. В тот день дедушка подарил бабушке «Слезу» – несовершенную жемчужину, ее любимое украшение, которое, как из года в год напоминала мама, однажды станет моим. Когда ей исполнилось двенадцать, «Слеза» перешла к ней, и она носила ее только по особым случаям.

Однако теперь Луи привечал огров. Это были представители высшего общества и власти, которые придавали отелю его блеск, а не просто богатая наследница, считавшая себя более загадочной, чем богиня Гарбо, и сочетавшаяся браком с нуждающимся профессором. Теперь же мы оказались мерзкими людьми, портившими репутацию легендарного места.

Однажды, когда в доме чистили огромные персидские ковры, мы жили в двухкомнатных апартаментах отеля с видом на Бранденбургские ворота. Моя комната, примыкавшая к родительской, была чрезвычайно просторной. Каждое утро я отодвигала красные бархатные занавеси и открывала окно, впуская городской шум. Мне нравилось смотреть, как люди бегут за трамваями, наблюдать за многочисленными машинами, снующими по Унтер-ден-Линден. В холодном воздухе Берлина плавали ароматы тюльпанов, сахарной ваты и свежего пряного печенья с орехами.

Я тонула в перьевых подушках и сверкающих белизной простынях, которые меняли дважды в день. Завтрак мне приносили в постель, а горничные приветствовали меня, говоря:

– Доброе утро, принцесса Ханна.

Мы одевались ко второму завтраку, переодевались к чаю, а вечером снова меняли наряды.

– Да, конфеты Луи с вишнями, – сказала я оживленно, притворяясь ненасытным ребенком, чтобы повеселить маму.

Я внимательно наблюдала за ней: и ее медленные движения, и напряжение, с которым она подносила ко рту легкую ложку. Я хотела, чтобы она посмотрела на меня, осознала, что я существую. *Мама, пожалуйста, давай ты снова будешь читать мне те романтические французские романы прошлого века. Расскажи мне о мадам Бовари, о той уставшей от жизни женщине, которая отчаянно влюбилась. Ты очень хотела назвать меня Эммой в ее честь, но отец не позволил. Единственная деталь, которую я помнила из этого произведения о любовных связях и предательствах, – тот факт, что Эмма периодически выпивала ложку уксуса, чтобы муж думал, что она больна и истощена. Однажды утром я рано встала; мне было очень грустно, хотя ни ты, ни Ева ничего не заметили. Я пошла на кухню и выпила уксуса, чтобы на лице отразилось то, как я себя чувствовала. Еще мне хотелось иметь всегда наготове хлопковый платок, смоченный в уксусе, как у Эммы, на случай, если кто-нибудь потеряет сознание. Но в нашей семье только я теряла сознание, и все из-за одного вида крови. Ты не должна была ожидать, что я теперь буду умненькой маленькой девочкой с хорошими манерами, которая может беседовать в чайных кафе о литературе и географии. С тобой мне хотелось вести себя отвратительно, бегать, кричать, прыгать и*

плакать. Был даже эпизод, когда я раскапризничалась, как обычная маленькая девочка:

– Я никуда не пойду! Я не хочу никуда выходить из комнаты! Вы идите и оставьте меня здесь с Евой!

Я взяла с собой в кровать куклу в красном платье из тафты. Мама подарила мне ее в прошлом году, но я ее терпеть не могла. Я притворялась маленькой девочкой и винила родителей за все, но в глубине души я знала, что моя судьба не зависела ни от меня, ни от них; а они просто старались выжить посреди разрушающегося города.

В дверь постучали. Я спряталась под простынями, но почувствовала, как кто-то подошел и сел на кровать рядом со мной. Это был папа, смотревший на меня с сочувствием.

– Моя девочка, моя немецкая девочка, – сказал он, и я позволила моему самому любимому в мире человеку обнять меня.

– Мы будем жить в Америке – в Нью-Йорке, – но мы все еще в списке ожидания на въезд. Поэтому сначала нам придется поехать в другую страну. Только на время, я обещаю. – Голос отца успокоил меня. Его тепло согревало, а дыхание окутывало меня. Если он продолжит говорить со мной так же размеренно, я скоро усну. – Наша квартира в городе небоскребов уже ждет нас, Ханна. Мы будем жить в доме, увитом плющом, на Морнингсайд-драйв, который называется Мон-Сени, как горный проход. Из гостиной мы сможем каждое утро наблюдать восход солнца.

Сейчас, папа, самое время дать мне поспать. Я не хочу знать, о чем ты мечтаешь. Я хочу, чтобы ты спел мне колыбельную, как раньше, когда я была маленькой и засыпала у тебя на руках, самых сильных в мире. Я снова стала хорошей девочкой и не собиралась вмешиваться в дела взрослых. Девочкой, которая не хочет от тебя отделяться, а, напротив, льнула к тебе, пока не погрузилась в сон. Я снова стану ребенком. Я проснусь и подумаю, что это был кошмарный сон. Что ничего не изменилось.

Отец не переживал из-за того, что мы потеряем то, что было нашим по праву, или из-за того, что нам придется уехать из Берлина в какой-то удаленный уголок земли. Он имел профессию. И он мог начать все сначала без гроша в кармане: у него это было в крови. Отец переживал за маму, поскольку видел, что каждый прожитый день ложится на ее плечи грузом целого года.

Не думаю, что мама могла бы приспособиться к жизни за пределами дома, без украшений, платьев и духов. Вне всякого сомнения, она сойдет с ума. Мамина жизнь мерно текла в стенах дома, принадлежавшего ее семье уже несколько поколений. Единственное место, где ей нравилось жить в окружении фотографий ее родителей, где она хранила Железный крест – награду, которую ее дедушка принес с Великой войны.

Отцу же будет больше не хватать граммофона и пластинок. Ему придется проститься с Брамсом, Моцартом и Шопеном навсегда. Но, как он всегда говорил, у музыки есть замечательное свойство: ее всегда можно взять с собой в своей памяти. И никто у тебя ее не отнимет.

А я уже начинала скучать по тому времени после полудня, которое я проводила с отцом в его кабинете. По тому, как я открывала для себя страны по его древним картам, слушала рассказы о его путешествиях в Индию и вверх по Нилу, представляя себе экспедицию в Антарктику или сафари в Африке, куда мы отправимся вместе.

– Однажды мы с тобой непременно это осуществим, – говорил отец в утешение.

Не забудь обо мне, папа. Я хочу снова стать твоей ученицей, изучать географию далеких континентов. И мечтать, просто мечтать.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Я закрыла глаза – и вот я уже на палубе огромного корабля, плывущего неизвестно куда. Я открыла глаза, и меня ослепило солнце. Я девочка с подстриженными волосами на борту корабля посреди океана.

Я проснулась, но все еще не знала, кто я: Ханна или Анна. Мне казалось, что мы с ней – один человек.

На деревянном обеденном столе мама разложила черно-белые фотографии, добравшиеся до нас с острова в Карибском море, расположенного в нижней части карты.

В прихожей, на белой стене, рядом с деревянным книжным шкафом, теперь можно увидеть увеличенную фотографию девочки, выглядывающей из иллюминатора. Она не смотрит на берег, на воду или вдаль. Она как будто бы ждет чего-то. Нельзя сказать, пришли ли они в порт или все еще в море.

Она с обреченным видом подпирает голову рукой. Волосы девочки разделены на косой пробор, а стрижка открывает круглое лицо и нежную шею. Кажется, у нее светлые волосы, но контрастность на фотографии такая высокая, что мне трудно выделить ее глаза, не то что сказать, действительно ли она похожа на меня.

– Профиль, Анна, профиль, – сказала мама с улыбкой. Она тоже очарована фотографиями, особенно той, где была эта девочка.

Я нашла журнал с рассыпающимися страницами и выцветшими, размытыми фотографиями, чтобы удостовериться, что на обложке изображена та же девочка. Я пролистала его, но так и не нашла упоминания о плавании через Атлантику. Никто не мог разгадать эту тайну. Мама немного знает немецкий, но она почти не смотрела на журнал – ее больше интересовали фотографии, которые мы проявили. Она начала их сортировать: семейные портреты, изображения интерьера, снимки на борту корабля. На одном конце стола она отложила фотографии одного и того же мальчика.

Даже не верится, что письму с Кубы удалось поднять маму с постели. Теперь она была совершенно другой женщиной. Я все еще не знала, стал ли причиной сам конверт или ужас предыдущего дня. Но я

чувствовала, что она впервые обращала на меня внимание и принимала меня в расчет. Я видела, как напряженно она разглядывала фотографии семьи, бегущей на другой континент от надвигающейся войны.

– Это как смотреть фильм, снятый в Берлине двадцатых или тридцатых годов, – мире, который вот-вот исчезнет. От тех дней, Анна, почти совсем ничего не осталось, – сказала мама, тщательно изучая фотографии.

Она убрала волосы за уши, как раньше, и даже нанесла легкий макияж. Если повезет, в эти выходные она разрешит мне ее накрасить и поиграть с косметикой, как мы делали раньше, когда я еще не ходила в школу, а она не лежала целыми днями в постели.

Мне уже нужно было идти делать уроки, но я предпочла остаться с мамой за столом. Еще несколько минут, а потом я пойду на кухню и сделаю чай.

Выбитые витрины магазинов, звезда Давида, разлетевшиеся повсюду осколки, граффити на стенах, грязные лужи, мужчина, отворачивающийся от фотоаппарата, печальный старик, нагруженный книгами, женщина с огромной детской коляской, другая дама, в шляпе, перепрыгивающая через лужу, сверкающую как зеркало, влюбленная пара в парке, мужчины в черной одежде и шляпах. Кажется, на них была форма. Все мужчины в головных уборах. Переполненные трамваи. И снова стекло... Фотографы явно привлекали осколки стекла на мостовых.

Также мама принесла домой диск с фотографиями, чтобы я могла распечатать их так, как мне хотелось, обрезать или увеличить. Мне еще много предстоит выяснить. Когда чай был готов, я подошла к маме поближе. Воспользовавшись моментом, я закрыла глаза, глубоко вздохнула и ощутила аромат ее мыла. Мой взгляд остановился на фотографии у мамы в руках, на которой было изображено красивое здание с крышей, разрушившейся при пожаре. Я посмотрела на ее короткие ногти с маникюром, пальцы без колец – даже без обручального кольца – и погладила их. Она откинула голову назад и прижалась ко мне. Мы снова были вместе.

– Какой же ужасной была ночь на десятое ноября 1938 года. Никто такого не ожидал.

У мамы стоял ком в горле. Я слушала ее рассказ об ужасных драматических событиях, но не чувствовала печали, только радость от

того, что мама со мной. Я боялась, что из-за огорчения она снова может вернуться в постель. Лучше подождать с фотографиями, пока она полностью не поправится. Но она продолжала:

– Во всех магазинах были выбиты стекла. Возможно, одна из разоренных лавок принадлежала твоим прадедушке и прабабушке. Кто знает. Хрустальной ночью, или Ночью разбитых витрин, были сожжены все синагоги. Только одна осталась, Анна.

Мужчин забирали, разлучали семьи. Всех женщин заставляли называть себя Сарами, а мужчин – Израилами, – и мама поспешно добавила: – Я говорила отцу, что скорее бы умерла, если бы мне пришлось сменить имя. Некоторым удалось бежать, других позже отправили в газовые камеры.

Настоящий фильм ужасов. Я не могла представить нас двоих в том городе. Не знаю, выжила бы мама. В то время Берлин для таких, как мы, был просто адом. Люди потеряли все.

– Они бросали дома, оставляли всю привычную жизнь. Мало кто выжил. Люди прятались в подвалах, бежали из страны – это был их единственный шанс. На них нападали на улице, их арестовывали, бросали в тюрьму, и больше никто никогда их не видел. Некоторые решали отправить детей одних в другие страны, чтобы их вырастили в другой культуре, другой религии, в незнакомых им семьях.

Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Я увидела отца в Берлине, Гаване, Нью-Йорке. Я немка. А это моя семья, и их вынуждают называть себя Сарами и Израилами. Их дело уничтожено. Семья, которая сбежала и выжила. Вот откуда я происхожу.

Мама считает, что самые печальные фотографии – интерьерные снимки, но на них изображены хорошо одетые мужчина и женщина в просторных комнатах, напоминающих дворцовые залы. Женщина стоит напротив окна, она высокая и элегантная, в платье, плотно облегающем талию, и широкополой, надетой набок шляпе. На мужчине костюм и галстук, он сидит рядом со старинным граммофоном, репродуктор которого выгнулся, как гигантский цветок. На другом фото эта же пара уже одета на выход. Мужчина облачен во фрак, а на женщине длинное шелковое вечернее платье.

– Бог знает, были ли они разлучены или смогли умереть вместе, – продолжала мама, и в ее голосе слышались переживаемые ею сильные эмоции.

На моих же любимых фотографиях был мальчик с большими черными глазами. На снимках он бегал, прыгал, залезал в окно и по фонарному столбу или лежал на траве. Совершенно точно один и тот же мальчик на всех фотографиях. И он все время улыбался.

Я поднялась и встала перед размытой фотографией. Мы действительно похожи. Девочка на корабле та же, что и на обложке журнала Союза немецких девушек. Думаю, на выходных я сделаю стрижку, как у нее.

– Это Ханна, тетушка, которая вырастила твоего папу, – услышала я мамин голос у себя за спиной. Она обняла меня и поцеловала. – Тебя называли Анной в ее честь.

* * *

Я хотела выбраться из этой ловушки, но не могла. Я не знала, где я, и попыталась открыть глаза, но мои веки были плотно закрыты. Воздуха! Мне нужен воздух!

Это очередной кошмарный сон или я не сплю? Руки отяжелели и тянули меня в пропасть. Я не чувствовала ног, они были холодными. Вся моя сила испарилась, и как раз когда из моих легких вышел воздух, я потеряла сознание и уплыла неизвестно куда. Я подняла голову, и мой нос появился...на поверхности? Я выпрямилась, повернула голову налево, потом направо, пытаюсь понять, где я, в то время как ветер хлестал мне в лицо.

Лицо мокрое, кожа горела. Голова такая горячая, что даже кружилась; а телу так холодно, что его почти парализовало. Я отчаянно дышала и глотнула воздух вместе с соленой водой. Мне казалось, что я сейчас утону, и я непроизвольно закашлялась, пока горло не начало саднить. Потом я открыла глаза.

Я куда-то плыла.

И я увидела свое отражение в воде. Я была той девочкой с корабля.

Я не знаю, как я сюда попала, но теперь мне нужно подумать, как вернуться обратно, если это возможно. Мои зрачки расширились, а в глаза залилась соленая вода. Я начала двигать руками, чтобы удержаться на плаву; потом я стала помогать себе ногами. Я была жива и бодрствовала. Кажется, я могла попытаться плыть.

Я протерла глаза и увидела, что кожа на ладонях сморщилась. Кто знает, сколько времени я провела в холодной воде. Я была на пляже? Нет: я плыла в темных водах океана.

– Мама! – Зачем я кричу, если я одна? – Мама!

Не было никакого смысла тратить тот небольшой запас сил, который еще оставался. *Греби как можно энергичнее! Ты сильная. Плыви к берегу, полагаясь на помощь ветра, волн и течения.*

Свет ослепил меня. Мне пришлось снова закрыть глаза. Меня мучила жажда, но я не хотела пить соленую воду. У меня теперь еще более глубокие порезы, и в них попадала морская вода. Все мое тело горело.

Я должна была плыть бесконечно. В противоположную от солнца сторону. Потом я увидела берег. Да, я могла различить очертания города. Там были деревья и белый песок. Нет, это не город, а остров.

Я плыла короткими рывками. Против ветра, волн и солнца. Яркий свет слепил глаза.

К берегу! Вот твоя цель. Ты сможешь.

Конечно, я могла, но я засыпала.

Нет! Проснись и плыви дальше. Не надо останавливаться!

Я позволила себя тащить, переваливая через препятствия.

Папа ждет меня. Это тот остров, до которого он добрался в день своего исчезновения; он нашел здесь пристанище. Может быть, он летел на самолете, который потерпел крушение и упал в море. Как и я, он плыл и плыл, пока не добрался до берега.

Вот почему меня выбросило в море. Потому что я знала, что ты там и наблюдаешь за мной. Папа, я пришла и буду твоей Пятницей. Мысль, что я найду тебя, – единственное, что меня все еще держит на плаву. Мы с тобой будем вместе, как два Робинзона на пустынном острове. И ты будешь защищать меня от каннибалов, пиратов и ураганов.

Периоды засухи и наводнений, и мы отправимся на сухую землю, на континент. Мама будет ждать нас там. Потому что ты нужен ей так же сильно, как и мне.

И вот я выбралась из воды. Мое тело лежит на горячем песке, прилипающем к горячей коже.

На солнце мои мысли путаются. Я открываю глаза и вижу тебя. Это ты? Я знала, что ты меня не бросишь. Что в один прекрасный

день придешь за мной. Что мы встретимся где-то далеко, на другом континенте, на острове, затерянном в океане. Что я буду твоей девочкой. Твоей единственной дочерью, за которой ты всегда будешь присматривать.

– Анна! – закричал кто-то.

Я быстро встала. Это мама. Я, вся мокрая от пота, лежала в собственной постели, в своей комнате. Это мой остров. Я поискала отца на прикроватной тумбочке, и вот он, рядом с открыткой с пароходом от его тетушки, смотрел на меня со своей полуулыбкой.

Мама обняла меня, и я расплакалась. Я снова ее маленькая девочка, и я кинулась в ее объятия, чтобы она меня утешила и приласкала. Мама начала напевать. Я не могла поверить: это была колыбельная. Закрыв глаза, я слышала ее нежный голос, шепчущий мне на ухо: – Баю-баюшки-баю, баю-баюшки-баю.

Я снова мамина малышка. Я зарылась в нее, притянула ее к себе и снова слышала ее голос. Да, мама обычно пела мне эту колыбельную в детстве, когда мне снились кошмары. *Спой еще, мама.* Мы с ней все еще здесь, ждем того дня, когда получим удивительное известие о том, что папа жив и находится на далеком острове, что его спасли и он возвращается к нам.

– Что мы будем делать на твой день рождения? – Мама перестала петь, и я открыла глаза.

Даже не припомню, чтобы на мой день рождения кто-нибудь приходил. Мы всегда были с мамой вдвоем, ели шоколадный кекс с розовой свечкой. Большинство моих подружек из Филдстона жили за городом, поэтому обычно я видела их только в школе на уроках.

На самом деле меня не очень-то интересуют вечеринки. Мне хочется что-нибудь получше: к примеру, путешествие. Да, давай пересечем Мексиканский залив. Давай покорим карибские воды, взглянем мельком на берег острова, залитый солнцем и заросший простыми и кокосовыми пальмами. Мы зайдем в порт, где нас будут встречать с цветами, шариками и музыкой. Люди будут танцевать на берегу и освободят нам проход, чтобы мы сошли на обетованную землю.

– Куба! Давай отправимся на Кубу!

На лице мамы застыло напряженное выражение: она приоткрыла рот, и в ее глазах загорелся огонек. Я хотела сказать ей: «Мама, мы не

одни», но мне не хватило смелости.

– Мы могли бы встретиться с папиной семьей и тетушкой, которая его вырастила, – сказала я. Но сначала мама никак не отреагировала.

Если повезет, тетушка отца присмотрит за мной, вдруг что-то случится с мамой. Возможно, я даже отыщу других дядей и тетушек или кузенов, которые смогут позаботиться обо мне, пока я не стану достаточно взрослой, чтобы принимать за себя решения, безо всякого социального работника, норовящего отправить меня в незнакомую семью.

Теперь же у меня есть цель: узнать, кем был мой отец на самом деле.

– Почему бы нам не поехать на Кубу? – настаивала я.

Мама продолжала молчать. Потом улыбнулась и обняла меня:

– Завтра мы поговорим с твоей тетей Ханной.

Ханна

Берлин, 1939

На нашу встречу в кафе фрау Фалькенхорст я пришла рано. Не увидев Лео, я принялась бродить вокруг железнодорожной станции Хаккешер-Маркт. Ее запрудили солдаты. В тот день там даже было более многолюдно, чем обычно. Что-то происходило, а Лео со мной не было. И флагов больше. Все, что я видела вокруг себя, окрасилось в красный и черный. Просто пытка. Улицы были увешаны плакатами и заполнены мужчинами и женщинами со вздернутыми к небу руками.

По громкоговорителям взволнованный голос оповещал о дне рождения, празднике в честь человека, который как раз менял судьбу Германии. Человека, за которым нам полагалось идти, которым нам следовало восхищаться и которому мы должны были поклоняться. Самый чистый человек в стране, где очень скоро будет позволено жить только таким же чистым людям, как он. Из-за громкоговорителей не было слышно объявлений о прибытии и отправлении поездов. А огромный плакат возносил благодарность главному огру за ту Германию, в которой мы жили: – Мы благодарим тебя. Затем кантата Баха разнеслась эхом под сводами станции: – Мы благодарим тебя, Господь, мы благодарим тебя. То есть теперь огр стал богом. Это было двадцатое апреля.

Мое зеленое платье так хорошо сливалось с плиткой на стенах станции, что я почувствовала себя хамелеоном. Когда Лео меня увидит, он прыснет со смеху. Я побежала к выходу, соединенному с кафе, и наткнулась на него.

– Ну и что же мне скажет немецкая девушка с Французишештрассе? – рассмеялся Лео, и насмешливые огоньки, заплясавшие в его глазах, придали им еще более лукавое выражение. – Мы едем на Кубу. И ты увидишь, как этот журнал откроет для тебя двери. Здесь немецкая девушка, здесь! – кричал он и смеялся.

Куба. Еще одно новое место. Лео все узнал.

Он был уверен, что речь идет о Кубе. Начался дождь, поэтому мы побежали к раскинувшемуся рядом универмагу «Герман-Тиетц», который больше не носил это название, поскольку оно было слишком

грязным. Теперь его назвали «Герти», чтобы не оскорбить ничьих чувств. Несмотря на дождь и время суток, все этажи казались пустыми.

– Куда все делись?

Мы нашли центральную лестницу и помчались по ней. Мы наткнулись на нескольких женщин, которые смотрели на нас, будто гадая, где взрослые, которые присматривают за нами. Мы прошли этаж, где над перилами висели персидские ковры, и достигли верхнего этажа под стеклянной крышей, где мы увидели падающие дождевые капли.

– Куба? Где находится Куба? В Африке или в Индийском океане? Это остров? Как это пишется? – вопрошала я, пока, сбив дыхание, бежала за Лео, желая присесть, чтобы больше не лавировать среди женщин, несущих сумки с покупками.

– К-У-В-А, – Лео произнес по буквам немецкий вариант написания. – Они говорят о покупке билетов на пароход. Твой отец собирается помочь нам с нашими.

Это был остров. Единственное место, куда мы могли бы уехать. Я надеялась, что он был далеко от огров.

– Дождь утих; погнали. – Лео припустил вниз по лестнице, не давая мне времени отдышаться. Бог знает куда он хотел сейчас отправиться.

Мы вышли на главную площадь, испещренную лужами. Мы отправились на трамвайную остановку, а Лео наклонился и начал рисовать в грязи крошечный круглый остров под контуром материка, как он сказал, Африки. Сделав карту из воды и грязи, Лео нарисовал город рядом с другой лужей.

– Вот здесь будет наш дом, на берегу моря.

Он взял меня за руку, и я почувствовала, какая она грязная и мокрая.

– Мы едем на К-у-б-у, Ханна!

Его лицо омрачилось, когда он увидел, что ему не удалось вызвать у меня такого же энтузиазма.

– Что мы будем делать на этом острове? – единственный вопрос, который я смогла задать ему, хоть и знала, что он не знает на него ответа.

Вариант с отъездом становился все более реальным, и я очень нервничала из-за этого. До сих пор мы справлялись с ограми и

мамиными кризисами. Из-за одного только осознания, что время отъезда приближается, у меня дрожали руки.

Внезапно Лео заговорил о браке, детях, совместной жизни. Но он даже не сказал мне, помолвлены ли мы. *Мы так молоды, Лео!* Я подумала, что он должен был хотя бы сделать мне предложение, которое я могла бы принять: ведь так было принято. Но Лео не верил в условности. У него были свои правила, и он рисовал свои собственные карты на воде.

Мы ехали на К-у-б-у. Наши дети будут кубинцами. И мы выучим кубинский диалект.

Когда Лео сидел на корточках, рисуя, у выхода из универмага, какая-то женщина со шляпной коробкой подпрыгнула и топнула по луже, уничтожив нашу карту на месте.

– Грязные дети, – прошипела она, глядя на Лео.

Я воззрилась на нее снизу вверх. Она была похожа на великаншу с толстыми волосатыми руками, а ее ногти походили на когти, выкрашенные в красный цвет.

Я не могла выносить всеобщую грубость. Хорошие манеры таяли с каждым днем. В городе, где каждый был готов бить окна и пнуть любого, кто попадался на пути, хорошие манеры были больше не нужны. Никто больше не разговаривал, все только кричали. Папа сокрушался, что язык потерял всю свою красоту.

Маме же немецкая речь, звучавшая из громкоговорителей по всему городу, давно казалась массой изрыгавшихся согласных.

Я подняла голову и увидела, что небо вот-вот разверзнется. Надвигалось скопище серых облаков, предвещавших грозу. Люди вокруг бежали к Бранденбургским воротам, чтобы посмотреть парад, о котором объявляли по громкоговорителям. Сегодня был праздник: самому чистому человеку в Германии исполнилось пятьдесят лет.

Сколько еще флагов может выдержать город? Мы пытались дойти до Унтер-ден-Линден, но не смогли пробиться. Дети и молодежь толпились у окон, стен и на балконах, чтобы посмотреть на военную процессию. Казалось, все они кричат: «Мы непобедимы! Мы будем править миром!»

Лео издевался над ними и, имитируя их приветствие правой рукой, поднимал ладонь вверх в знаке «Стоп!».

– Ты с ума сошел, Лео? Эти люди не принимают такие вещи за шутку, – сказала я, дергая его за руку. И мы снова ринулись в толпу. Теперь нам предстояло целое приключение – нужно было добраться до дома.

Сверху донесся оглушительный шум. Над головой пронесся самолет, потом еще один, и еще. В небе над Берлином появились десятки машин. Лео вдруг посерьезнел. Когда мы прощались друг с другом, мимо проскакал отряд конной кавалерии. Они смотрели на нас с изумлением, как бы говоря: «Почему вы здесь, а не на параде?»

Придя домой, я первым делом отправилась на поиски атласа.

Я не смогла найти Кубу ни на страницах с изображением Африки, ни в Индийском океане, ни рядом с Австралией, ни с Японией. Куба не существовала, ее не было ни на одном континенте. Это была не страна и не остров. Мне понадобилось увеличительное стекло, чтобы рассмотреть мельчайшие названия, затерянные в темно-синих крапинках.

Возможно, это был остров рядом с другим островом или никому не принадлежащий крошечный полуостров. Он вполне мог быть необитаемым, и мы были бы первыми поселенцами.

Мы бы начали с нуля и превратили Кубу в идеальную страну, где каждый мог бы быть светловолосым или темноволосым, высоким или низким, толстым или худым. Где можно было бы купить газету, позвонить по телефону, говорить на любом языке и называть себя как угодно, не обращая внимания на цвет кожи и на то, какому богу человек поклоняется.

По крайней мере, на наших водных картах Куба уже существовала.

* * *

Я всегда думала, что нет никого более мужественного и умного, чем папа. В расцвете сил у него был идеальный профиль, как говорила мама: как у греческой скульптуры. Но теперь она больше его не превозносила. Она больше не спешила к нему навстречу, когда он возвращался усталый из университета, где его очень уважали. Ее лицо больше не светилось от радости, когда ее называли дамой ученого доктора или женой профессора на светских мероприятиях, где она

выглядела божественно в своих плиссированных вечерних платьях от «Мадам Грэ».

– Никто не может сравниться с французскими портнихами, – хвасталась она своим поклонникам.

Папе нравилось видеть ее такой: счастливой, чувственной, элегантной. Дар выглядеть загадочно, который взращивали в себе многие кинозвезды, казалось, был у нее врожденным.

Каждый, кто видел ее впервые, не мог успокоиться до тех пор, пока его не представляли божественной Альме Штраус. Она была идеальной хозяйкой. Мама могла со знанием эксперта говорить об опере, литературе, истории, религии и политике, никого не обижая. Она идеально дополняла отца, который, будучи погруженным в собственные мысли, временами приводил людей в недоумение разговорами о сложных научных теориях.

Отец изменился. Его опустошили страдания и беспокойство, которые он испытывал из-за поисков страны, которая могла бы нас принять. Этот непобедимый человек стал еще более хрупким, чем лист с самого старого дерева в Тиргартене, который подарил мне Лео и который я хранила в своем дневнике. У папы каждый день появлялась новая жалоба.

– Я теряю зрение, – сказал он нам однажды утром.

Я наблюдала, как он постепенно умирает. Я понимала это и была готова.

Я буду сиротой, потерявшей отца, и мне придется ухаживать за подавленной матерью, которая не переставала оплакивать дни своей былой славы.

Я понятия не имела, как победить инертность, в которую мы все трое впадали, когда встречались дома. У нас ничего не получалось. Я не могла предсказать, по какому пути мы пойдем, но чувствовала, что нас ожидает сюрприз. А я терпеть не могла сюрпризы.

Пришло время принять решение. Не имело значения, совершим мы ошибку или окажемся не в том месте. Нам нужно было что-то сделать.

Даже если это значило, что нужно ехать на Мадагаскар или на К-у-б-у, о которой говорил Лео.

А я все думала: «Где же находится К-у-б-а?»

Анна

Нью-Йорк, 2014

Мама сказала, что моя двоюродная бабушка – одна из выживших, как и мистер Левин. Должно быть, она вся в морщинах и пятнах, с редкими белыми волосами, сгорбленная и одеревеневшая. Наверное, она не может ходить, или опирается на палочку, или сидит в инвалидном кресле. Но у нее достаточно острый ум, и ее отличает особенное чувство юмора и мягкость с нотками горечи, что и покорило маму.

После разговора с бабушкой она пришла в удивление. Мама сказала, что она говорит очень четко, медленно и осторожно, и из-за голоса создается впечатление, что она моложе, чем есть самом деле. Она без проблем переходит с английского на испанский. Мама уверена, что мы увидим отнюдь не дряхлую старуху.

– Она такая спокойная и безмятежная, – заметила мама, будто размышляя вслух. – Она не грустит, Анна. Она смирилась со своим положением, но хочет познакомиться с тобой. Сказала, что ей это необходимо.

Для меня Куба – пустой звук. Когда мне из своей комнаты было слышно, как мама болтает с мистером Левином о нашей поездке, они то и дело говорили о стране, где всего в обрешетку. Но я представляла себе необитаемый остров, утопающий в бушующих волнах, на который обрушиваются ураганы и тропические шторма. Крошечная точка посреди моря, где нет ни зданий, ни улиц, ни больниц, ни школ. Ничего – или, точнее, пустота. Я не знаю, как отец мог учиться там. Возможно, именно поэтому он оказался на Манхэттене, настоящем острове в шаге от суши.

Семья отца прибыла на Кубу на корабле, там они и остались. Но он вырос и уехал, как почти все, кто родился на Кубе.

– Нужно уезжать с островов, – всегда говорил он маме. – Именно об этом думаешь, когда единственная граница – это бескрайнее море.

Папа был застенчив. Он не умел танцевать, он не пил и никогда не курил. Мама шутила, что единственное, что в нем напоминает о Кубе, – это его старый паспорт. И испанский язык. У него было совсем не

жесткое произношение, он выговаривал «с» и не проглатывал согласные.

Английский был его вторым языком, на котором он говорил свободно и без акцента благодаря тете, которая воспитывала его после смерти родителей. Он получил американское гражданство благодаря своему отцу, который родился в Нью-Йорке. Это было все, что маме удалось узнать за несколько лет их брака. И она уточнила все у двоюродной бабушки во время телефонного разговора, который то и дело обрывался.

Время от времени какой-нибудь фильм напоминал ей о человеке, с которым она решила создать семью, о которой он так и не узнал. Именно благодаря ему мама открыла для себя послевоенное итальянское кино. Папа был очарован Висконти, Антониони, Де Сика. Но ему также нравилась Мадонна. В этом состояло противоречие его натуры. Когда они начали встречаться, одно из первых их свиданий прошло в кинотеатре «Фильм Форум» в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене, где они смотрели оригинальную версию фильма Де Сика «Сад Финци-Контини», одного из папиных любимых фильмов. Папа всегда выходил из кинотеатра под впечатлением.

– Я увидела, как блестят его глаза, и он сказал, что я похожа на героиню в фильме, – вспоминала мама. – Со стороны человека, который очень мало говорил, это были очень романтические слова, и я подумала: *«Я могу жить с этим человеком»*. Твой отец никогда не показывал своих эмоций, но в кино он всегда плакал.

Отец находил убежище в своей работе, книгах и темных кинотеатрах, где истории рассказывались с помощью движущихся изображений. У него не было друзей. Я представляла его супергероем, который пришел спасти угнетенных и тех, у кого ничего нет. Мама смеялась над моими дикими фантазиями. Но она никогда не критиковала их, потому что знала, что для меня он все еще жив.

Мама осталась совсем одна. Она была единственным ребенком, а ее родители умерли один за другим, когда она уже заканчивала колледж. Потом появился папа. Они познакомились на концерте барочной музыки в Колумбийском университете, где она вела занятия по латиноамериканской литературе.

В тот день, когда она объявила, что выходит замуж, никто из ее друзей не спросил, был ли папа латиноамериканцем, евреем или просто

иностранцем, который находился в стране проездом. Его происхождение не имело значения: он хорошо говорил по-английски, и этого было достаточно. У него была работа в Центре ядерных исследований, а также хорошая квартира, которую он унаследовал от семьи.

Отец работал за городом, но у него был офис в центре, куда он ездил каждый вторник. Это были единственные дни, когда он приходил домой позже, но мама никогда не расспрашивала его об этом. Мой отец не был человеком, который мог дать повод в нем сомневаться или ревновать его. Не потому, что он не был красив, а потому, что он не любил осложнений или чего-то, что могло бы угрожать его личному пространству, которое уже было четко определено.

Она никогда не знакомила его со своими друзьями по факультету, и поэтому не было необходимости ничего никому объяснять. Все, что она знала об отце, это то, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда он был маленьким мальчиком, и что его воспитывала тетя. Этого было достаточно. Он никогда не говорил о своем прошлом.

– Лучше забыть, – говорил он ей.

Я зашла в мамину комнату. Она стояла на коленях перед комодом и рылась в бумагах и книгах. Мама достала старую коробку из-под обуви, и я увидела пару запонок, мужские солнцезащитные очки и несколько конвертов.

Когда мама услышала, что я зашла в комнату, она обернулась и подарила мне свою лучшую улыбку.

– Кое-что из вещей твоего отца, – сказала она, закрывая коробку и протягивая ее мне.

Я побежала назад на свой остров с новым сокровищем и закрылась в комнате, чтобы рассмотреть его.

– Посмотри, сколько у меня сокровищ. Я уверена, что ты их помнишь, – шептала я отцу, чтобы мама не услышала. – Здесь документы, банковские выписки, но ни одной фотографии. Я рассчитывала найти еще одну твою фотографию. Я буду хранить твои запонки и очки у себя в тумбочке.

На дне коробки я нашла синий конверт. Я осторожно открыла его: внутри – маленький листок бумаги того же цвета. Это папин почерк: письмо без даты адресовано маме. Внезапно мне пришло на ум, что я должна сказать ей о нем прежде, чем прочту его, но потом я придумала.

Она отдала мне то, что хранила двенадцать лет, так что теперь все это мое.

Я тут же почувствовала, что проголодалась: так всегда бывает, когда я нервничаю. Но мне нужно успокоиться, потому что я собираюсь прочитать одно из твоих писем. Я не хочу узнавать никаких секретов; на Кубе нас ждет более чем достаточно тайн. Я прочитаю его для тебя, папа. Чтобы ты помнил о маме, которая никогда не забывает о тебе, несмотря на то что прошло столько лет.

Ида, любовь моя.

Сегодня пятая годовщина нашей совместной жизни, но я как сейчас помню тот миг, когда я впервые увидел тебя на задних рядах на том осеннем концерте в часовне Святого Павла в университете.

Ты говорила по-испански со своими студентами, а я не мог оторвать от тебя взгляда. Ты заслушалась музыкой. И у меня перед глазами стоит твой образ: я вижу, как ты убираешь волосы за уши, люблюсь твоим прекрасным профилем. Я мог бы проследить его своими пальцами, от твоего лба до бровей, носа, губ, щек.

Ты все еще помнишь тот концерт, музыку, оркестр. А я помню только тебя.

Я никогда не говорю тебе, что люблю тебя, что ты лучшее, что есть в моей жизни. Что мне нравится молчать, быть рядом с тобой, смотреть, как ты спишь, просыпаешься, завтракать с тобой в выходные на рассвете. Говорил ли я тебе когда-нибудь, что время по утрам, которое мы проводим вместе, пусть даже мы не произносим ни слова, мое любимое, потому что ты рядом со мной?

Ты появилась в моей жизни, когда я уже смирился с тем, что никто не примет моего одиночества. Однажды мы должны отправиться путешествовать по миру, затеряться среди людей. Только ты и я. Обещаешь?

Ида, любовь моя, я всегда буду рядом с тобой.

Луи

Ханна

Берлин, 1939

Бывало, по утрам я просыпалась с ощущением, что не могу дышать. В такие дни я чувствовала, что трагедия все ближе, и мое сердце начинало бешено биться. Затем очень быстро и внезапно оно, казалось, совсем останавливалось. Жива ли я еще? Одним из таких дней был вторник. Я ненавидела вторники. Их следовало вычеркнуть из календаря. Как только мы с Лео приедем на Кубу, то сразу же объявим: «Больше никаких вторников!»

Когда я проснулась, меня лихорадило, но у меня не было ни простуды, ни болей. Папа, завязав галстук виндзорским узлом и уже держа в руках свою серую фетровую шляпу, измерил мне температуру. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб:

– С тобой все в порядке. Давай поднимайся.

Он побыл со мной некоторое время, еще раз поцеловал меня, а затем оставил меня в моей комнате. Звук хлопнувшей входной двери испугал меня. Теперь в квартире остались только мама и я. Брошенные.

Я знала, что у меня нет температуры и что я не больна, но мое тело отказывалось подниматься. У меня даже пропало всякое желание выходить на улицу и встречаться с Лео, чтобы фотографировать. У меня было предчувствие, но я не могла сказать, чего именно.

В тот день мама нанесла легкий макияж, но без накладных ресниц.

Она оделась в темно-синее платье с длинными рукавами, которое придавало ей немного официальный вид. Я надела коричневый берет, который она привезла мне из своей последней поездки в Вену, и закрылась в своей комнате с атласом, надеясь найти наш крошечный остров, который все никак не обнаруживался.

Мы вот-вот должны были куда-то уехать. Папа не мог и дальше держать в секрете наш конечный пункт назначения. Я была готова принять все что угодно.

С нами больше ничего не могло случиться: мы жили в состоянии ужаса, пока еще не объявленной войны; я не думала, что может быть что-то хуже этого.

Лео сказал, что папа даже купил дом на Кубе.

– Если мы не собираемся оставаться там надолго, зачем нам дом? – спросила я его.

Как всегда, у Лео был ответ:

– Это самый простой способ получить разрешение на въезд. Наличие дома показывает, что ты не будешь обузой для государства.

Я не знала, куда папа ходил каждое утро; ему запретили работать в университете. Должно быть, он ходил в консульства стран со странными названиями, чтобы получить для нас визы, документы беженцев. Или он общался с отцом Лео, вынашивая какой-то план, который мог стоить им жизни.

Я представляла папу героем, идущим нас спасать. На нем была солдатская форма, а на груди – множество медалей, как у дедушки, который победил врагов немецкого народа. Мне виделось, как он противостоит ограм, которые были бессильны перед его мощью и сдавались, покоренные его доблестью.

Я уже начала путаться в этих тревожных мыслях, когда мама поставила пластинку в граммофон.

Это было сокровище отца, его самая драгоценная жемчужина. Его пространство.

Однажды, когда папа укладывал грампластинку в полированную деревянную коробку, он объяснил принцип работы этого чуда, из-за которого он часами пребывал в неопишемом восторге.

Это был настоящий фокус. Граммофон «Ар-си-эй Виктор», который он называл просто «Виктором», как близкого друга, имел подвижный рычаг, заканчивающийся металлической иглой, которая, не сбиваясь, плыла по бороздкам черного диска, все вращавшегося и вращавшегося, пока у меня не закружилась голова от одного взгляда на него. Звуковые волны превращались в механические колебания и выходили из огромного колокола – прекрасного золотого динамика в форме трубы. Вначале слышалось жужжание, что-то вроде металлического вздоха, который длился до тех пор, пока не начинала литься музыка. Мы закрывали глаза и представляли, что находимся на концерте в оперном театре. Музыка лилась из трубы, вся комната дрожала, и мы позволили ей захватить нас. Мы поднялись в воздух – невероятное ощущение для меня.

Затем я услышала слова маминой любимой арии: «Мое сердце открывается при звуках твоего голоса, как цветы раскрываются под

поцелуями рассвета!»

Так что мне не о чем было беспокоиться. Мама была очарована музыкой французского композитора Камиля Сен-Санса, одной из тех пластинок, за которыми папа тщательно ухаживал и чистил их перед тем и после того, как ставить в граммофон. Это была недавняя запись, с его любимой меццо-сопрано Гертрудой Польшон-Веттергрэн. Однажды он поехал в Париж с мамой, чтобы послушать ее. По маминому лицу я поняла, что она погрузилась в воспоминания. Теперь вчерашний день был для нее чем-то далеким. Я же, в свою очередь, слушая сильнейшую женскую арию, представляла, как я бегу по лугам с Лео, взбираюсь с ним на горы и переправляюсь через реки на острове, где мы будем жить.

Наверняка ничего плохого не случится. Папа придет домой к ужину. Я пойду на встречу с Лео, и мы найдем в атласе затерянный остров посреди неизвестного океана.

Я знала, что мне нужно взять с собой в чемодан. Фотоаппарат и, конечно, бесчисленные рулоны пленки. И только пару платьев, больше мне ничего не нужно. Я бы с удовольствием взглянула на мамин багаж. Она была бы счастлива, если бы ей разрешили взять драгоценности. Духи. Кремы. Нам бы понадобилась машина, чтобы увезти весь ее багаж.

Вдруг к нам в квартиру два раза громко постучали. Никто не навещал нас уже несколько месяцев. А у Евы был ключ от служебного входа.

Мы с мамой воззрились друг на друга. Музыка все играла. Мы обе знали, что момент настал, хотя никто меня к этому не подготовил. Я посмотрела на маму в поисках ответа, но она медлила; она не знала, что делать.

Она встала со своего глубокого кресла и подняла подвижный рычаг «Виктора». Пластинка перестала вращаться, и тишина заполнила гостиную, которая теперь казалась огромной, как замок. Я чувствовала себя насекомым в дверном проеме.

Последовали еще два громких стука. Мама вздрогнула. Ее губы задрожали, но она стояла выпрямившись, подняв подбородок и вытянув шею. Мама медленно пошла к двери – так медленно, что успело раздаться не два, а целых четыре громких стука, от которых комната задрожала.

Мама открыла дверь, сделала книксен и жестом руки пригласила их войти, не спрашивая, кого они ищут и что им нужно. Четверо огров один за другим вошли в гостиную, впустив с собой порыв холодного воздуха. Я вся дрожала. Ледяной сквозняк пробирал меня до костей.

Главный огр дошел до центра комнаты и остановился на толстом персидском ковре. Мама отошла в сторону, чтобы не загораживать обзор этому человеку, который пришел, чтобы навсегда изменить нашу жизнь.

– Вы хорошо живете, не так ли? – произнес он, не потрудившись скрыть зависть. Огр принялся внимательно осматривать комнату: портьеры с медным отливом, занавески из шелкового тюля, пропускающие свет из окна во двор, внушительный диван с желто-красными подушками, портрет мамы, написанный маслом, на котором она была изображена с той самой несовершенной жемчужиной на шее и открытыми плечами.

Огр осматривал каждый предмет со скрупулезностью беспощадного аукциониста. По его глазам было видно, какие вещи понравились ему больше всего и какие он планировал оставить себе.

В нашей гостиной запахло порохом, горелым деревом, разбитыми окнами и пеплом.

Я встала между мамой и ограми, заслонив ее от них как щитом. Когда она положила руки мне на плечи, я почувствовала, как она дрожит.

– Ты, должно быть, Ханна, – проговорил главный огр со светским берлинским акцентом. – Немецкая девушка. Ты почти идеальна.

Он произнес слово «*почти*» с такой неприязнью, будто дал мне пощечину.

– Насколько я вижу, герра Розенталя нет дома.

Когда он произнес имя папы, я подумала, что мое сердце разорвется. Я глубоко дышала, пытаюсь унять его бешеный ритм, чтобы они не услышали, как громко у меня пульсирует кровь. Я покрылась потом. На мамином лице застыла улыбка. А у меня онемели плечи от ее холодных рук.

Мне нужно было что-то придумать, чтобы сбежать из комнаты, от мамы и огров. Я стала разглядывать парчу на шелковых обоях. И на них тонкие пластины бесконечных листьев папоротника, заканчивающиеся букетиками цветов. *Давай, Ханна, иди туда, куда ведут твои корни, и*

не думай о том, что произойдет, – повторяла я себе снова и снова. Один, два, три листа на каждом стебле.

Капля пота медленно покатила по моему виску, и я больше не могла сосредоточиться. Я не осмелилась стереть ее, и она стекла мне на лицо.

Я почувствовала, что мама вот-вот сорвется. *Пожалуйста, мама, не плачь. Не дай им увидеть, в каком мы отчаянии. Не гаси эту прекрасную, холодную улыбку. Дрожи, сколько хочешь, но не плачь. Они пришли за папой, и мы знали, что этот час настанет. Пришло время нам услышать стук в дверь.*

Главный огр подошел к окну, чтобы проверить, на какую сторону улицы выходят окна в нашей гостиной, а также, вероятно, подсчитать, сколько стоит наша квартира. Затем он подошел к граммофону. Он поднял хрупкую папину пластинку, осмотрел ее и посмотрел прямо на маму.

– Ключевое произведение для любого меццо-сопрано.

Я почувствовала, что мама собирается предложить им чай или какой-нибудь другой напиток, и напряглась, пытаюсь передать ей, чтобы она этого не делала. *Оставайся такой, как есть, гордой, с прямой спиной. Я буду защищать тебя. Опирайся на меня; не дай себе сорваться и не предлагай ограм ничего.*

Этот человек медленно обошел комнату, и по мере его продвижения вокруг него расширился поток ледяного воздуха. Я все дрожала. Мне нужно было бежать в ванную.

Огр подал знак двум своим людям обыскать другие комнаты.

Возможно, они хотели украсть наши драгоценности. Найти их было бы нетрудно: они лежали в шкатулке с одинокой балериной на крышке, вместе с часами «Патек Филипп», которые папа надевал только по особым случаям. Вероятно, они искали деньги, которые мама хранила в одном из ящиков прикроватной тумбочки. Там лежали все наши наличные деньги, кроме тех, что она отдала Еве на всякий случай. Остальные средства лежали на банковских счетах в Швейцарии и Канаде.

Огр вернулся к граммофону.

Он поднял руку с иглой и внимательно осмотрел ее. Если бы он его сломал или если бы что-нибудь случилось с граммофоном, отец мог бы убить его. Этого он никогда не простит.

– Герр Розенталь вот-вот приедет, – сказала мама, и я изумилась, как она могла сказать им это, если знала, что они приехали, чтобы забрать его.

Внезапно мне стало ясно, что им не нужны ни деньги, ни драгоценности, ни картины, ни даже жалкий папин патефон. Им нужны были шесть квартир в нашем доме. Сначала они хотели напугать нас, а затем отобрать их у нас. Несомненно, главный огр переедет, будет спать в главной спальне, займет папин кабинет и уничтожит все наши фотографии.

Молчание.

Огр устроился в папином бархатном кресле и начал поглаживать его, словно проверяя качество ткани. Он не спеша поглаживал ручку кресла, тем временем пристально глядя на меня, таким образом безмолвно давая мне понять, что он готов ждать папу столько, сколько потребуется. Удобно устроившись, он принялся изучать фотографии семьи Штраус, развешанные на стенах по всей комнате.

До этого момента я не слышала, как скрипит лестница, ведущая в нашу квартиру. Но теперь скрип звучал так же громко, как церковные колокола. Момент настал.

Молчание.

Главный огр тоже услышал шаги и сидел неподвижно, наострив уши. С того места, где он сидел, ему была видна вся комната.

Еще один шаг, и я поняла, что папа за дверью. Мое сердце готово было разорваться. Мамино дыхание участилось; только мне было слышно, как она тихонько застонала позади меня.

Я хотела крикнуть: «Не входи, папа! Огры здесь! Один из них сидит в твоём любимом кресле!» Но я поняла, что это бессмысленно. Нам некуда было бежать. Берлин стал их карманным носовым платком; рано или поздно его обязательно поймают. А мама вот-вот упадет в обморок.

Огр и его свита заняли позицию за дверью. Я слышала, как ключ скребется в замке; он всегда немного заедал.

Молчание, все тянущееся и тянущееся.

Задержка обеспокоила главного огра, который обменялся взглядом со своими людьми. Каждая секунда казалась мне часом: я даже обнаружила, что мне хочется, чтобы они забрали его раз и навсегда, чтобы он исчез вместе с ними. Еще несколько таких минут, и я сама

упаду в обморок. Мне хотелось пойти в ванную, я не могла больше сдерживаться. Я не хотела наблюдать то унижительное зрелище, которое огр тщательно для нас приготовил, чтобы мы умоляли его и безутешно плакали. Мама не двигалась.

Дверь открылась.

И вошел самый сильный, самый элегантный мужчина в мире. Тот самый, который укладывал меня спать и целовал, когда мне было страшно. Тот, кто обнимал меня, прижимал к себе и клялся, что ничего не случится, что мы уедем далеко-далеко, на остров, до которого даже щупальца огров никогда не смогут добраться.

По выражению лица папы было видно, как ему жаль нас. Казалось, он спрашивал себя, как он мог поставить нас в такое положение. Мы уже пережили нечто подобное в ту ноябрьскую ночь, когда его арестовали. Но этот момент был решающим. Теперь назад дороги не было, и он знал это. Пришло время ему попрощаться с женщиной, которую он любил, с дочерью, которую он обожал.

– Герр Розенталь, мне нужно, чтобы вы сопроводили нас на станцию.

Папа кивнул, не глядя огру в лицо.

Он сделал несколько шагов ко мне, стараясь не смотреть на маму, потому что знал, что это подкосит ее. Я была тем человеком, кто мог сопротивляться, кто в конце концов останется без отца и защитит ее от призраков, ведьм и монстров. Но не от огров. Никто не мог защитить нас от них.

Он обнял меня и взял мои ледяные руки в свои. Я почувствовала, насколько теплыми они были. *Дай мне немного своего тепла, папа. Прогони этот ужас из моих костей.* Я обняла его изо всех сил. И расплакалась. Именно наши страдания и хотели увидеть огры.

– Моя Ханна, что мы сделали с тобой... – прошептал он срывающимся голосом.

Я крепко зажмурила глаза. Меня разлучали с человеком, который до сегодняшнего дня защищал меня; с тем, на кого мы возлагали всю надежду на наше спасение. Они забирали его. Мама обняла меня и притянула к себе. Я поняла, что с этого момента самый слабый человек в семье будет моей единственной опорой. Несмотря на слезы, я все еще крепко жмурилась.

– Не волнуйся, Ханна, – услышала я слова отца. Он все еще был здесь. Еще секунду. Еще минуту, пожалуйста. – Все будет хорошо, моя девочка.

Разве они не забрали его? Разве они не передумали?

– Посмотри в окно, – сказал папа. – Тюльпаны вот-вот расцветут.

Это были последние слова, которые я услышала. Когда я снова открыла глаза, он уже исчез вместе с огром. Весь дом слышал мои рыдания. Я крикнула из окна:

– Папа!

Никто меня не услышал. Никто не видел меня. Никому не было до меня дела.

Позади меня раздался шёпот. Это была мама.

– Куда вы его ведете? – спросила она дрожащим голосом.

– Это обычная процедура, – услышала я голос одного из огров, стоявшего на пороге. – Мы едем в полицейский участок на Грольманштрассе. Не волнуйтесь, все с вашим мужем будет в порядке.

Да, конечно. Они отправят его назад целого и невредимого. И он вернется и расскажет нам, что с ним обращались как с настоящим джентльменом. Что вместо воды ему подали вино в большой, теплой, хорошо освещенной камере. Но я знала, что произойдет на самом деле: он будет спать в переполненной камере и будет голодать. И если нам повезет, мы изредка сможем узнавать новости о его жалком существовании.

С того дня, как арестовали герра Шмуэля, мясника из нашего района, мы ничего о нем не слышали. Не было никакой разницы между ним и моим отцом. Для них мы все одинаковы, и я была убеждена: никто не вернулся из этого ада.

Я должна была вцепиться в него, пока он не оттащил бы меня, и запечатлеть в памяти тот момент, который не могу больше вспомнить, потому что я была склонна вычеркивать печальные события из памяти.

Мама бросилась в свою спальню и закрыла дверь. В испуге я вбежала за ней и увидела, как она открывает ящики, достает документы и торопливо их просматривает.

– Мне нужно идти, – пробормотала она. – Увидимся позже.

Я не верила своим ушам. *Куда ты идешь, мама? Мы ничего не можем поделать. Мы потеряли папу!* Но это было бесполезно: с силой семьи Штраус, которую она до сих пор подавляла, мама выскочила на

улицу после нескольких месяцев затворничества. Она захлопнула входную дверь и исчезла, не заботясь о макияже, о том, подходят ли туфли к сумочке, выглажено ли платье и надушилась ли она подходящими весенними духами.

Я снова закрыла глаза и сказала себе: ты не должна забывать об этом. Я начала перечислять все, что я должна была запечатлеть в памяти: парчовые обои, свет в прихожей, бархатное кресло, аромат маминых духов.

И все же самое важное ускользало от меня: папино лицо.

Я была совсем одна. В одно мгновение я поняла, каково это – быть без родителей. И я также знала, что это не в последний раз.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Тетя Ханна потеряла племянника, своего единственного потомка, свою последнюю надежду.

А я потеряла отца.

До пятилетнего возраста я еще надеялась, что папа однажды придет без предупреждения, просто так. Каждый раз, когда в дверь звонили, я бежала посмотреть, кто пришел.

– Ты как маленькая собачка, – ругала меня мама.

От отца осталась огромная карта мира, которую я повесила на стену над своей кроватью. Я представляла, как папа путешествует по экзотическим странам на реактивных самолетах, атомных подводных лодках и цепелинах. Я видела, как он взбирается на Эверест, купается в Мертвом море, выбирается из-под снежной лавины на Килиманджаро, переплывает Суэцкий канал, покоряет Ниагарский водопад на каноэ. Мой отец был воображаемым путешественником, который однажды приедет за мной и заберет меня с собой в неизведанные места. Это будет большое приключение.

Так продолжалось вплоть до одного пасмурного сентябрьского дня: пятой годовщины того рокового вечера, когда отец исчез. У меня в школе была организована торжественная церемония, и в актовом зале, заполненном детьми, кто-то зачитал список пропавших без вести. Папино имя было последним в списке. Я сидела там как статуя, не зная, как реагировать. Одноклассники по очереди начали обнимать меня.

– Анна потеряла отца, – торжественно объявила учительница, когда мы вернулись в класс.

– Те, кто пережил тот день, никогда не забудут, что делали утром, – начала говорить учительница. Она постоянно прерывалась и смотрела на нас, чтобы убедиться, что мы внимательно ее слушаем.

– В то утро я была у себя в классе, когда меня вызвали к Джорджу в кабинет. Занятия были внезапно приостановлены, а дети отправлены домой. Общественный транспорт не ходил, мосты на Манхэттене были закрыты. Меня забрала из школы подруга, и я провела ночь в ее доме в Ривердейле. Это были такие тревожные дни. – Глаза учительницы наполнились слезами. Она вытщила из кармана носовой платок и

продолжила: – Многие люди в нашей школе потеряли семью, друзей или кого-то из знакомых. Они не скоро смогли прийти в себя.

Я старалась сидеть спокойно, хотя была совершенно потрясена.

Когда я ехала домой на автобусе, я села одна на заднем ряду и тихо заплакала. Дети передо мной кричали, бросали карандашами и резиновыми ластиками друг в друга. Постепенно я поняла, что с этого момента остальные будут считать меня бедной маленькой девочкой, которая потеряла своего отца в один из сентябрьских дней.

Мама ждала меня у подъезда. Я вышла из автобуса, не попрощавшись с водителем, и пошла к лифту, даже не взглянув на нее. Когда мы дошли до нашей квартиры, я встретила с ней взглядом:

– Папа умер пять лет назад. Учительница сказала об этом на уроке.

Услышав слово «умер», мама вскинулась, но тут же оправилась, как бы показывая, что новость не так уж сильно на нее повлияла.

Я пошла в свою комнату; я понятия не имела, что сделала мама. У нее не было сил; вероятно, ей даже не хотелось ничего мне объяснить. Ее траур закончился, а мой только начинался.

Позже я зашла в ее сумеречную комнату и увидела ее там, все еще в одежде и туфлях, свернувшуюся калачиком, как ребенок. Я дала ей немного отдохнуть. Я поняла, что с этого момента мы будем говорить о папе в прошедшем времени. Я стала сиротой. А она была вдовой.

Он стал сниться мне по-другому. Мне казалось, что он каким-то образом так и остался на далеком острове. Но мама впервые подумала о нем как об умершем.

* * *

Каждый сентябрь я по привычке думаю о том, как одним солнечным утром папа ушел из квартиры и так и не вернулся. Как и я.

В тот день, когда мне было всего четыре с половиной года и я узнала подробности об исчезновении отца, я повзрослела. Я уединилась в своей комнате с его фотографией. До этого были парки и деревья, люди, продающие фрукты и цветы на углах улиц Бродвея. Раньше мы ходили за мороженым весной, летом и даже зимой. Мама обещала научить меня кататься на велосипеде в Центральном парке. Но она так и не выполнила обещание.

Зарывшись головой в подушку, мама рассказывала мне уставшим, монотонным голосом о том, что случилось в тот ужасный день, перечисляя пугающие меня детали. Каждый сентябрь ее голос снова звучит у меня в голове, как молитва, повторяемая без изменений.

Когда в шесть тридцать утра прозвенел будильник, отец уже лежал с широко открытыми глазами. Он перевернулся, чтобы убедиться, что мама спит, хотя на самом деле она притворялась. Она плохо чувствовала себя ночью: у нее болела голова, и она часто отлучалась в ванную.

Несколько секунд он молча сидел на краю кровати. Он взял свой темно-синий костюм в ванную, чтобы тихо одеться. Он принял душ, торопливо побрился, и как раз когда он заканчивал застегивать рубашку, он заметил каплю крови рядом с белым воротничком и прижал указательный палец к крошечному порезу. Затем отец проверил почту – он оставил письма, как обычно сваленные горкой, и, как уверяла мама, взял с собой два конверта: один с работы, а другой – от трастового фонда. Он посмотрел, что мама еще в постели, и очень осторожно закрыл за собой дверь.

Она планировала сообщить ему хорошие новости тем же вечером. Она ждала три месяца, потому что хотела быть уверенной, что это не ложная тревога. Моя мама не любит преждевременных торжеств. Она могла бы сказать ему об этом каким-нибудь ранним утром, когда ее мучила тошнота первых трех месяцев беременности. Накануне врач подтвердил, что ее срок составляет двенадцать недель. Все признаки были налицо.

Мама купила его любимое красное вино. Она собиралась сказать ему за ужином: «В следующем году все изменится. Мы станем родителями. Она хотела найти идеальный момент, чтобы удивить его.

Отец понятия не имел, что она задумала. Тот сентябрьский день ничем не отличался от других.

Слегка прохладный, но солнечный, с обычными пробками в час пик. Мама выглянула из окна и увидела, как он открыл входную дверь, остановился на верхней ступеньке, чтобы сделать глубокий вдох. В воздухе все еще витали ароматы лета. На пересечении 116-й улицы и Морнингсайд-драйв он посмотрел на восток, на утреннее солнце и все еще покрытые листьями деревья парка. Было семь тридцать. В это время управляющий всегда выводил свою собаку на прогулку. Отец

поздоровался с ним и повернул на 116-ю улицу, направляясь на запад. Он прошел через кампус Колумбийского университета и сел на поезд № 1 на Бродвее. Мама прекрасно знала его распорядок дня: всего лишь очередной вторник.

Доехав до станции Чамберс-стрит, он направился в салон Джона Аллана на Тринити-Плейс на ежемесячную стрижку. Когда отец начал ездить в деловой район на Манхэттене, он стал членом мужского клуба. Там он чувствовал себя непринужденно. В клубе царила атмосфера уединения, которой он наслаждался. За черным кофе (без сахара) он просматривал заголовки газет «Уолл-стрит джорнэл», «Нью-Йорк таймс» и ежедневную аргентинскую газету «Ла Пренса».

Отец так и не постригся. Он так и не дошел до своего кабинета. Это совершенно ясно. Теперь я задаюсь вопросом, куда же он пошел, когда в 8:46 утра услышал первый взрыв. Он мог остаться на месте, как и остальные, те, кого пощадили. Выждать всего несколько минут, и мамин заунывный рассказ был бы совсем другим. Всего несколько минут.

Может быть, он побежал посмотреть, что происходит, может быть, спасти кого-то. Второй взрыв прогремел в 9:03. Все, наверное, были в полном недоумении. Телефоны отключились. Затем на тротуар начали падать груды тел. В 9:58 рухнул один из небоскребов. В 10:28 за ним последовал другой.

Густое облако пыли накрыло оконечность острова. Было невозможно дышать и открыть глаза. Раздался оглушительный вой пожарных и полицейских машин. Я представляю, как внезапно день превратился в ночь. Мужчины и женщины бежали в поисках света, борясь с огнем, ужасом и страданиями. На север, они должны были бежать на север.

Я закрываю глаза, и мне хочется видеть отца, несущего раненого человека в безопасное место. Затем он возвращается на нулевую отметку и присоединяется к спасательной операции пожарных и полиции. Мне нравится думать, что папа в безопасности, что он сбился с пути и не знает, куда идти. Может быть, он просто забыл свой адрес и как добраться домой. Проходил очередной сентябрь, а я все росла без него, и шансы на то, что он вернется, становились все меньше и меньше.

Должно быть, он оказался в ловушке под обломками. Здания превратились в осколки стали, груды разбитого стекла и кусков цемента.

Город был парализован. В точности как и мама.

* * *

Она ждала два дня, прежде чем сообщить о пропаже отца. Я не представляю, как она могла спать той ночью, встать и пойти на работу на следующий день, а затем вернуться в постель, как будто ничего не произошло. Не теряя надежды на то, что папа вернется. Вот такой она была.

Она не могла связать его с той ужасной трагедией; она отказывалась признать, что он был похоронен среди обломков. Так она защищалась, чтобы не дать себе развалиться на части. И чтобы не дать мне угаснуть внутри ее.

Она стала еще одним призраком в замершем городе. Закрытые рестораны, пустые рынки, оборванные железнодорожные линии, искалеченные семьи. Почтовый код стерся. На углах улиц бесчисленные фотографии мужчин и женщин, которые в тот день ушли на работу, как и отец, и не вернулись. Фотографии висели везде: на подъездах зданий, в спортзалах, офисах, книжных магазинах – тысячи потерянных лиц. Каждое утро они множились, появлялись новые описания. Кроме папиного.

Мама не объезжала больницы, не ходила ни в морги, ни в полицейские участки. Она не была жертвой, тем более женой жертвы. Она не принимала соболезнования. Она также не отвечала на телефон, когда люди звонили, чтобы сообщить ей новости, которые она отказывалась слушать, или чтобы посочувствовать ей. Отец не был ни ранен, ни мертв. Она была уверена в этом.

Она хотела, чтобы прошло время и все уладилось. Она не могла исправить то, что не имело решения. Она не собиралась проливать ни одной слезы. В этом не было нужды.

Моя мать погрузилась в молчание. Это было ее лучшее убежище. Она не слышала ни шума транспорта, ни голосов вокруг. Вся фоновая музыка исчезла. Каждое утро она бродила по району, где воняло дымом

и расплавленным металлом, где все было заполнено пылью и обломками. На каждом уличном фонаре висело огромное количество фотографий. Иногда она останавливалась, чтобы посмотреть на них: лица казались ей странно знакомыми.

Она пыталась продолжать заниматься обычными делами. Ходила на рынок, покупала кофе, забирала лекарства из аптеки. Она ложилась спать, чувствуя запах дыма и обугленного металла, прилипшего к коже.

Мама ушла с работы и с тех пор не возвращалась. Сначала она попросила отпуск, но в итоге все закончилось увольнением без предварительного уведомления. Ей не нужно было работать. Папина квартира принадлежала его семье еще до войны, и мы жили на средства трастового фонда, созданного его дедом много лет назад.

Иногда я думаю, что уход от мира был для нее единственным способом справиться с болью. Не только от потери отца, но и от того, что она не сказала ему, что я появлюсь на свет. Что он станет отцом.

Ханна

Берлин, 1939

Я открыла окна в столовой, отдернула шторы и впустила утренний свет. Затем я сделала глубокий вдох. Не было никакого запаха дыма, металла или пыли. Когда я закрыла глаза, я почувствовала аромат жасмина. Я открыла глаза: чай был сервирован на обеденном столе, покрытом нежной кружевной скатертью. Стол стоял в углу, ближе к окну, чтобы мы могли насладиться лучами солнца. К чаю подали ванильное печенье, которое мы с моей подругой Гретель так любили. Мне нужна была шляпа. Ах да, и еще шарф. Верно, розовый шелковый шарф, чтобы принять Гретель и Дона, ее собаку. Когда мы закончим, я сбегу с ним вниз по лестнице.

Гретель открыла дверь и прошла через главную гостиную, но Дон вбежал первым; он метался вокруг стола как сумасшедший. Я попыталась погладить его и поймать за хвост, чтобы успокоить, но ничто не могло его остановить. Он был свободен.

Гретель болтала без умолку: Дон поздоровался, он учится петь; он будил ее каждое утро. Дон – абсолютно белый терьер, без единого темного пятнышка или метки, без единого изъяна, идеально пропорциональный, как и все собаки его расы. Он привилегированный пес: он даже побывал на вилле «Виола», где дрессируют чистокровных породистых собак. Дон учился вместе с самой известной собакой, немецкой овчаркой по кличке Блонди.

Гретель любила пить ледяную воду из бокала для шампанского, кокетливо прикрывая глаза и делая вид, что пузырьки вызывают у нее головокружение. Мне было очень весело с ней. Два раза в неделю она приходила к нам домой, чтобы выпить чаю и шампанское без пузырьков.

– Что ты там сидишь в темноте? – Мама приехала домой и положила конец моим мечтам: воспоминаниям о послеобеденном чае с Гретель.

Я пошла за мамой к ней в спальню и была ошеломлена ароматом 10 600 цветов жасмина и 336 болгарских роз. Мама объяснила, что все цветы пошли на создание духов, и нанесла пару капель на заднюю часть шеи и на запястья.

Когда я была маленькой, я часами сидела в этой комнате, самой большой и сладко пахнущей во всей квартире. Огромная люстра с длинными рожками, расходящимися во все стороны, напоминала гигантского паука. Испугавшись, я закрывалась в огромном гардеробе, где примеряла жемчужные ожерелья и расхаживала в бесчисленных шляпах и туфлях на высоких каблуках. Это было очень давно. Тогда, наблюдая за моими играми, мама смеялась, мазала меня ярко-красной помадой и называла меня «мой маленький клоун».

Времена изменились. Хотя ковры, за которыми никто больше не ухаживал, и батистовые простыни, которые больше никто не утюжил, и пыльные шелковые тюлевые занавески все еще были пропитаны ароматом жасмина, к нему теперь примешивался тошнотворный запах нафталина. Мама настаивала на сохранении прошлого, которое таяло на наших глазах, а мы беспомощно за этим наблюдали.

Я лежала на белом кружевном покрывале и смотрела на люстру, которая больше не пугала меня, и почувствовала, как мама вошла в комнату. Мама, не говоря ни слова, направилась в ванную. Она была измучена.

По ее лицу и движениям было видно, что эта хрупкая женщина, обычно принимавшая позы томной Греты Гарбо, каким-то образом добыла силу семьи Штраус из какого-то неведомого, дальнего места.

Она отреагировала на исчезновение папы так бурно, что это удивило даже ее саму. Это мне теперь было трудно выйти из нашей тюрьмы. Если я сегодня не встречу с Лео в кафе фрау Фалькенхорст, он может появиться у нас дома без предупреждения, рискуя столкнуться с грозной фрау Хофмайстер и глупой Гретель.

Без макияжа, с мокрыми волосами и розовыми от горячей воды щеками мама выглядела еще моложе. Она прошла через спальню и обернула вокруг головы маленькое белое полотенце, а затем закрыла шторы, чтобы в комнату не проник ни малейший солнечный луч.

Она все еще не произнесла ни слова. Я понятия не имела, узнала она что-нибудь о папе, какие шаги она предпринимает. Ничего.

Мама села за туалетный столик и начала свой ритуал наведения красоты. В зеркале она увидела, что я перешла в ее глубокое атласное кресло, которому было почти двести лет, и даже не спросила, вымыла ли я руки. Она больше не заботилась о том, чтобы никто не посадил пятна на ее заветную антикварную вещь, созданную кем-то по фамилии

Ависс. Она глубоко вздохнула и, рассматривая первые морщинки, сказала мне серьезно:

– Мы уезжаем, Ханна.

Мама избегала моего взгляда. Она говорила так тихо, что мне было трудно разобрать слова, хотя я чувствовала ее решимость. Это был приказ. Я не просчиталась, как и отец с Лео. Мы уезжали, вот и все.

– У нас есть разрешения и визы. Осталось только купить билеты на пароход.

А как же папа? Она знала, что он не вернется, но никак не могла его бросить.

– Когда мы уезжаем? – единственное, что я осмелилась спросить. Мамин ответ не слишком все прояснил:

– Скоро.

По крайней мере, это был не тот день и не следующий. У меня было время продумать план с Лео; он, должно быть, уже ждет меня.

– Завтра мы начнем собирать вещи. Мы должны решить, что мы берем с собой. – Она говорила так медленно, что я забеспокоилась. Мне нужно было выйти и встретиться с Лео, но она продолжала: – Мы никогда не вернемся сюда. Но мы выживем, Ханна. Я уверена в этом, – с силой говорила мама, расчесывая волосы со сдерживаемой злостью.

Мама выключила основной свет и оставила гореть только одну лампу над туалетным столиком. Мы сидели в полумраке. Ей больше нечего было сказать мне.

Я выскользнула из комнаты и побежала вниз по лестнице, даже не подумав о соседях, которые с таким нетерпением ждали нашего отъезда. Если бы они только знали, как нам не терпелось наконец-то выбраться из нашего абсурдного заточения.

Запыхавшись, я добралась до Хаккешер-Маркт и побежала в кафе. Лео наслаждался остатками горячего шоколада.

– Название пишется так: С-u-b-a, – сказал он, делая ударение на каждой букве. – Мы едем в Америку!

Лео встал, и я последовала за ним, хотя еще не успела перевести дух. Я запыхалась оттого, что долго бежала. Но Лео сказал: – Мы едем, и только это имело для меня значение. Не наш пункт назначения, а множественное число «мы». Я переспросила его, чтобы не было недопонимания.

– Мы едем в Америку. Твоя мама заплатила целое состояние за разрешения.

К тому времени у нас, видимо, совсем закончились деньги. Мы были уверены, что папа помог оплатить разрешения для Лео и его отца. Такая возможность появилась у многих людей в Берлине, и те, кто мог ею воспользоваться, должны были остаться целыми и невредимыми. Обе семьи, их и наша, оказались в числе счастливиц.

Самой лучшей новостью было то, что папа жив.

– Они хотят позволить ему уехать. – Слова Лео прозвучали так авторитетно, что я замолчала.

Папе повезло, не то что герру Шемуэлю, который так и не вернулся. Мы, Розентали, были персонами нон грата, но удача нам все же улыбнулась. Условия, которые нам выдвинули, заключались в том, чтобы мы передали жилой дом и все наше имущество, а затем, в течение нескольких месяцев, покинули страну. Как только мама сможет гарантировать передачу дома, они отпустят папу на свободу, и мы сможем получить для него визу и билеты на всех нас. Вот почему мы их еще не купили. Теперь мне стало понятно.

Мы должны были пойти послушать радио в вонючей подворотне огра; нам нужно было знать все последние постановления. Каждый день огры изобретали новые способы усложнить нам жизнь до невозможности. Они не просто не желали видеть нас в городе, они всеми силами пытались заставить всех остальных отречься от нас. Если нас изгнали со всех континентов, почему именно они должны нести это бремя? Идеальный ход: триумф высшей расы.

Вот только кое-кто уже принял нас. Правительство острова между двумя американскими континентами собиралось принять нас и позволить нам жить там, как любой другой семье. Мы будем работать, станем кубинцами, и именно там родились бы наши дети, внуки и правнуки.

– Мы уезжаем тринадцатого мая, – сказал Лео, шагая впереди. Я последовала за ним, ни о чем не спрашивая. – Мы отправимся из Гамбурга, взяв курс на Гавану.

Тринадцатое мая было субботой. Слава богу, что отъезд не был запланирован на вторник – день недели, которого мы боялись больше всего.

* * *

Грязный камень. Осколок закопченного стекла. Сухой лист. Это были единственные сувениры из Берлина, которые я спрятала в свой чемодан тринадцатого мая. Каждое утро я бесцельно бродила по квартире, сжимая в руках камень. Иногда я часами ждала маму. Каждый раз, когда она уходила, она обещала вернуться до полудня, но никогда не держала слова. Если бы с ней что-то случилось, мне пришлось бы пойти с Лео. Или, возможно, Ева могла бы сказать, что я ее дальняя родственница, и взять меня к себе. Никто бы не узнал, что я нечиста.

Я бы получила новые документы и жила бы у женщины, которая была с нами, когда я родилась, и занялась бы тем, что помогала бы ей по хозяйству в чужих домах.

Наконец были готовы документы на передачу нашего имущества: дома, квартиры, где я родилась, мебели, украшений, моих книг и кукол.

Маме удалось вывезти из Берлина свои самые ценные драгоценности благодаря одному другу, который работал в посольстве какой-то экзотической страны. Только документы на наш семейный склеп она наотрез отказалась отдавать. Но огры им не заинтересовались, потому что он находился на нашем кладбище в Вайсензее. Там покоились мои деды и прадеды, и именно там мы должны были упокоиться. Однако я не сомневалась, что они уничтожат это место так же, как они уничтожили многие другие.

В то время распространялись фальшивые документы для переселения в Палестину и Англию; каждый считал, что может воспользоваться нашим отчаянным положением, чтобы ограбить и обмануть нас. Иногда так поступали огры, но в других случаях это были жестокие доносчики. Никому нельзя было доверять.

Поэтому мама удостоверилась, что наши разрешения на въезд на Кубу в качестве беженцев были настоящими.

– Помимо ста пятидесяти американских долларов за каждое разрешение, я заплатила еще пятьсот в качестве залога. Это в качестве гарантии того, что мы не будем искать работу на острове и не станем обузой для страны, – объяснила она, повернувшись ко мне спиной.

Мы ехали на крошечный остров, площадь которого, впрочем, позволяла ему с гордостью именоваться самым крупным в Карибском бассейне. Этаким островок суши между Северной и Южной Америкой.

Но эта крошечная полоса была единственной страной, открывшей перед нами свои двери.

– Судя по атласу, это часть Западного мира, – объявила мама с некоторым удовлетворением.

Мы должны были отплыть из Гамбурга и пересечь Атлантический океан на немецком корабле. Но как бы нам ни хотелось туда отправиться, мы никак не могли почувствовать себя в полной безопасности на корабле с командой огров.

– Билеты в первый класс обойдутся нам примерно в восемьсот рейхсмарок, – продолжала мама, – и компания требует, чтобы мы купили обратные билеты, хотя они знают, что мы никогда не вернемся.

Все пользовались нами.

В тот день мама пришла рано, потому что папа должен был вернуться домой. Она надела черное платье, будто заранее облачившись в траур, и белый пояс, который не переставала поправлять. Умывшись, она нанесла очень легкий макияж. Она больше не пользовалась накладными ресницами, не подводила карандашом брови и не пользовалась тенями для век. Она стала совсем другой женщиной.

Сидя на краю стула со сложенными на коленях руками, она выглядела как непослушная ученица, которую наказывают в школе, куда она меня больше не отправляла, потому что меня там не принимали.

– Сохраняй спокойствие, – сказала она мне, видя, как я мечусь взад и вперед по огромной запыленной комнате.

Папа поднимался по лестнице. Мы слышали его. Вот он!

Мы уезжаем! У нас получилось! Папа, мы будем жить на клочке земли, где нет времен года, только лето. Где бывает только влажно или сухо. Я прочитала об этом в атласе.

Когда папа вошел, он показался мне еще выше, чем раньше. Его очки были перекручены, а волосы полностью сбриты. Воротник рубашки был настолько грязным, что невозможно было определить, какого он цвета. Но его исхудалый вид придавал ему еще больше благородства: несмотря на голод и зловоние, он держался прямо. Я подбежала к нему, обняла его, и он разрыдался. *Не плачь, папа. В тебе моя сила. Теперь ты здесь, с нами и в безопасности.*

Так я и стояла, крепко обнимая его и вдыхая запах его пота и канализации. Я слышала его прерывистое дыхание, чувствовала, как

вздывается его грудь. Отец поднял голову и посмотрел на маму.

Он поцеловал меня в лоб, как ребенка, а мама начала посвящать его в наши дела. Я бы очень хотела узнать, где та женщина, которая до того не выходила из квартиры и проводила дни в рыданиях, вдруг нашла такую силу. Я никак не могла привыкнуть к новой Альме. И я изумилась еще больше, когда она заговорила:

– У нас есть только две выездные визы, подписанные кубинским госдепартаментом, потому что они только что опубликовали новый указ, ограничивающий въезд немецких беженцев на остров.

Мама даже не сделала паузу, чтобы передохнуть:

– Но это не важно: компания «Гамбург—Америка Лайн» собирается продавать туристические визы на ограниченный срок, подписанные генеральным директором иммиграционной службы, неким Мануэлем Бенитесем.

Мама постаралась произнести его имя на безупречном испанском.

– Нам нужна только одна. Если мы сможем достать «Бенитес» с печатью кубинского консульства, – она уже окрестила спасительные визы его именем, – ты сможешь уехать с нами. Но нельзя покупать ее через посредников. И лучше купить три, чтобы мы все ехали с одинаковыми документами.

– А если мы не сможем достать «Бенитес», какие еще есть варианты? – встряла я. – Все равно уехать, а папу оставить в Берлине?

Мама не ответила мне, а продолжила, задыхаясь, объяснять:

– По крайней мере, для нас зарезервированы две каюты первого класса. Это уже гарантия. Проблема в том, что нам позволено взять только десять рейхсмарок на человека.

Это означало, что родители могут взять двадцать, а я – десять. Вот и все наше состояние. Мы могли бы спрятать еще немного денег, но это было бы слишком рискованно: тогда у нас могут отобрать разрешение на посадку. Или, может быть, нам бы удалось тайком взять папины часы или какую-нибудь другую драгоценность. Это было бы большим подспорьем.

– Пока мы не доберемся до Гаваны, у нас не будет доступа к нашему канадскому счету. А в море мы пробудем две недели, не больше, – продолжала мама спокойно. – Первые несколько дней мы можем пожить в отеле «Насьональ», пока готовят наше временное жилье. Там мы пробудем месяц, а может, и год. Кто знает.

Мама пересказала папе все новости и закрылась в своей комнате. Она не обняла его: только холодно чмокнула в каждую щеку.

У нас больше не было семьи, мы были одни. За последние несколько месяцев мы потеряли всех наших друзей. Все пытались выжить любым способом, кто как умел.

А Лео? Родители, должно быть, помогли Лео и его отцу достать билеты.

Из-за приезда папы я не смогла пойти на встречу с Лео. Он сам пришел искать меня, и когда я спустилась, чтобы впустить его, я увидела, как на него наседали фрау Хофмайстер:

– Убирайся отсюда, грязный щенок! Это тебе не мусорная куча!

Мы побежали в парк Тиргартен. У нас оставалось мало времени, и Лео знал это. У него и его отца все еще не было виз.

– Они заканчиваются, – сказал он мне. – У нас нет, и у твоего папы тоже.

Мало того, у нас появилась новая проблема: наши родители планировали избавиться от нас, если мы не успеем уехать из Берлина. Лео был совершенно в этом уверен.

Он слышал, как они говорили о смертельном яде. Он знал о нем все.

– Сейчас цианид идет на вес золота, – объяснял он, словно сам был дилером.

Он рассказывает какие-то небылицы, подумала я, не поверив ни единому его слову. Никто не хотел умирать. Мы все хотели уехать; именно этого нам хотелось больше всего на свете.

– Твой отец сказал, что предпочел бы исчезнуть, чем снова оказаться в тюрьме, – сказал Лео серьезно. Он замедлил бег. – Он попросил моего папу купить три капсулы для вашей семьи на черном рынке. Ты что, мне не веришь?

– Конечно, не верю, Лео, – сказала я, хватая ртом воздух.

– Капсулами с цианидами стали широко пользоваться во время Великой войны...

Лео заговорил тоном артиста бродячего цирка, который собирается представить какое-то чудо природы. Его отцу следовало бы знать, что этот мальчишка всегда подслушивает разговоры. Лео был опасен.

– Лучше было умереть, чем попасть в плен. Даже если отобрали оружие, можно было на всякий случай держать крошечную капсулу под

языком или в пломбе. – Лео произносил каждую фразу с аффектацией, размахивая руками. И остановился посмотреть, испугалась я или разозлилась.

– Капсулы так просто не растворяются. Их покрывают тонкой стеклянной пленкой, чтобы они случайно не вскрылись. Когда приходит час, ты раскусываешь стекло и проглатываешь цианистый калий. – Тут Лео разыграл комическую пантомиму: бросившись на землю, он дрожал и бился в конвульсиях, задерживал дыхание, широко открывал глаза и кашлял. Затем он ожил и пошел рассказывать дальше. – Раствор настолько концентрирован, что, попадая в пищеварительную систему, он вызывает немедленную смерть мозга, – сказал он, глубоко вздохнув и застыв на месте.

– А это не больно? – спросила я, подыгрывая ему.

– Это идеальная смерть, Ханна, – прошептал Лео. Затем он снова принялся активно жестикулировать:

– Он разрушает мозг, чтобы человек ничего не чувствовал, а потом сердце перестает биться.

Это было каким-никаким утешением: смерть без боли и крови. При виде крови я бы упала в обморок, да и боли я не переносила.

Если бы наши родители бросили нас, капсулы стали бы идеальным решением для нас обоих. Мы бы уснули, и все было бы кончено.

Я прислонилась спиной к стене, увешанной плакатами: «У миллионов людей нет работы. У миллионов детей нет будущего. Спасите немецкий народ!» *Я ведь тоже немка. А кто спасет меня?*

– Ты должна найти их, – приказал мне Лео. – Обыщи всю квартиру. Без них. Не уходи, пока не найдешь. Мы должны их выбросить.

– Выбросить то, что ценится на вес золота, Лео? Не лучше ли оставить их у себя и продать?

Вот и еще одна проблема: теперь я должна была тщательно проверять всю еду, которую мне давали, хотя я не думала, что содержимое капсулы смешают с едой, потому что я бы сразу это заметила. Мне хотелось узнать, как пахнет цианид. Должно быть, у этого вещества особая консистенция и вкус, не похожий ни на что другое, но Лео не упоминал об этом. Мне нужно будет узнать об этом побольше. Нельзя терять ни секунды.

Они могли подойти к моей кровати, дождавшись, когда я усну, открыть мне рот и всыпать порошок из вскрытой капсулы. Я бы не

кричала и не плакала. Я бы просто смотрела на них, чтобы они видели, как я угасаю; как перестало биться мое сердце.

Родители были в отчаянии, а в кризисной ситуации они будут действовать, не раздумывая. Все могло быть. И я не ждала от них ничего хорошего. Но они не могли решать за меня: мне скоро должно было исполниться двенадцать.

Они мне были не нужны. Я могла сбежать с Лео; мы бы выросли вместе. *Лео, помоги мне выбраться отсюда.*

Я пошла домой, чтобы поспать и попытаться забыть о цианиде хотя бы на несколько часов. На следующий день, как только папа и мама уйдут, я начну поиски.

Я проснулась позже чем обычно: разговор с Лео вымотал меня. Воспользовавшись тем, что осталась одна, я отправилась исследовать сейф, спрятанный за дедушкиным портретом в папином кабинете. Кодом по-прежнему была дата моего рождения, но, когда я открыла маленькую дверцу, увидела внутри только документы: кипы конвертов.

Затем я заглянула в шкатулку с драгоценностями. Ничего. Затем в папин неприкосновенный портфель. Я проверила все ящики в квартире, даже те, которые я никогда раньше не открывала. Я искала в книгах и за декоративными украшениями. Подойдя к граммофону, я осторожно ощупала трубу изнутри. Ничего. Я продолжала поиски, но капсул нигде не было.

Возможно, родители забрали их с собой. Это было единственно возможное объяснение. Вероятно, папа хранил их в своем толстом бумажнике. Или, быть может, во рту, пребывая в уверенности, что стеклянное покрытие уберет его. Поручение Лео найти этот чертов порошок мучило меня.

Я была измотана. Я заглянула в каждый уголок, но мне уже пора было выходить. В полдень я добралась до Розенталерштрассе, но не нашла Лео в кафе фрау Фалькенхорст. Почти всегда ему приходилось ждать меня, а теперь он мне отплатил.

Я выскакивала из кафе и снова забегала внутрь; многие столики были заняты курильщиками. Лео не пришел, и я догадывалась, что он не появится и сейчас. Я отправилась на Александерплац и побродила по вокзалу. Я скользила руками по холодным медно-зеленым плиткам. Пальцы оставались черными от копоти, и я не представляла, как ее оттереть.

Я села в электричку и отважилась дойти до вонючей подворотни под окном огра. Лео мог быть там, желая узнать свежие новости по радио. Я понятия не имела, что я делаю там в одиночестве. Я подошла поближе к окну самого мерзко пахнущего человека в Берлине, у которого ревел радиоприемник. Меня так и подмывало спросить его: Вы случайно не видели Лео? По радио я услышала, что в отеле «Адлон» проходит совещание огров, на котором они должны были решить, что делать с нечистыми. Они могли бы собраться в отеле «Кайзерхоф», но нет: им нужно было выбрать именно «Адлон», чтобы причинить нам еще большую боль.

«Адлон» был символом величия Берлина. Все хотели там погостить. Но теперь все оттуда бежали. Флаги огров развевались с каждого балкона в отеле и с фонарей на окрестных проспектах, где мы когда-то счастливо прогуливались.

Но мы уезжали. Это было важнее всего. К счастью, я ни к чему не испытывала привязанности. Ни к нашей квартире, ни к парку, ни к моим приключениям с Лео в кварталах нечистых.

Я не была немкой. Я не была чистой. Я была никем.

Мне нужно было найти Лео, и я решила рискнуть: я сяду в поезд и доберусь до его дома на Гроссе Гамбургерштрассе, 40. Я повторяла это про себя, чтобы не забыть. Дом Лео находился в том квартале, куда мама отказалась переезжать и где теперь обитали все нечистые Берлина. Лео мог ждать меня возле нашего дома. Он никого не боялся, тем более фрау Хофмайстер.

* * *

Я вышла из поезда на Ораниенбургерштрассе. Когда я дошла до перекрестка с Гроссе Гамбургерштрассе, я смотрела себе под ноги и потому столкнулась с женщиной, которая несла сумку, полную белой спаржи. Извинившись, я услышала, как женщина ворчит позади меня:

– Что понадобилось этой чистой немке в таком квартале?

Когда я дошла до улицы Лео, мне пришлось остановиться, чтобы сориентироваться. Справа находилось кладбище и так называемая Свободная школа для нечистых. Дом Лео стоял слева, ближе к парку Коппенплац. Наконец-то я поняла, где нахожусь.

Трех- и четырехэтажные дома без балконов и с одинаковыми фасадами стояли беспорядочным нагромождением. Стены горчичного цвета постепенно выцветали – их не красили уже много лет.

Люди бродили вокруг, словно у них было слишком много свободного времени. Вид они имели потерянный и дезориентированный. У одного из подъездов стояли два старика в черном. Повсюду ощущалось запустение, а от курток, брошенных на земле, сильно пахло потом.

По крайней мере, я не чувствовала запаха дыма, хотя на тротуаре все так же валялось битое стекло. Казалось, всем было наплевать: люди наступали на осколки, и они разламывались под их подошвами. От этого хруста у меня пробежал по спине холодок.

В одном магазине прибили огромные деревянные доски, чтобы заменить разбитые в ноябре окна. Кто-то черными чернилами вывел на дереве шестиконечные звезды, а также фразы, которые мне не хотелось читать.

Я искала дом номер сорок, больше меня ничего не интересовало. Я не хотела знать, почему старики не выходят из подъезда или почему маленький мальчик, которому по виду не исполнилось и четырех, откусывал огромные куски от сырого картофеля и выплевывал их.

Дом номер сорок представлял собой трехэтажное здание, выкрашенное в горчично-желтый цвет и потемневшее от сырости. Окна были распахнуты, будто слетели с петель. На покосившейся входной двери был сломан замок. Когда я поднималась по узкой темной лестнице, стало еще холоднее. Все равно что залезть в грязный холодильник, воняющий тухлой едой. Лестничную клетку освещала лишь простая лампочка, дававшая слабый свет. Несколько детей бросились вниз и протиснулись мимо меня. Я ухватилась за перила, чтобы не упасть, и почувствовала что-то липкое на ладони. Я шла по коридору, не зная, как это оттереть. Двери в несколько комнат были широко распахнуты. Мне подумалось, что когда-то раньше это была огромная квартира, принадлежавшая одной семье. Теперь ее заполняли нечистые, потерявшие свой дом.

Ни Лео, ни его отца не было видно. Последняя дверь открылась, и из нее вышел босой мужчина в испачканной майке. Я с опаской прошла дальше. Нос у него походил на ядовитый гриб, а на груди висела шестиконечная звезда, как та, что я видела на обложке книги

«Ядовитый гриб», которую нас заставляли читать в школе. Увидев меня, он на мгновение остановился и почесал голову. Он не сказал ни слова, и я пошла дальше, потому что не боялась его. И вообще никого.

Я заглянула в одну из комнат, где, должно быть, варили картофель, лук и мясо в томатном соусе. Пожилая женщина покачивалась в кресле-качалке. Другая растрепанная женщина готовила горячий чай. А маленький мальчик смотрел на меня, ковыряясь в носу.

Теперь я понимала, почему Лео не хотел, чтобы я видела, где он ночует. Это не имело отношения к хозяйке пансиона фрау Дубиецки, этой противной карге. Виной всему было царившее здесь уныние: Лео хотел защитить меня от этого ужаса.

Ты мог попросить о помощи. Ты мог бы приехать и жить с нами. Знаю, это было бы опасно, но мы должны были открыть тебе двери нашего дома, но мы этого не сделали. Прости меня, Лео.

Я поднялась на второй этаж, и тут кто-то схватил меня за руку.

– Тебе нельзя здесь находиться. – Низкорослая женщина с огромным животом подумала, что я не такая, как они. Что я чистая.

– Я ищу комнату, где живет семья Мартин, – сказала я слабым шепотом, пытаясь скрыть страх.

– Кто? – презрительно спросила она.

– Мне нужно поговорить с Лео. Это срочно. Очень серьезное семейное дело. Я его кузина.

– Ты ему не кузина, – прошипела крошечная гарпия, поворачиваясь ко мне спиной. И на этот раз я схватила ее за руку.

– Отпусти меня! – вскричала она. – Ты их не найдешь. Они разбежались, как крысы, вчера ночью, прихватив чемоданы. И ничего мне не сказали.

Я не знала, плакать мне или благодарить ее. Несколько секунд я стояла неподвижно, смотрела ей прямо в глаза и не могла отделаться от чувства жалости к ней. Я побежала вниз по лестнице и дальше, чтобы сесть на поезд. Я не имела понятия, куда направляюсь.

На тротуаре свет ослепил меня, а уличный шум парализовал. Звонок в дверь соседней булочной звучал у меня в голове как отдававшиеся эхом удары металлического прута. Разговоры прохожих смешались в моей голове. Женщина кричала на своего ребенка. Я слышала, как старики вдыхают воздух кустистыми ноздрями, словно

звук проходил через репродуктор, чувствовала их дыхание с запахом спиртного, слышала их разговоры на непонятном языке.

Я чувствовала себя потерянно. Мне не хотелось идти в сторону старинного кладбища с его надгробиями, заваленными мелкими камешками. Кто на земле захочет жить так близко к мертвым? Лео, который мог бы меня проводить, не было. Я должна была найти станцию.

Когда я наконец увидела ее, я поняла, что нахожусь в безопасности. Я должна была уехать оттуда. Мне нигде не было места. *Тебе нужно многое объяснить мне, Лео, потому что у меня полно вопросов, которые я не могу задать родителям.*

На обратном пути, уже в трамвае, каждый раз, когда токоприемник подпрыгивал на проводе воздушной линии, я вздрагивала. Другие пассажиры были удивительно спокойны, они смотрели в пол, и, казалось, все были одеты в серое. Ни единого цветного пятна в этой однородной массе. Мои щеки горели, а глаза наполнились слезами, которые я старалась сдерживать. Никто не хотел сидеть рядом со мной; все избегали меня. Я знала, что выгляжу чистой, но я была такой же серой, как и все остальные. Я жила в роскошной квартире, но меня тоже выгнали. Домой я шла одна. Никто никогда больше не собирался меня провожать.

Мне все не верилось, что Лео не нашел возможности прибежать ко мне домой, не рискнул постучаться к нам, чтобы рассказать мне, что отец забирает его в Англию или еще куда-нибудь, что он будет писать мне, что мы никогда не отделимся друг от друга, даже если между нами будет пролегать континент или океан.

Все, о чем я могла думать, – это подготовка к путешествию с туманными перспективами на тот маленький остров, который Лео рисовал на своих водных картах.

Был очередной вторник. Мне следовало было остаться в своей комнате и лежать, уставившись в потолок. Все это было сном или скорее ужасным кошмаром. Когда проснусь на следующее утро, Лео, с огромными ресницами и всклокоченными волосами, будет ждать меня в полдень в кафе фрау Фалькенхорст.

* * *

Открыв дверь квартиры, я увидела, что папа стоит у окна и разглядывает тюльпаны. Теперь он единственный в нашей семье почти никогда не уходил.

Он уединился в своем кабинете, обитом темными деревянными панелями, и усаживался спиной к фотографии, на которой был запечатлен дедушка с пышными усами и взглядом генерала. Он опустошал ящики письменного стола, выбрасывая в мусорную корзину сотни бумаг: свои исследования и работы.

Я подошла к нему. Он поцеловал меня в голову и продолжил смотреть в сад. Он должен был знать, куда увезли Лео и удалось ли ему и его отцу получить разрешение, необходимое для высадки в Гаване.

– А что с Лео и его отцом? – осмелилась спросить я.

Молчание. Папа не реагировал. *Перестань смотреть на цветы, папа. Это важно для меня!*

– Все хорошо, Ханна, – ответил он, не глядя на меня.

Это означало, что хороших новостей нет.

Я пошла в мамину спальню. Мне нужно было, чтобы кто-то объяснил мне, что происходит. Уезжаем мы или нет, состоится ли путешествие. Теперь именно мама каждое утро уходила из дома, чтобы все организовать.

– Все улажено, – подтвердила она. – Беспокоиться не о чем.

У нас были билеты на пароход, и мы получили разрешение на высадку

– Бенитес» – для папы.

– Что еще нам нужно?

– Мы должны выехать в субботу на рассвете. Мы поедем на нашей машине; один из бывших студентов твоего отца отвезет нас. Мы оставим ему машину в качестве оплаты.

– Ему можно доверять, – добавил появившийся в дверях папа, чтобы успокоить меня.

Но я продолжала думать о Лео.

В маминей комнате царил хаос: повсюду одежда, нижнее белье и обувь. Она взволнованно металась по комнате, и я слышала, как она бормочет какую-то песню. Я ее не понимала. Казалось, она превратилась в ту женщину, которой когда-то была, или в призрак своего прошлого.

Складывалось впечатление, что у меня каждый день появлялась новая мать. Это могло бы быть забавным, но не в этот момент. Лео исчез, не попрощавшись.

У мамы набралось четыре огромных чемодана, набитых одеждой. Никаких сомнений: она сошла с ума.

– Что ты думаешь, Ханна? – Она надела платье и начала танцевать по комнате. Вальс. Она напевала вальс. – Раз уж мы едем в Америку, нужно взять платье от «Мейнбохера», – продолжала она, как будто мы собирались в отпуск на какой-нибудь экзотический остров.

Никого на Кубе ни в малейшей степени не будет интересовать название брендов маминых платьев. Всех их она называла по имени кутюрье: мадам Грэ, Молине, Пату, Пике.

Их было так много, что во время плавания ей не придется надевать одно и то же дважды. Она знала, что всякий раз, когда, пребывая в эйфории, она искала убежище, я отдалялась от нее. Я знала, что она страдала: мы ехали совсем не в отпуск. Она понимала всю суть нашей трагедии, но пыталась примириться с ней как могла.

О, мама! Если бы ты только видела то, что я видела сегодня. А ты, папа, ты не должен был бросать Лео и его отца в этом кошмаре.

Была составлена опись всего нашего имущества или, другими словами, декларация о собственности, которую должна была заполнить каждая семья перед отъездом. Мама могла взять с собой одежду и украшения, но все остальное должно было остаться в Германии.

Ничего из того, что было указано в описи, нельзя было потерять или сломать. Любая глупая ошибка – и наш отъезд был бы отложен на неопределенный срок. И нас бы отправили в тюрьму.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Мистер Левин связал нас с дамой, пережившей войну, которая плыла на корабле «Сент-Луис», трансатлантическом лайнере, доставившем тетю Ханну на Кубу. Мы собираемся навестить ее сегодня. Возможно, она знала папину семью, мою семью. Мы возьмем копии открыток и фотографий, которые мы сделали, ведь – кто знает! – возможно, она узнает кого-то из своих родственников или даже себя в молодости. Мы очень на это надеемся.

Мистер Левин говорит, что в живых осталось всего несколько человек. Конечно, это было много лет назад.

Миссис Беренсон живет в Бронксе. Нас должен встретить ее сын, который предупредил маму, что мы познакомимся с приветливой старушкой, которая мало говорит, но очень хорошо помнит прошлое. С каждым днем она все хуже запоминает текущие события. Как сказал ее сын, она прожила в скорби более семидесяти лет. Она не может простить. И даже если бы она хотела забыть, то не смогла бы.

Сын часто просил ее рассказать, как ей удалось выжить, о преследованиях, которым она подвергалась, о своем плавании на корабле и о том, что случилось с ее родителями. Он хотел, чтобы она написала обо всем, но она отказалась. Она согласилась на наш визит только из-за фотографий.

В доме миссис Беренсон на дверном косяке висела мезуза. Когда ее сын открыл дверь, нас обдало теплым воздухом. Он тоже пожилой человек. В их прихожей без особого порядка висело множество старых фотографий. Там было все: свадьбы, дни рождения, новорожденные дети.

Вся жизнь семьи Беренсон после войны. Но ничего не напоминало об их жизни в Германии.

Миссис Беренсон отдыхала в гостиной, сидя без движения в кресле у окна. Мебель была сделана из тяжелого темно-красного дерева. Все в квартире, должно быть, стоило целое состояние. В комнатах, заставленных витринами, столами, диванами, креслами и декоративными украшениями, оставалось совсем мало свободного пространства. Я боялась, что если чихну, то что-нибудь разобью. И

каждый предмет мебели был укрыт кружевной салфеткой. Что за навязчивая идея покрывать поверхности! Даже стены были оклеены унылыми обоями горчичного цвета.

Я была уверена, что солнце никогда не заглядывало сюда.

– Вы увидите, что она довольно раздражительна, – объяснил ее сын, вероятно для того, чтобы мать услышала его и как-то отреагировала. Но она не пошевелилась.

Мама взяла ее за руку, и она улыбнулась ей в ответ.

– В моем возрасте лучшее, что я могу сделать, – это улыбаться, – сказала она, чтобы завязать разговор. Я не очень хорошо понимала, что она говорит. Почти всю жизнь она прожила в Нью-Йорке, но по-прежнему говорила с сильным немецким акцентом.

Меня представили, и я кивнула из угла комнаты.

Миссис Беренсон с трудом подняла правую руку, унизанную золотыми кольцами, и слегка махнула ею, приветствуя меня.

– Двоюродная бабушка моей дочери прислала нам негативы. Она плыла на пароходе вместе с вами. Ханна Розенталь. – Я не думала, что миссис Беренсон хоть сколько-нибудь интересуется нашей семьей. Когда она улыбалась, ее глаза сужались и она принимала вид озорного ребенка, а не ворчливой старухи, которая пережила войну и теперь не могла двигаться без посторонней помощи.

– В те времена это были очень распространенные имена. Вы принесли фотографии?

Ей не хотелось разговаривать. Давайте перейдем к делу: сделайте то, зачем пришли, и можете идти. Она не хотела, чтобы ее беспокоили. Улыбки с ее стороны более чем достаточно.

В одном из углов комнаты на высоком столике стояла модель здания. У него был абсолютно симметричный фасад, на котором виднелись двери, окна и большой парадный вход в центре. Оно напоминало музей.

– Не подходи слишком близко, дитя.

Мне не верилось, что она меня отчитала. Я быстро переместилась в другой угол комнаты. Вероятно, в качестве извинения миссис Беренсон объяснила:

– Мне его подарил мой внук. Это копия здания, которым мы владели в Берлине. Его больше не существует. Его разбомбили советские войска в конце войны. Давайте посмотрим фотографии.

Мама разложила фотографии на скатерти, покрывавшей стол рядом со старушкой, и она принялась брать их одну за другой.

Она устроилась поудобнее в кресле и сосредоточилась на фотографиях, забыв о нас. Посмеиваясь, она указала на детей, играющих на борту корабля, а затем пробормотала несколько фраз по-немецки. Казалось, она в восторге от снимков: бассейн, бальный зал, тренажерный зал, элегантные женщины. Некоторые пассажиры загорают, другие позируют, как кинозвезды.

Старушка снова просмотрела снимки, проявив те же эмоции, что и в первый раз. Счастливый вид старушки удивил ее сына.

– Я никогда раньше не видела моря, – произнесла она после молчания.

Затем она взяла второй конверт с фотографиями и добавила:

– Я никогда не была на маскараде.

Ожидая, когда ей подадут третий конверт, она выглядела более взволнованной:

– Еда была изысканной. С нами обращались как с королевскими особами.

Миссис Беренсон задержала взгляд на одной фотографии. Она была сделана в порту – порту Гаваны? Возможно. Пассажиры толпились у поручней на борту корабля и махали на прощание. Некоторые держали на руках детей. У других на лицах застыло выражение безнадежности.

Старушка прижала к себе фотографию, закрыла глаза и зарыдала. Всего через несколько секунд ее тихие стоны переросли в отчаянные всхлипы. Я не знала, плачет ли она или просто громко кричит. Сын подошел к ней, чтобы успокоить. Он обнял мать, но она продолжала дрожать.

– Нам лучше уйти, – сказала мама, взяв меня за руку.

Мы оставили фотографии на столе посреди комнаты и даже не успели попрощаться. Миссис Беренсон по-прежнему сидела с закрытыми глазами, прижимая фотографию к груди. На мгновение она успокоилась, но потом снова начала причитать.

Ее сын извинился за мать перед нами. Я ничего не понимала. Я хотела бы узнать, что случилось с миссис Беренсон. Может быть, она узнала свою семью на корабле. Высадились ли они в Гаване?

Возможно, они потерпели кораблекрушение; но в конце концов ее спасли, а раз так, значит, она должна быть довольна?

Пока мы ждали лифт, до нас доносились ее страдальческие вопли. Мы спустились в полном молчании. Плач наверху не замолкал.

* * *

Я не могу подвести отца так же, как подвела маму. Не хочу, чтобы в итоге меня мучило то же чувство вины перед ним. Ведь мне только исполнится двенадцать! В моем возрасте еще хочется, чтобы родители были рядом. Кричали на тебя, не разрешали играть, когда хочется, давали распоряжения и читали нотации, когда ты плохо себя ведешь.

Хотя я и желала, чтобы мама не проснулась – чтобы она навсегда осталась лежать в своей темной комнате, утопая в простынях, – я вовремя спохватилась, побежала, позвала на помощь и спасла ее. Я хочу, чтобы папа тоже проснулся, вышел из тени, пришел за мной и увез с собой так далеко, как только возможно, на паруснике, неподвластном ветрам. И теперь я еду на встречу с его прошлым.

Я спрашиваю его о жаре в Гаване, городе, где он родился и вырос. *Проснись, папа. Расскажи мне что-нибудь.* Я подношу его фотографию ближе к свету, отчего на его лицо ложится красноватый отблеск, и чувствую, что теперь он действительно слушает меня. *Я сбила тебя с толку своими вопросами, правда, папа?*

Нам сказали, что в Гаване невыносимая жара, и это беспокоило маму. Палящее солнце жжет тебя в любое время дня, и ты ослабеваешь от жары. Нас предупредили, что нужно наносить много солнцезащитного крема.

– Мама, но мы же едем не в пустыню Сахару. Это остров, где дуют бризы, и море окружает его со всех сторон, – объясняю я, но она смотрит на меня так, словно задается вопросом: *«Что может знать эта девочка? Она никогда не была на Карибах!»* Мама не верит, что мы хорошо подготовились.

Маме хотелось бы остановиться в гостиничном номере с видом на море, но моя двоюродная бабушка настойчиво говорила, что дом, где родился мой папа, тоже принадлежит нам. Мы не могли ее обидеть, поэтому я убедила маму забыть все отели с названиями испанских

городов, итальянских островов и французских морских курортов, которые она нашла в Гаване.

Мне было интересно узнать, как немка с таким мягким, мелодичным голосом, так скрупулезно строившая фразы на испанском, может жить на острове, где, по словам мистера Левина, люди все время кричат и покачивают бедрами при ходьбе.

Возможно, моя тетя приготовит для нас большой сюрприз. Мы прибудем в аэропорт Гаваны, когда начнут сгущаться сумерки. Солнце к тому времени зайдет, и жара не будет такой сильной. Мы выйдем из самолета, и когда откроются стеклянные двери, отделяющие терминал от города, ты будешь ждать нас там, папа, в очках без оправы и с полуулыбкой. Или, что еще лучше, мы уедем из аэропорта, доберемся до дома, где ты родился, тетя Ханна откроет огромную деревянную дверь, пригласит нас войти, а ты будешь сидеть в светлой просторной гостиной. Не может быть большего сюрприза, не так ли?

О, не слушай меня, папа, это всего лишь фантазии молодой девушки. Что мне хочется сделать, так это осмотреть твою комнату, место, где ты сделал свои первые шаги, где ты играл в детстве. Я уверена, что у моей двоюродной бабушки сохранились некоторые из твоих игрушек.

Я уже собрала чемодан. Лучше все подготовить заранее, чтобы ничего не забыть. Я не рассказала папе о нашем визите к миссис Беренсон. Ее крики до сих пор снятся мне в кошмарах. Я не хочу, чтобы он волновался. Я знаю, он наверняка рад, что мы едем на Кубу. Я думаю, он бы с удовольствием поехал туда с нами.

Я не верю, что моя тетя будет похожа на миссис Беренсон. Возможно, она никогда не выходит из дома и тоже хочет забыть свое прошлое. Но она не кажется преисполненной обиды и горечи.

Перед сном я начала листать альбом, куда мама положила фотографии с корабля. Я искала девочку, похожую на меня, и долго смотрела на нее. Когда я закрыла глаза, она все еще была там и улыбалась мне. Я встаю и бегу по палубе огромного пустого лайнера. Я нахожу девушку с огромными глазами и светлыми волосами. Я и есть та девушка. Она обнимает меня, и я вижу себя.

Вздрыгнув, я проснулась в своей комнате, рядом со мной стояла папина фотография. Я поцеловала его и сообщила новость: мы уезжаем через несколько дней. У нас будет короткая остановка в Майами, а

потом мы снова сядем в самолет и приземлимся всего через сорок пять минут.

Как же близко расположен остров. Мы доберемся до дома тети Ханны к вечеру.

Ханна

Берлин, 1939

Наступила суббота. День нашего отъезда.

Я оделась в скучное темно-синее платье, которое, как мама сказала бы раньше, немного тяжеловато для этого времени года. Мы с папой терпеливо ждали ее в гостиной. Я не планировала произвести впечатление на окружающих, когда мы приедем в Гамбург, хотя у меня в ушах и звучала одна из ее любимых поговорок: «Самое главное – первое впечатление».

Также я не слишком расстраивалась из-за того, что оставляю единственное место, где я когда-либо жила, и одним движением вычеркиваю двенадцать лет своей жизни. Меня огорчало то, что Лео, мой единственный друг, бросил меня и я не знала, куда он бежал, какие экзотические миры он собирался открыть без меня. Единственным моим утешением было думать, что Лео знает: он всегда сможет найти меня на острове, где мы мечтали однажды создать семью. И он должен был знать, что я буду ждать его там до самой смерти.

Впрочем, кое-что хорошее после исчезновения Лео тоже было: я забыла о капсулах с цианидом. К тому времени мне было уже все равно, какое решение примут мои родители. Наконец-то мы собирались бежать, и они нам не понадобятся. Но на месте папы я бы никогда не оставляла их там, где мама могла бы их найти: она проводила день в постели, а другой – предавалась веселью.

Я снова спросила папу о семье Мартин. Он наверняка что-то знал.

– Они в безопасности, – вот и все, что он мне сказал, но этого было недостаточно, потому что я не хотела расставаться с Лео. – Все в порядке.

Его любимыми фразами теперь были: «Ничего не происходит», «Не волнуйся», «Все в порядке».

Отец никогда не терял самообладания, даже в самых сложных ситуациях. Теперь он сидел на диване, уставившись в пространство. Я догадалась, что ему все стало безразлично. Благословенный кожаный портфель лежал у его ног. Когда я спросила, не хочет ли он, чтобы я приготовила чай перед отъездом, он был так рассеян, что даже не

ответил. Ему хотелось думать, что нам повезло, и он не собирался считать себя жертвой.

В дверях стояли семь очень тяжелых чемоданов. Бывший папин ученик, который теперь был членом партии огров, приехал и начал таскать их к машине, которая к концу дня должна была стать его. По дороге он окинул взглядом гостиную: должно быть, он подумал, что некоторые из самых ценных вещей, которые принадлежали семьям Розенталь и Штраус на протяжении многих поколений, попадут в его руки. И кто знает, после того как он высадит нас в порту и вернется в Берлин, не вломится ли он в нашу квартиру и не заберет ли бабушкину севрскую вазу, серебряный сервиз или мейсенский фарфор.

– Там внизу соседи, – сказал он папе. – Они встали в две шеренги снаружи. Не могли бы мы выйти через черный ход?

– Мы уйдем через парадную дверь и с гордо поднятой головой, – заявила мама, выходя из своей комнаты с сияющим видом. – Мы не беглецы. Мы оставляем здание им; они могут делать с ним все, что захотят.

Мама прошла мимо, и за ней потянулся слабый аромат жасмина и болгарских роз. Только ей могла прийти в голову мысль отправиться на машине в Гамбург и сесть на пароход в длинном платье со шлейфом. Короткая вуаль закрывала верхнюю часть ее идеально накрашенного лица: брови, изгибавшиеся дугой к вискам, удивительно бледные щеки и ярко-алые губы. Макияж идеально дополнял ее черно-белое платье от «Люсьена Лелонга», украшенное приколотой к талии брошью из платины и бриллиантов.

Платье подчеркивало мамину стройную фигуру. Осознавая это, она шла достаточно маленькими шажками, чтобы все могли полюбоваться этим великолепным зрелищем. Вот что называется первым впечатлением!

– Ну что, идем? – сказала мама, не оглядываясь назад. Не прощаясь со всем тем, что принадлежало ей. Не взглянув последний раз на семейные портреты. Даже не обращая внимания на то, как мы с папой были одеты. Ей не нужно было выносить положительный вердикт нашим нарядам: ее сияние затмит все вокруг.

Она вышла первой. Бывший студент закрыл дверь – закрыл ли он ее? – и забрал оставшиеся два чемодана.

Первыми на улицу вышли мамины духи. Гарпии, поджидавшие нас, чтобы выкрикивать оскорбления, были опьянены и околдованы ароматом богини.

Наверное, они слегка наклонили головы, когда мы забрались в машину, которая скоро перестанет быть нашей. Мне хочется думать, что им было стыдно за свое мерзкое поведение. Таким образом они бы проявили толику человечности. Я понятия не имела, была ли среди них Гретель. Да и какое это имело значение? Фрау Хофмайстер будет довольна. С этого дня она могла пользоваться лифтом, как ей вздумается, и грязная девчонка не будет портить ей день.

Мы уехали из нашего квартала с быстротой тех падающих звезд, которые мы с папой открывали для себя летними ночами в нашем доме на берегу озера в Ванзее. Элегантные улицы района Митте расплывались позади нас. Мы пересекли бульвар, который когда-то был самым красивым в Берлине, и я попрощалась с мостом через Шпрее, по которому я так часто спешила к Лео.

Сидя между папой и мной, мама смотрела прямо перед собой, наблюдая за дорожным движением в городе, который когда-то был самым оживленным в Европе.

Мы избегали смотреть друг на друга или разговаривать. Никто из нас не проронил ни слезинки. Пока нет.

Когда Берлин превратился в точку на горизонте позади нас, а мы все приближались к Гамбургу, расположенному примерно в ста восьмидесяти милях к северо-западу, я начала дрожать. Я не могла сдержать волнение, но я не хотела, чтобы кто-нибудь в машине его заметил. Я все еще должна была вести себя как избалованный одиннадцатилетний ребенок, никогда ни в чем не нуждавшийся. Так я могла бы сбросить напряжение. Еще один всплеск эмоций, прежде чем мы доберемся до корабля, который заберет нас из этого ада. Я чувствовала, что сейчас заплачу, и пыталась сдержаться. Потом я разрыдалась.

– Все будет хорошо, моя девочка, – утешала меня мама, и я ощутила, как ткань ее платья соприкасается с моей щекой. Я не хотела пачкать его своими глупыми слезами. – Нет смысла плакать о том, что мы оставляем. Ты увидишь, как прекрасна Гавана.

Я хотела сказать ей, что плачу не потому, что у меня что-то отняли. А потому, что потеряла лучшего друга. Вот почему я дрожала. А вовсе

не из-за какой-то дурацкой старой квартиры или города, которые уже ничего для меня не значили.

– Не торопись. – Наконец кто-то заговорил с водителем.

Мама достала из сумочки зеркальце и проверила, не размазался ли макияж.

– На самом деле будет лучше, если мы приедем в назначенное время, – сказала она. – Я хочу взойти на борт последней.

Мы остановились в маленькой улочке, чтобы подгадать идеальный момент для мамино триумфального выхода. Бывший студент включил радио, и мы услышали одну из бесконечных речей, так часто звучавших в последнее время:

– Мы позволили тем, кто отравляет наш народ, отбросам, вора, червям и преступникам, покинуть Германию. – То есть нам. – Ни одна страна не хочет их принимать. Почему мы должны нести это бремя? Мы очистили наши улицы и будем продолжать борьбу, пока самый отдаленный уголок империи не будет свободен от этих пиявок.

– Я думаю, нужно ехать в порт. – Первые слова, произнесенные отцом после отъезда из Берлина. – Достаточно, он жестом приказал огру ехать дальше и выключить свое проклятое радио.

Когда мы повернули за угол, показался плавучий остров, который должен был стать нашим спасением. Огромная, внушительная железная глыба черного и белого цветов, как мамино платье, сидела на воде и поднималась к самому небу. Целый город на море. Я надеялась, что там мы будем в безопасности. Он должен был стать нашей тюрьмой на ближайшие две недели. А после этого – свобода.

На носу корабля развевался флаг огров. Под ним виднелись белые буквы названия, которое останется с нами навсегда: «*Сент-Луис*».

* * *

Несколько шагов между машиной и маленьким таможенным домиком, отделявших тот мир от нашего, растянулись, казалось, на целую вечность. Тебе хотелось попасть туда, но ты не мог, даже если бы побежал. Короткий переход полностью лишил меня того небольшого запаса сил, который у меня оставался. Родители изо всех

сил старались держаться прямо. Время, когда они снимут свои маски и рухнут, наступит очень скоро.

Поездка на машине оказалась самой долгой, напряженной и выматывающей в моей жизни. Я была уверена, что две недели нашего трансатлантического путешествия пролетят как одно мгновение: гораздо быстрее, чем путешествие из Берлина, великой столицы, в Гамбург, главный порт великой Германии.

Когда мы приблизились к таможенному домику, небольшой оркестр, в котором все музыканты были одеты в белое, вяло заиграл военный марш. Я подскочила от страха при первых нотах. Мне никогда не нравились марши: от их торжественных звуков у меня волосы вставали дыбом. Было совершенно понятно, что марш под названием «Полный вперед!» – это здоровенный пинок под зад.

Я понятия не имела, чего хотела добиться судоходная компания: поднять нам настроение или заставить нас забыть, что с того момента, как мы ступим на борт судна «Сент-Луис», мы никогда больше не вернемся в Германию.

Корабль оказался выше нашего дома в Берлине. Раз, два, три... Я насчитала целых шесть палуб. Маленькие закрытые иллюминаторы указывали на каюты. На каждой палубе стояла толпа людей. Должно быть, все уже были на борту. Мы были последними. Конечно: как обычно, мама добилась своего.

Два огра, сидевшие за импровизированным столом у подножия трапа, оглядели нас с отвращением. Папа открыл свой портфель и передал им сначала три документа, подписанные кубинскими иммиграционными чиновниками, согласно которым нам разрешался въезд и пребывание в Гаване на неограниченный срок. Двое мужчин внимательно проверили документы – хотя они не могли их прочитать, так как они были на испанском языке, – а затем попросили у папы наши паспорта и обратные билеты на пароход «Сент-Луис».

Мама смотрела на качающийся трап, который вскоре должен был разлучить ее со страной, где она родилась. Она знала, что через несколько минут она больше не будет немкой. Она больше не будет Штраус или Розенталь. По крайней мере, она все так же останется Альмой. Она не потеряет свое собственное имя. Она отказалась отвечать ограм, военным низкого ранга, которые посмели опрашивать ее, внучку ветерана Великой войны, награжденного Железным крестом.

Изучив наши документы страницу за страницей, огр смочил печать о нашем отъезде на подушечке с красными чернилами. Он с силой простучал ею по нашим фотографиям, и с каждым ударом мама вздрагивала, но не опускала взгляд. Мы были отмечены мерзкой красной буквой Ю («Юде») на единственном документе, удостоверяющем личность, который должен был сопровождать нас в наших кубинских приключениях. Неизгладимый шрам. Мы навсегда принадлежали к изгнанникам, к людям, которые никому не нужны, тем, кто был вынужден покинуть свои дома на заре времен.

Мама изо всех сил старалась не плакать, но две слезинки грозили испортить безупречный макияж, с которым она собиралась вступить на борт корабля, где, как она надеялась, сможет счастливо жить в течение последующих двух недель. Наверное, для того чтобы избежать дальнейшего проявления эмоций, она обняла меня сзади, и я почувствовала, как ее губы приблизились к моему уху:

– У меня для тебя сюрприз.

Я надеялась, что она не собирается совершить какой-нибудь безумный поступок. *Не забудь, мама: в этот самый момент наши жизни находятся под угрозой!*

– Я расскажу тебе в каюте.

Я подумала, что она просто пытается успокоить нас обеих. Мама заставила меня пообещать, что я ничего не скажу папе. Она расскажет нам новости, когда мы будем в безопасности на борту и берег Германии исчезнет вдаль.

Я видела, как она улыбается. Это наверняка были хорошие новости. Один из огров не мог оторвать глаз от мамы: без сомнения, она была самой элегантной пассажиркой на корабле. Возможно, он пытался сосчитать, сколько бриллиантов было в броши на ее талии. Нам следовало бы одеться попроще, не показывая, что мы не такие, как все, или что мы считаем себя лучше других. Но такой уж она была. Она сказала, что у нее нет абсолютно никаких причин стыдиться своего наследства от многих поколений Штраусов. Теперь же этот презренный огр вообразил, что у него есть право прибрать к рукам мамино состояние, которое несло и всегда будет нести на себе ее собственную уникальную печать. И тем не менее именно этот огр мог решать, может ли она забрать свои драгоценности с собой и можем ли мы уехать. Они

могли в мгновение ока отказаться принимать наши документы и арестовать папу. Тогда у нас действительно не было бы будущего.

Сотни пассажиров толпились на палубе корабля и смотрели на нас сверху. Некоторые из них наблюдали за нами, другие искали родственников на пристани. Внезапно нас ослепила вспышка фотоаппарата. Мужчина начал нас фотографировать. Я спряталась за папой. Должно быть, это был репортер из журнала «Немецкая девушка». «Я не чистая!» – хотела я крикнуть ему.

Мама выгнулась назад дугой, одновременно слегка подав плечи вперед и еще больше вытянув шею. Она выпятила подбородок: мне не верилось, что даже теперь, когда в любой момент нас могли обыскать, забрать то, что у нас осталось, отменить наш отъезд и арестовать нас, она нашла время, чтобы подумать о выгодном ракурсе, под которым ее фотографировали.

Огр еще раз проверил все наши документы и остановился на одном – папином. Я подумала о том, чтобы убежать, выбраться из порта и спрятаться на темных улицах Гамбурга.

– Черви, – презрительно прорычал огр, глядя на папины документы, не решаясь посмотреть ему в лицо.

Мама дрожала от гнева. *Не оборачивайся, мама. Не обращай на него внимания. Не позволяй ему причинить тебе боль.* Для них мы были червями, паразитами, свиньями, хитрыми, беспринципными, вероломными. Это был весь список. Я подумала: *«Пусть называют нас как хотят»*. К тому времени ничто уже не могло оскорбить меня.

Четыре моряка спустились к нам по ступенькам, внимательно наблюдая за нашими движениями. Папа посмотрел на огров, потом на моряков, а затем повернулся посмотреть, на месте ли наша машина.

Моряки окружили нас. Один из них поднял один из чемоданов, остальные сделали то же самое. Они разделили наш багаж между собой и принялись подниматься обратно по качающимся ступеням. По крайней мере, нашему багажу удалось попасть на борт.

О нос «Сент-Луиса» ударила волна.

Огры устали на папу. На нас они не обращали внимания. Если бы они арестовали его, мы бы остались на суше. Мы не могли уйти без него! Но к тому моменту мама подавила свой страх и думала только о своем появлении на борту. И репетировала его.

– Герр Розенталь, надеюсь, нам больше никогда не придется встретиться, – заявил огр.

Возможно, он ждал ответа, но папа молча взял документы. Молча внимательно изучил их и положил обратно в портфель.

Затем он наклонился ко мне и прошептал:

– Это самые ценные вещи, которые у нас есть. Мы можем потерять одежду, имущество, даже деньги, но эти бумаги – наше спасение.

Он поцеловал меня и сказал вслух, глядя на самую верхнюю точку «Сент-Луиса»:

– Куба – единственная страна, которая примет нас. Никогда не забывай об этом, Ханна.

Оркестр перестал играть. Наши первые чемоданы, должно быть, уже были в нашей каюте. На борт осталось пронести только два. И сесть нам троим. Мы все еще стояли на немецкой земле.

Ступеньки были свободны. Мама смотрела на нос корабля.

– Наша каюта на верхней палубе, – сказала она, приглаживая волосы, и взяла меня за руку. – Она меньше комнат в нашем доме, но тебе понравится, Ханна. Вот увидишь.

Матрос поднял два оставшихся чемодана. Папа собирался последовать за ним, и тут мама взяла его за руку. Я сразу поняла, что мама ни за что не поднимется на борт «Сент-Луиса» с багажом, даже вместе со своим. Как только она увидела, что моряк прошел в главный вход и исчез на палубе, и убедилась, что на трапе больше никого нет, она поцеловала папу в щеку в знак того, что можно идти.

Папа поднялся по ступенькам первым. Позади него шла я, крепко держась, чтобы не упасть в воду. Как же раскачивались ступеньки! Корабельная сирена заставила меня подпрыгнуть от страха. Я обернулась и увидела маму, которая медленно шла в той особой манере, в которой она задирала нос, одаривая равнодушием все вокруг.

Я видела, что огры за ее спиной все еще на посту. Если мы были последними, кто прибыл на рейс, странно, почему они до сих пор не ушли. Вдалеке виднелась наша машина.

На самом верху трапа нас ждал маленький человек со смешными маленькими усами. Он был похож на армейского офицера. Человек имел суровый вид: он вытянулся во весь рост, как бы желая сказать, что именно он командовал самым большим кораблем в порту.

– Не бойся, Ханна. Это Густав Шредер, капитан, – успокоил меня папа.

Я крепко держалась за поручень, чтобы не упасть. Было холодно, но я знала, что дрожу не из-за этого. *Мне страшно, папа*, – хотела я сказать ему и посмотрела на него, чтобы он понял, как сильно он мне нужен: что без его защиты я не могу сдвинуться ни на дюйм. Но к этому времени мы уже почти поднялись на верхние ступени трапа, и я наострила уши, чтобы услышать, не окликнет ли нас кто-нибудь. Я ничего не слышала.

Мы в безопасности, – повторяла я себе снова и снова, чтобы действительно поверить в это.

Мы действительно поднялись на борт последними. До меня доносились отчаянные крики: «Я люблю тебя» и «Я никогда тебя не забуду», прощания, выкрикиваемые с палубы, плач, который смешивался с воем сирен кораблей, входящих в гавань и покидающих ее.

Теперь суша осталась позади. Люди внизу, на набережной, выглядели как крошечные, беззащитные муравьи, мечущиеся в попытке последний раз взглянуть на уплывающих. С каждым шагом я чувствовала себя все выше и безопаснее. Порт и огры оставались позади: они становились все меньше и меньше. Я же, напротив, чувствовала себя такой же огромной, как и корабль: я превратилась во всемогущего железного гиганта по мере того как мостки исчезали из виду.

Я была непобедима. Мы взобрались на гору: папа и я достигли вершины! Как по волшебству, мой страх испарился, как только я ступила на борт этого громоздкого судна, которое теперь было нашим щитом. Приключение началось.

Шум стоял оглушительный. К этому времени никто на причале уже не слышал нас, но многие пассажиры все еще выкрикивали сообщения несчастным, которые не смогли получить спасительную визу – пропуск на корабль, который освободит нас.

К нам подошел капитан. Он был таким маленьким, что ему пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на папу. С вежливостью, от которой мы отвыкли, он протянул руку моим родителям, которые ответили ему отстраненными улыбками.

– Герр Розенталь, фрау Розенталь, – произнес он глубоким голосом оперного певца.

Он осторожно взял мою правую руку и поднес к своим губам, не касаясь моей кожи. Если бы я не была в таком недоумении, я бы сделала реверанс.

Наконец-то мы были на месте. На палубе не было места для прогулок: пассажиры толпились у поручней, откуда открывался вид на порт, словно пытаюсь держаться поближе к тому, что больше никогда не увидят, к образу, который был обречен исчезнуть из их памяти.

Мама в ужасе остановилась. Она не хотела делать еще один шаг, чтобы слиться с этой отчаянной толпой. Неожиданно она поняла, что мы трое – папа, я и даже она – были такими же жалкими, как и все остальные изгнанники на борту. Хотим мы того или нет, но мы все находились в одинаковой ситуации.

Посмотри на них внимательно, мама. Мы были жалкой массой беглецов, которых выгнали из домов. Всего за несколько секунд мы стали иммигрантами, с чем она никак не хотела смириться. Но теперь ей пришлось взглянуть правде в глаза.

Внезапно из толпы показалась тонкая рука, попытавшаяся дотянуться до капитана, который все еще стоял рядом с нами. Рука отпихнула человека, кричавшего прощания, и я услышала голос, который сказал мне:

– Пойдем со мной! Быстрее!

Потом показались черные волосы, более взъерошенные, чем когда-либо, рубашка, застегнутая на все пуговицы, короткие брюки и его огромные глаза, обрамленные ресницами, которые всегда появлялись раньше его.

– Лео! Это ты! Мне просто не верится!

– Что? Лишилась дара речи? Давай, бежим.

Раздался резкий вой корабельной сирены. Мы плыли вместе куда-то, где никто не будет измерять наши головы или носы, сравнивать текстуру наших волос, классифицировать цвет наших глаз. Мы ехали на остров, который ты нарисовал в мутной воде города, в который мы никогда больше не вернемся.

В Гавану, Лео. Через две бесконечно долгие недели мы прибудем в Гавану.

Будем ли мы сажать тюльпаны? Я совершенно не знала, растут ли тюльпаны на Кубе.

Часть вторая

Ханна

«Сент-Луис», 1939

Суббота, 13 мая

Я слышала, что, когда человек умирает, все события жизни мелькают у него перед глазами, как страницы книги, пока мозг не отключится. Но при этом он не испытывает ни боли, ни ностальгии. Когда мы уезжали из Германии, мне казалось, что у меня осталось только три воспоминания из детства.

Первое – это то, как меня держала в объятиях Ева. Я прижималась к ее большой теплой груди, когда она сидела на кровати в своей крошечной комнате возле кухни. Папа сказал, что я была слишком мала, чтобы иметь такую яркую память, но я ясно помнила аромат ее одеколona с нотками лимона, кедра и бергамота, смешанный с запахом пота и специй. Эта женщина помогла мне появиться на свет и заботилась обо мне, пока мама восстанавливалась после родов, ведь ей пришлось провести несколько недель в больнице. Я до сих пор помню, как после мама ласково говорила мне, что пора идти спать, а я горько плакала, потому что не хотела уходить из комнаты Евы. Только там я чувствовала себя в безопасности.

Второе воспоминание связано с поездкой в университет вместе с папой. Тогда мне было пять лет. Я спряталась под столом в огромном зале, где он читал лекцию сотне или более студентов, которые замороженно слушали, как самый умный человек на свете раскрывает секреты человеческого тела. Голос папы звучал так, словно он проводил религиозный ритуал или читал Пятикнижие по памяти. Он несколько раз повторил термин femur, то есть «бедренная кость», указывая на гигантские конечности, изображенные на висевшей на стене схеме, и я решила, что, как только родители разрешат мне завести собаку, я назову ее Фемуром.

Третье воспоминание связано с моим пятым днем рождения, когда мои родители пообещали мне, что однажды мы отправимся в кругосветный круиз на роскошном лайнере. После этого разговора, сидя вечерами у себя в комнате, я начала прокладывать по карте у кровати наш маршрут во все далекие страны, чувствуя себя самой счастливой девочкой в мире.

Кажется, я могла вспомнить только эти три подробности. И, к сожалению, одна из них была связана с Евой, которую я больше

никогда не увижу. Процесс стирания воспоминаний уже запущен. Моя новая книга воспоминаний пока была пустой.

Мы с Лео стояли у правого борта корабля, наблюдая за тем, как пассажиры машут своим родственникам внизу. Люди на суше смотрели на нас не как на спасенных, а как на тех, кого как будто ожидала какая-то ужасная, невыносимая судьба.

Мы с Лео отошли от толпы и устремили свой взгляд на реку Эльбу, которая должна была вывести нас к Северному морю, а оттуда – далеко от земли огров. Нам давно пора было покинуть порт, провонявший нефтью и рыбой: я не хотела, чтобы мои глаза разглядели другие детали. Я плотно их закрыла и прижалась к Лео, чтобы не чувствовать, как перемещается огромное железное чудовище. Я думала, что меня укачает.

Капитан наблюдал за нами с мостика, расхаживая взад и вперед, заложив руки за спину. Несмотря на свои нелепые усы и маленький рост, он был внушительной фигурой. Он жестом пригласил нас подняться и присоединиться к нему. Лео был взволнован еще больше, чем я: он потянул меня за руку, и мы побежали. Наше приключение началось.

С капитанского мостика порт казался крошечным. Запах ржавого железа и покачивание корабля снова вызвали у меня тошноту. Поняв это, капитан обратился прямо ко мне своим хрипловатым голосом, никак не подходившим его маленькому телу:

– Через несколько минут качка успокоится, и тогда даже в стакане с водой вы не увидите никакого движения. Не представишь ли ты меня своему другу, Ханна?

Лео распирало от гордости. Раньше он хотел стать пилотом, но теперь, подумала я, он, вероятно, предпочел бы стать капитаном корабля.

Он в волнении бросился к пульту управления, но капитан предупредил его:

– Вам здесь рады, но вы не должны ничего трогать. Это может подвергнуть опасности двести тридцать одного члена экипажа и восемьсот девяносто девять пассажиров, находящихся на борту. Я отвечаю за жизнь каждого из них.

Лео хотел точно знать, когда мы прибудем и насколько быстр наш корабль весом более шестнадцати тысяч тонн и длиной пятьсот

семьдесят пять футов.

– Что будет, если кто-нибудь упадет за борт? – спросил Лео, задыхаясь. – В каком порту будет первая остановка? В каких еще странах мы побываем? А если кто-нибудь заболит?

– Первая остановка будет в Шербуре, где мы примем на борт еще тридцать восемь пассажиров.

Лео задал слишком много вопросов зараз, и хотя капитан не улыбался, у нас с Лео было одинаковое ощущение: этот человек был влиятельным и много знал. И еще кое-что: он хотел стать нашим другом.

– А теперь спускайтесь в столовую, – приказал он нам. – Там уже начали подавать ужин.

Я взяла инициативу в свои руки, и Лео последовал за мной в столовую первого класса. Когда он замешкался у двери, настала моя очередь взять его за руку.

– Меня вышвырнут отсюда, Ханна!

Когда я открыла огромную дверь, украшенную симметричными зеркалами, листьями и цветами, нас ослепил яркий свет: полированное дерево и огромные каплевидные люстры, сверкающие как бриллианты. Лео не верил своим глазам. Мы находились в плавучем дворце посреди моря.

Приветливый стюард, одетый в белое, как морской офицер, указал наши места, и я увидела, как мама машет нам рукой от главного стола, будто благодаря своих поклонников.

Папа, как истинный джентльмен, торжественно встал и протянул руку Лео, который робко принял ее и слегка поклонился маме.

– Тебе нужно как следует поесть. Нам еще долго плыть. – Богиня вернулась, и ее речь напоминала ясную шелковистую гладь.

Я не знала, когда она нашла время переодеться и заново накраситься. В простом розовом хлопковом платье без рукавов она походила на школьницу. Мама сменила жемчужные серьги на пару бриллиантов, сверкавших при каждом движении головы. Папа так и оставался в сером фланелевом костюме и галстук-бабочке.

Большой стол, стоявший в конце комнаты, был заставлен тарелками со всякой всячиной: хлебом, лососем, черной икрой, тонко нарезанными ломтиками мяса и разноцветными овощами. Это был

«легкий фуршет», предложенный командой «Сент-Луиса» после отплытия из Гамбурга.

Стюард подал маме ее любимое шампанское. Лео и я получили теплое молоко, чтобы мы лучше спали. Папа снова выпятил грудь, и его лицо приняло выражение, говорившее, что ему комфортно в нынешней обстановке. Четверо мужчин вышли из-за стола, за которым сидели вместе с семьями, и подошли поприветствовать отца, называя его профессором Розенталем. Он поднялся на ноги и вежливо протянул им руку. Последнего он обнял, похлопал по спине и сказал что-то, чего никто не расслышал. Мужчины также издали поприветствовали маму. Она улыбнулась в ответ, не вставая с венского стула и держа в правой руке бокал, полный пузырьков.

Было довольно жарко. Мама достала носовой платок и промокнула им лицо, чтобы пот не испортил макияж. Два члена команды раздвинули красные бархатные шторы и открыли несколько окон. Подувший с палубы ветерок разогнал спертый воздух и рассеял запах копченой рыбы и мяса, который начинал вызывать у меня тошноту.

Стюард пришел спросить Лео, не желает ли он еще чего-нибудь, называя его «сэр». Даже не знаю, что больше встревожило моего друга: то, что его называли «сэр», или то, что кто-то обращается к нему в такой манере. Лео не ответил, и стюард продолжил обходить стол, принимая заказы. Было очевидно, что Лео не привык к хорошему обращению, особенно со стороны того, кто принадлежал к чистой расе.

– Ты в это веришь? – прошептал он, наклонившись так близко к моему уху, что я подумала, что он собирается поцеловать меня. – *Огры нам прислуживают!*

Он захихикал, поднимая свой стакан с теплым молоком, чтобы произнести тост:

– За вас, графиня Ханна! Это будет долгое и замечательное путешествие!

Я громко рассмеялась, чем вызвала мамину улыбку.

– Да, Лео, пей теплое молоко, тебе полезно, – ответила я голосом ворчливой старой графини.

За соседним столом четверо молодых людей тоже высоко подняли свои бокалы. Папа улыбнулся им и слегка кивнул, принимая участие в их тосте на расстоянии. Мы с Лео наблюдали за всем, стараясь не хихикать.

– Завтра мы так повеселимся! – радостно прошептал он, допив молоко залпом.

13 МАЯ 1959 Г.

ДВА ДРУГИХ СУДНА, АНГЛИЙСКАЯ ОРДУНА
И ФРАНЦУЗСКИЙ ФЛАНДР С ТАКИМИ ЖЕ
ПАССАЖИРАМИ, ДЕРЖАТ КУРС НА ГАВАНУ.
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЮ ИДТИ ПОЛНЫМ ХОДОМ.
ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, ВАШИ
ПАССАЖИРЫ СМОГУТ ВЫСАДИТЬСЯ. НЕТ ПРИЧИН
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА.

Телеграмма от компании «Гамбург – Америка Лайн»

Понедельник, 15 мая

Я чувствовала себя потерянно. Когда я проснулась, я услышала звуки скрипки, играющей интермеццо одной из опер, которые папа обычно слушал дома по вечерам. Я еще не проснулась. Мы снова были в Берлине. Огры были всего лишь кошмарным сном, вызванным взбудораженным воображением.

Мне привиделось, что я лежу у ног отца рядом с граммофоном. Он гладит меня по голове, ерошит мне волосы, рассказывая мне об оперной героине Таис, куртизанке и жрице в могущественной египетской Александрии. Ее хотели лишиться имущества и заставить отречься от богов, которым она всегда поклонялась. Ее заставили перейти через пустыню, чтобы расплатиться за грехи.

Я открыла глаза и увидела, что нахожусь в своей каюте. Двери в папину были открыты, и я заметила граммофон. Он читал в постели, слушая симфоническое интермеццо «Размышление» из оперы «Таис», как в старые добрые времена. Оркестровая музыка заслонила весь остальной мир.

Нас отправят обратно в Берлин, потому что мы взяли с собой граммофон! Я была уверена, что он значился в списке нашего квартирному имуществу, который нас заставили составить. Кому пришла в голову такая глупая идея – взять его с собой? Мама никогда не простит папу. Она расплатится и будет обвинять меня тоже, без конца повторяя, что нам нужно скрыться. Возможно, она попыталась бы отравить меня той ужасной капсулой, которую папа заставил ее купить у отца Лео.

Но мама вошла в мою каюту, выглядя бодрее, чем когда-либо. Если граммофон не беспокоил ее, если она не считала, что нас отправят обратно из-за папиной безответственной любви к музыке, это значило, что мы в безопасности.

Она выглядела сияющей и еще более элегантной. Необходимость стряхнуть с себя вялость последних четырех месяцев, чтобы добыть нам разрешения, прочесав пыльные улицы Берлина, заполненного ограми, марширующими в отвратительном единодушии, сотворила с ней чудеса. На ней были длинные свободные брюки из габардина цвета слоновой кости, синяя хлопчатобумажная блузка, подходящий по цвету

тюрбан, шарф, повязанный вокруг шеи, и пара темных очков в черепаховой оправе, чтобы защититься от солнца на палубе. На левом предплечье поблескивал широкий золотой браслет, а на правой руке ослепительно сияло обручальное кольцо.

Богиня во всем своем великолепии.

– Ты можешь идти куда хочешь, кроме машинного отделения, – сказала мне мама. – Это опасно. Иди резвись, Ханна. Папа останется здесь читать. Сегодня прекрасный день.

С видом, будто корабль принадлежал ей, мама вышла из каюты, впервые за много месяцев желая вдохнуть свежего воздуха.

Мы все еще были в Европе. Вдруг до меня донесся шум из другого порта. Я жаждала оказаться в открытом море, но меня раздражали проносящиеся мимо нас чайки, запах рыбы и засохшей крови вместе с запахом ржавчины и смазки от двигателей, а также гул приближающихся к причалу и отплывающих от него кораблей.

Выйдя на палубу, я увидела маму у перил. Ей подавали чай, а она смотрела вниз на французский порт Шербур, внимательно наблюдая за тридцатью восемью пассажирами, поднимающимися на борт. Очевидно, она не узнала ни одного из них, потому что отошла к одному из шезлонгов по правому борту.

Я не думала, что она подружится с кем-то из других женщин в первом классе. Она наблюдала, как они проходят мимо, достаточно дружелюбно приветствовала их, но затем поправляла свои темные очки и больше не обращала на этих элегантных женщин внимания, даже если они хотели бы присесть рядом с ней. Она наслаждалась одиночеством. То, что она провела все эти месяцы в заточении за закрытыми ставнями, не выходя на улицу, чтобы повидаться с друзьями, сделало ее асоциальной.

Я знала, что морской воздух пойдет маме на пользу. Она выглядела свободной и могла носить свои лучшие наряды, демонстрировать свои драгоценности, иметь всегда под рукой кого-то из персонала. Но она, казалось, не спешила снова пойти в бальный зал. Когда прошлым вечером мама открыла туда дверь, она увидела на задней стене красно-бело-черный флаг. Ее лицо исказила гримаса отвращения, которое заметила только я, и она ушла, не сказав ни слова. Она пошла прямо к капитану. Никто не знает, что она сказала, но факт остается фактом:

к утру флаг исчез. Первое, что она сделала еще до завтрака, – отправилась в бальный зал, чтобы узнать, сдержал ли капитан свое слово.

– Пока мы в море, он будет заботиться о нас, – сказала она позже. – Он настоящий джентльмен.

Корабль задрожал, и раздался еще один гудок. Теперь мы действительно были в пути. Спрятавшись за темными очками, мама улыбалась спокойно, как никогда раньше.

Лео подкрался ко мне сзади и закрыл мне глаза. Его руки были влажными. Я включилась в игру и спросила, не папа ли он.

Расхохотавшись, он изо всех сил дернул меня за руку. Лео всю хозяйничал в первом классе. Он приходил и уходил с нашей палубы, как будто был ее властелином и хозяином. Он больше не боялся, что его отправят обратно к отцу в каюту туристического класса. Его место было здесь, со мной. Капитан и все стюарды знали это.

Мне нравилось видеть Лео нарядно одетым. В коричневом пиджаке с большими пуговицами и нагрудными карманами он казался старше, но короткие брюки и длинные чулки выдавали его возраст.

Он отступил назад, чтобы я могла составить свое мнение, и развел руки в стороны, как бы спрашивая, что я думаю о его трансатлантическом костюме, и нетерпеливо ожидал моего вердикта. Я оглядела его с ног до головы, не говоря ни слова. Мое молчание было для Лео мучительным, и он отчаянно воскликнул:

– Ты что, так и не скажешь мне, как я выгляжу?

– Как самый настоящий граф, – передразнила я его, и Лео захихикал.

– А ты единственная графиня на борту, Ханна, – ответил он, прежде чем отбежать в сторону и начать осматривать первый класс.

Если кто-то прислонялся к перилам, он извинялся и ждал, пока ему освободят место: он ни в коем случае не хотел менять запланированный порядок тщательного изучения корабля, на котором нам предстояло провести еще две недели.

Я следовала за ним, как его верный спутник. В первый раз я видела его счастливым.

15 МАЯ 1939 Г.

СОКРАТИТЕ ОСТАНОВКУ В ШЕРБУРЕ.

СЛЕДУЕТ ВЫХОДИТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ПОЛНЫМ
ХОДОМ.

В ГАВАНЕ НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА.

Телеграмма от компании «Гамбург – Америка Лайн»

Среда, 17 мая

– Я здесь уже несколько часов, – сказал Лео, прислонившись спиной к одной из железных колонн на террасе.

– Смотри, я принесла тебе печенье. Я должна была оставить его до вечера.

– В машинное отделение!

– Что? Лео, мне ведь запретили туда ходить!

Несколько пар прохаживались по прогулочной палубе, выясняя, где что находится. Здесь был салон красоты, небольшой магазинчик, продающий сувениры с корабля, открытки и шелковые платки. Я не думала, что кто-то захочет истратить на что-то подобное десять рейхсмарок, которые нам разрешили вывезти из Германии.

Мы спустились на шесть уровней вниз, а затем прошли по длинному коридору, который закончился тяжелой железной дверью. Когда Лео открыл ее, раздался оглушительный шум, а от запаха горелой смазки меня затошнило. Прислонись я к стене, я бы испортила свое сине-белое платье в полоску. Но мне не хотелось расстраивать маму.

Лео с любопытством разглядывал сложный механизм, который приводил в движение гиганта, на котором мы плыли. Была бы его воля, он бы часами наблюдал за поршнями, движущимися вперед и назад с точным, неизменным ритмом. Но неожиданно Лео покинул свой наблюдательный пост.

– Давай вернемся к остальным! – крикнул он мне, и его голос поглотил шум двигателей. И он пустился бежать.

У Лео уже появилось несколько друзей на «Сент-Луисе». Казалось, он уже пробыл на борту несколько месяцев. Мы поднялись на четвертую палубу, где находилась группа мальчишек, которые нетерпеливо ждали нас – точнее, Лео.

Высокий мальчик с глупым выражением лица встал, когда Лео подошел к ним. Он был в надвинутой на глаза кепке, а его щеки разругались от холодного воздуха.

– Эдмунд, ты простудишься! – крикнула его мать, сидевшая под одним из палубных навесов, закутавшись в толстое коричневое одеяло.

Эдмунд не обратил на нее никакого внимания, только топал ногой, как ребенок, который вот-вот закатит истерику.

Там были еще два мальчика. Как сказал мне младший, представившийся Вальтером, они приходились друг другу братьями. Его старший брат Курт, впрочем, проигнорировал меня. Они оба были одеты в шляпы и казавшиеся огромными куртки, как и их обувь и чулки, свободно болтающиеся у лодыжек. Я догадалась, что родители купили им одежду для путешествия на несколько размеров больше, чтобы она прослужила несколько месяцев на Кубе и, вероятно, там, куда они направятся после.

– Так ты и есть знаменитая Ханна, та самая «немецкая девушка», – лукаво заметил Вальтер. Я поняла, что он был моим ровесником или, может быть, немного старше.

Я сделала вид, что не услышала его. Лео попытался завязать разговор, начав описывать корабль: его воронку, мостик, мачту, которая была самой высокой частью корабля, разницу между левым и правым бортом. Он говорил о капитане так, будто тот был его близким другом, с которым он советовался каждый вечер насчет того, какие решения следует принять, а на следующее утро первым делом претворить их в жизнь.

Я знала, что рано или поздно кто-нибудь обязательно упомянет «немецкую девушку». Эта жалкая обложка, судя по всему, будет преследовать меня всю жизнь. Да, я была немецкой девушкой – и что с того? Мне хотелось сказать ему: *«Может, я и немка, но я вне закона, как и ты»*.

– А ты знаешь, что на корабле есть бассейн? – спросил Курт, то и дело стараясь убрать кепку с глаза. – Когда мы дойдем до середины Атлантики, будет не так холодно, и они откроют его. Вы взяли с собой купальные костюмы?

Глуповатый мальчик предложил пойти поиграть на прогулочной палубе, но Лео его не слушал. Мы все были просто свитой самого популярного пассажира на «Сент-Луисе». Именно он все контролировал и отдавал приказы. Ему не хватало только белой фуражки с черным козырьком, как у капитана. И поэтому мы все проигнорировали предложение Вальтера.

В действительности мы только и делали, что перебежали с одного места на другое, но Лео все равно смог хорошо изучить корабль. Он уже запомнил лабиринты, ведущие к каютам, бальным залам, спортзалу и к капитанским рубкам, где команда собиралась вместе, чтобы

поиграть в карты и покурить. Лео без ограничений забирался в самые невообразимые места. И никто его не останавливал.

Дети образовали группы по возрасту. Самые маленькие оставались под присмотром. Девочкам и в голову не пришло бы составить компанию мальчикам, и я подумала, что они, должно быть, смотрели на меня косо, потому что я входила в компанию Лео. Вальтер оказался более неуклюжим из братьев: с момента нашего знакомства он падал, терял шапку и отставал так часто, что мы уже хотели бросить его. И тут он столкнулся с одной из чванливых девчонок, притворяющихся подростками.

– Смотри, куда идешь, если не хочешь неприятностей, – сказала самая высокая из них. На ней были смешная матросская шапочка и темные очки, которые норовили сползти с ее носа. – А ты, что ты делаешь с этой бандой головорезов? Почему бы тебе не остаться здесь, с нами? Фрау Розенталь будет недовольна, если узнает, что ты ходишь с этими мальчишками.

На мгновение я остановилась, не потому что мне хотелось дружелюбно ответить этим девушкам, которые воспитывались с единственной целью удачного замужества, а потому что устала от всей этой беготни. Лео сможет найти меня позже.

Фамилия девушки в темных очках была Саймонс. Ее семья владела несколькими магазинами в Берлине. Чтобы не потерять свое состояние, они передали право собственности на свой бизнес «чистому» немцу, который состоял с ними в родстве. Однако в итоге они, как и мы, в последний момент бежали на Кубу.

Мама была знакома с Иоганной Саймонс, матриархом семьи. Однажды они вместе ездили в Париж за покупками, и после этого мне пришлось пару часов, показавшихся вечностью, дружелюбно болтать с их дочерью Инес в чайном кафе «Адлона», пока наши матери обсуждали шторы, фасоны и цвета сезона. С тех пор Инес подросла, и я ее не узнала.

– Пойдем в буфет. У них там есть печенье и пирожные, – сказала она и пошла в полной уверенности, что мы все последуем за ней.

Буфет выглядел так, будто им никогда не пользовались. Как можно было содержать в таком идеальном состоянии огромный корабль, который перевозил тысячи пассажиров за рейс и находился в море несколько месяцев в году? Ковры были превосходно вычищены.

Позолоченная тесьма на стульях была как новенькая, кружевные скатерти без единого пятнышка, серебряные ложки отполированы и украшены гравировкой с эмблемой компании «Гамбург – Америка Лайн». Освещение, которое было довольно тусклым в это время дня, отбрасывало на нас бледно-розовое сияние. Мама сказала бы, что при таком освещении каждый может выглядеть красиво.

– Вот такие мы, немцы, – с гордостью сказала Инес, оглядывая комнату.

О, Инес. Немцы? Мне захотелось крикнуть на нее:

– Пора тебе перестать думать, что ты одна из них. Лучше вспомни, где ты находишься!

Мы собирались начать новую жизнь в отдаленном уголке Карибского моря, откуда весь остальной мир казался не более чем надеждой, которую мы не могли иметь.

– В Гаване, – сказала она, – мы будем проездом с семьей Розенталь. Мама сказала, что сначала мы поедem на несколько дней в отель «Насьональ», а потом поселимся в Нью-Йорке. – Инес жила фантазиями фрау Саймонс. Она всегда витала в облаках, говорила мама.

В дальнем конце комнаты сидела молодая, чрезвычайно печальная женщина. Она держала в руках чашку с чаем, но ни разу не поднесла ее к губам и не поставила на стол. В темном платье она выглядела немного старше, чем, вероятно, была, но мне было трудно судить об этом, поскольку волосы частично скрывали ее глаза. Вероятно, ей было около двадцати лет.

– Теперь ей будет трудно найти мужа, – заявила Инес, как если бы она была экспертом, у входной двери которого стояла очередь из женихов. – Ее зовут Эльза. Мама говорит, что у нее очень хорошенькие ножки, но девушка вряд ли может считаться очень красивой, если комплименты звучат только ее ногам, правда же?

Две другие девушки рассмеялись над ее шуткой, попивая чай. Я хотела уйти оттуда, это было хуже, чем играть с куклами. К счастью, в этот момент в дверях появился Лео. Он искал меня и подал знак, чтобы я шла за ним. Мой спаситель! Нельзя было терять время: у нас оставалось меньше двух недель на корабле, месте, где мы могли делать все, что захотим.

Рядом с шезлонгами были оставлены экземпляры «Штурмовика». Можно было подумать, что мы не нравимся кому-то из членов команды или нас пытаются запугать. Я, например, не собиралась читать заголовки, но Лео взглянул на них и внезапно стал серьезным.

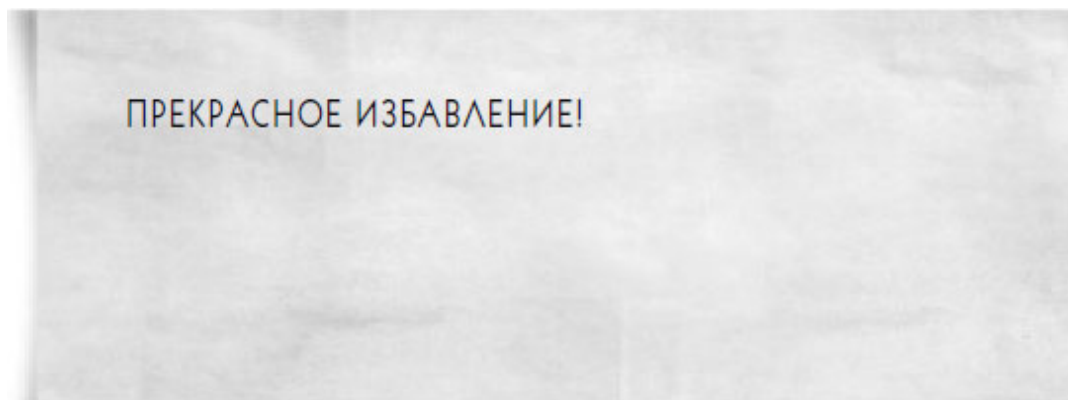
– Они нападают на нас в Берлине, – сказал он, взяв свой обычный заговорщический тон, и пошагал дальше. – О нас пишут в газетах. Это плохо кончится. Тех, кто отплыл на «Сент-Луисе», обвиняют в краже денег и разграблении произведений искусства.

Лео, пусть они говорят, что хотят. Нам удалось уехать, они не могли заставить нас вернуться. Мы находились в международных водах и скоро прибудем на остров, где нам разрешили остаться на неопределенное время, хотя многие из нас пробудут в тропиках всего несколько недель.

Мы будем ждать того часа, когда в списке ожидания появится магический номер, чтобы мы, с нашими иммиграционными визами, могли въехать в Нью-Йорк, на самый настоящий остров.

Чуть позже мы с Лео заметили, как капитан негромким голосом отдавал распоряжения стюардам.

Они быстро начали собирать все газеты. Лео встал по стойке «смирно» и отдал честь. Капитан улыбнулся ему и поднял руку к козырьку.



**Заголовок в немецкой газете «Штурмовик»
Май 1939**

Четверг, 18 мая

Единственными людьми, с которыми мама чувствовала себя комфортно на борту, были Адлеры, хотя они, возможно, были немного староваты для вечерних развлечений. Их каюта находилась через две двери от нашей, и каждый раз, выходя на палубу, мы должны были здороваться с ними. С момента своего появления на борту герр Адлер отказывался вставать с постели. Еду ему приносили, но он к ней почти не прикасался. Миссис Адлер очень беспокоилась: она никогда не видела его в таком состоянии.

– Решение отправить сына и невестку в Америку оказалось для него очень трудным. Он до сих пор не оправился от разлуки, – сказала нам миссис Адлер. – Он думал, что через несколько месяцев все успокоится, но ситуация только ухудшилась. Мы потеряли все. Всю нашу жизнь!

Разговаривая с нами, миссис Адлер прикладывала холодные компрессы ко лбу этого старого белобородого мужчины, который даже не открыл глаза за все время, пока мы там находились. Мы наблюдали, как его жена нежно ухаживает за ним. Теперь она мазала его ментоловым маслом, от которого у меня на глазах выступили слезы.

– Он согласился поехать только потому, что я настояла. После нашего отъезда из дома он без конца повторял, что эта поездка не имеет смысла и что у него не хватит сил, чтобы начать все сначала.

Миссис Адлер выглядела как героиня старой книги. Ее волосы были собраны в высокую прическу, а под длинным платьем она носила подъюбник, а также корсет, как женщина прошлого века. Всякий раз, когда мы приходили в гости, она дарила мне подарки, которые мама разрешала оставлять. Иногда это был кружевной платочек, иногда – маленькая позолоченная брошь или мое любимое печенье в сахарной глазури. Бог знает, где она умудрялась его достать, ведь оно давно исчезло с прилавков магазинов.

Мы внимательно слушали, как миссис Адлер рассказывала их историю. В каком-то смысле это касалось всех нас.

– Все мы чего-то лишились, – сказала миссис Адлер и замолчала, печально улыбнувшись. – Практически всего.

Адлеры дожили до восьмидесяти семи лет, и, на мой взгляд, у них не было причин жаловаться. Целых восемь десятилетий и семь лет. Это мы, дети, у которых вся жизнь была впереди, были обречены на страдания.

Физическая слабость супругов становилась очевиднее с каждым часом. Старик неподвижно лежал в постели: миссис Адлер, совсем одна, наблюдала за тем, как любовь всей ее жизни – человек, который был для нее огромной поддержкой, – медленно уходит, пока корабль плывет к острову, призванному стать нашим спасением. Это было единственным решением, которое они могли найти в том возрасте, когда остается надеяться только на спокойную жизнь, чтобы иметь возможность со всем проститься.

– Мы жили иллюзиями и очнулись слишком поздно, – сказала мама, не ожидая никаких комментариев от миссис Адлер, которая к этому времени слушала только себя. – Мы должны были понять, что нас ждет, и давным-давно уехать.

Я не хотела, чтобы мама грустила. На борту «Сент-Луиса» она снова стала прежней, в то время как папа искал отдушину в музыке – единственный верный путь к спасению, благодаря которому он оставался в здравом уме. Старушка должна была держать свои печальные мысли при себе.

– Куда уехать, Альма? – с напором произнесла миссис Адлер. – Мы не можем тратить свою жизнь, постоянно начиная все сначала. Одно поколение сменяется другим, и они уничтожают нас. Мы начинаем все сначала, и они снова уничтожают нас. Неужели это наша судьба?

Обе женщины посмотрели на меня, внезапно осознав, что я нахожусь в комнате и внимательно слушаю их разговор. Однако им не стоило беспокоиться: меня не пугал их пессимизм. Они прожили свою жизнь. А моя только начиналась, и у меня был Лео. Кошмарные события остались позади.

Мистер Адлер задрожал. Из-за надрывного кашля его тяжелое, но слабое тело корчилось. Он вскоре должен был умереть. Казалось, он не может дышать. Нужно было вызвать врача. У всех присутствующих был очень озабоченный вид.

– У него бывают такие приступы, – сказала миссис Адлер, которая, очевидно, привыкла к ним. – Ты иди, посмотри на море.

Они с мамой обнялись, не целуясь. Печаль оставила их: было очевидно, что они сочувствуют друг другу.

Я побежала в коридор, но услышала, как мама зовет меня, будто я снова стала маленькой девочкой. Но она прекрасно помнила, что через несколько дней мне исполнится двенадцать лет.

– Ты ведь не уйдешь не попрощавшись?

Я улыбнулась издали бедной миссис Адлер, чего оказалось вполне достаточно. У бедной женщины совершенно не было возможности насладиться путешествием.

С каждым днем солнце палило все сильнее, и солнечные лучи били в иллюминаторы нашей каюты. Должно быть, мы приближались к тропикам. Как жаль, что Адлеры жили в темноте.

Они превратили свою каюту в похоронное бюро: занавески задернуты, атмосфера мрачная, в воздухе пахнет ментоловым маслом и спиртом, который применялся, чтобы сбить жар. В каюте слышится только тяжелое дыхание немощного старика, который сел на корабль только для того, чтобы умереть.

По палубе ехал мужчина на роликовых коньках, а за ним бежала толпа детей. Когда он проносился мимо, словно на катке, а не на скользкой палубе, мне казалось, что он может упасть в любую секунду. Он ехал с огромной скоростью, и мы беспокоились, что он может врезаться в перила, но в последний момент он всегда притормаживал носком ноги и останавливался, как будто ожидая аплодисментов. Затем он поднимал руки и преувеличенно кланялся.

Дети бросились к нему, пытаясь сбить его с ног. Лео засмеялся. Мужчина танцевал, как цирковой клоун. Рой мальчиков и девочек следовал за ним повсюду, и он явно очень гордился своей ловкостью, которая казалась настоящим достижением, ведь здесь было не так много примечательного.

– Нам нужно научиться кататься на роликах! – объявил Лео.

По его тону я поняла, что это очень важно: мне нужно принять это к сведению и осуществить в Гаване.

– Господин Розенталь и мой отец разговаривают с капитаном. Как ты думаешь, это из-за сложностей с кораблем? Он не утонет, как «Титаник»? – спросил Лео тоном, которым рассказывают страшилку, в которую даже не верят.

– Лео, сейчас май. Мы посреди Атлантики, далеко от любых айсбергов.

Он отвел меня в угол, подальше от пассажиров в шезлонгах. Все, к чему я прикасалась на корабле, было липким от морской соли.

Мы сели за спасательными шлюпками с эмблемой судоходной компании «Гамбург – Америка Лайн», которой принадлежал «Сент-Луис». Я была уверена, что, если мы потерпим кораблекрушение, их не хватит на тысячу пассажиров.

– Я тебе кое-что дам, – пробурчал Лео.

Он всегда так менял темы. Я не могла оторвать от него глаз, когда он говорил со мной. Я всматривалась в его глаза, пытаюсь понять, о чем он думает. Я была счастлива от того, что он полностью посвящает себя мне, как в те дни, которые мы проводили вместе в Берлине. Но я не могла угадать, о каком предприятии он мечтает сейчас и чего хочет. Должно быть, у него есть план.

– Папа обещал подарить мне мамино обручальное кольцо. Оно стоит столько, что мы могли бы спокойно жить на Кубе, но я хочу оставить кольцо для тебя, Ханна. Нужно убедить отца отдать его мне как можно скорее. Если что-нибудь случится с нами, оно должно быть у тебя. Мы сможем его подогнуть под размер твоего пальца.

Лео сказал все это, не глядя на меня. Застенчиво опустив голову, он принялся мять себе руки, дергая за костяшки, как будто хотел вырвать их.

Означало ли это, что мы помолвлены? Я не решилась спросить его, но в то же время не могла скрыть своего восторга. Должно быть, он видел, как сияли мои глаза.

– Спасибо, – сказала я по-немецки, когда он положил руки мне на плечи.

– Теперь ты должна говорить по-испански. Никакого «данке», говори «грасиас», хорошо? – Иногда Лео принимался говорить со мной как отец, наставляющий свою маленькую дочь.

– Спасибо, начнешь говорить по-испански? – спросила я его на испанском, зная, что он ничего не поймет, если я скажу эту фразу с отличным произношением, которое я отточила за многочасовую практику.

Он повторил «грасиас», выделив g и s в очень комичной манере. Я расхохоталась: Лео был единственным человеком на борту, благодаря

которому я могла забыть о прошлом, потому что он был таким настоящим. Из динамиков зазвучала нежная мелодия. Сначала я смогла разобрать только несколько тактов и не узнала музыку.

Этот короткий счастливый разговор быстро закончился, поскольку Лео был чем-то обеспокоен. Наши отцы все еще находились на мостике с капитаном, и они не подпустят его близко. Они даже старались не разговаривать при нем. Вероятно, они понимали, что он прислушивается к любой детали: Лео всегда был начеку, а потом приходил ко мне со своими версиями и полуправдой.

Когда Лео прервался, я смогла рассмотреть его, не взбудоражив. Он вытянулся, челюсть стала более выраженной, а глаза стали еще больше. Музыка заиграла громче: это была «Серенада лунного света» оркестра Гленна Миллера, которая была очень популярна в Берлине.

– Это американская музыка, Лео! – воскликнула я, тряхнув его за плечи, чтобы он перестал грустить. Возможно, он испытывал ностальгию по всему тому, что мы оставили. Или, быть может, он скучал по матери. – Они приветствуют нас, Лео! Америка принимает нас с распростертыми объятиями!

Я услышала тромбоны, затем вступление струнных. Поднявшись, я начала напевать мелодию.

– Давай напишем слова к этой музыке, – предложила я, но Лео ничего не ответил.

Серенада в серебристом лунном свете, которая там, на палубе, звучала только для нас двоих. Давай придумаем слова. Я начала кружиться с закрытыми глазами, позволяя себе увлечься звуками, которые неслись над океаном.

Лео взял меня за руку. Я открыла глаза и увидела, что он улыбается и медленно кружится вместе со мной. Наши движения повторяли покачивания корабля. Я снова дала себе волю, и ветерок взерошил мне волосы. Ну и что с того? Мы танцевали. Я слушала ритм. Я не знала, кто из нас вел. Мелодия вот-вот должна была закончиться. Ноты удлинялись. Да, это был конец.

Теперь мы слышали только гудок, говорящий нам, что пришло время идти ужинать.

«В соответствии с Декретом 937, подписанным президентом Республики Куба Федерико Ларедо Бру, въезд на Кубу ограничен для всех иностранных граждан. Для въезда в страну необходимо внести залог в размере 500 песо, также необходима виза, выданная кубинским консульством за рубежом, и виза, выданная Министерством труда и социального обеспечения, а не только иммиграционной службой. Все ранее выданные документы настоящим объявляются недействительными».

Май 1939 года
«Газета де ла Куба»

Пятница, 19 мая

Прошлая ночь выдалась трудной. Мы едва не потеряли маму. Я понимала, что должна быть готова к этому. Я могла потерять мать в любой момент и стать сиротой внезапно, еще до того, как мне исполнится двенадцать. Но такого не могло быть. Мама не могла поступить так со мной, тем более в день моего рождения, потому что тогда во все последующие праздники я бы вспоминала ее и меня охватывала бы печаль.

Папа допоздна засиживался с капитаном в его каюте, и эти таинственные встречи беспокоили маму. Отец всегда возвращался сгорбленным, с поникшими плечами: мужчину, который когда-то был самым элегантным в Берлине, сейчас кренило к земле, как изможденного горбуна.

Маме было плохо всю ночь. Мне пришлось оставить ее одну в ванной, я не могла вынести ее вида: казалось, она разваливается на куски.

– Ничего страшного. Иди спать. Утром я все объясню.

Очевидно, она знала что-то, о чем не решалась мне сказать. Что мы потеряли все наши деньги? Что огры готовятся к вторжению в Америку и скоро пересекут Атлантику? Что у нас не осталось никакого выхода и они будут поджидать нас в порту Гаваны?

Даже через закрытую дверь я слышала, как ее рвало. Согнувшись над унитазом и сотрясаемая внезапными приступами тошноты, она выглядела такой хрупкой, что испугала меня.

Невыносимая вонь проникала из туалета в ее каюту, а затем и в мою. Я накрыла голову подушкой, чтобы закрыться от звуков рвоты и запаха. В конце концов я заснула.

На следующее утро все выглядело так, будто ничего не произошло. Мама была бледной и, возможно, с более тщательным макияжем, чем обычно. Она вымыла волосы и надушилась тонкими, незнакомыми мне духами. Этот новый аромат, смешанный с запахом морской соли, озадачил меня так же сильно, как и ее чудесное выздоровление. Мама поняла это и попросила меня и папу сесть рядом с ней. Ни духи, ни запах ее мыла, ни средство для волос не могли стереть ночной запах зловония из моей памяти.

– У меня есть для тебя новость, – сказала она приглушенным голосом.

Это была хорошая новость. Обязательно должна быть хорошая. И в этот момент я вспомнила, что перед тем, как мы поднялись на борт, она обещала мне сюрприз. Встреча с Лео заставила меня забыть о мамином обещании что-то мне рассказать.

Она посмотрела на папу, а затем перевела взгляд на меня. *Просто расскажи нам свою новость, мама!*

– Я ждала до сегодняшнего дня, потому что хотела быть совершенно уверена.

Мама снова сделала паузу. Затем посмотрела на нас с озорным блеском в глазах, будто приглашая нас отгадать загадку.

– Ханна, – сказала мама, глядя на меня и не замечая папу, – ты больше не будешь единственным ребенком!

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она пытается мне сказать.

Мама в положении! Вот почему ей было так плохо! Она не беспокоилась из-за встреч папы с капитаном – это были мужские дела. У меня будет братик или сестренка!

– Где родится ребенок? – единственный вопрос, который я придумала задать.

Как глупо с моей стороны. Мне следовало сказать что-то более подходящее для девочки моего возраста. Я должна была проявить эмоции, подскочить к маме и обнять ее. Трубить повсюду: «Я больше не буду одна в семье! Как чудесно!»

Закономерность, по которой в семье Штраус всегда было не больше одного ребенка, нарушилась.

Новый Розенталь присоединился к сообществу нечистых. Папа наклонился, чтобы нежно поцеловать маму, но также без выражения эмоций.

– Мы еще не знаем, на сколько останемся в Гаване. Ребенок родится в конце осени.

Мама была счастлива, что ребенок не родится немцем. Она собиралась избавиться от этого рокового груза, который ее семья несла из поколения в поколение и который теперь исчез, как по волшебству.

– Сегодня вечером мы будем проходить мимо каких-то океанских островов. Будет видна береговая линия, – сказала я, чтобы нарушить

тишину, возникшую из-за этой неожиданной новости. Родители посмотрели на меня так, будто не поняли. Или как будто думали: «Она точно наш ребенок?»

Папа подошел к маме сзади и, притянув ее к себе, обнял. Мой комментарий остался без ответа. Они уже знали, чего ожидать от меня: я была глупым ребенком. Но они не должны были слишком расстраиваться: скоро родится новый Розенталь, который оправдает их ожидания. Иногда мне казалось, что это я родилась по ошибке.

Я была им не нужна. Новый вопрос, который подняла мама, родители должны были решать вдвоем, так что мне было лучше оставить их наедине с новым ребенком. Я взяла фотоаппарат и вышла на палубу.

– Господин Адлер все еще болен, – напомнила мне мама, хотя она и не думала, что я пойду и поприветствую их сама.

Я попыталась сфотографировать пассажиров второго класса, но увидела, что камера их нервирует. Некоторые выглядели испуганными, другие принимались позировать, когда видели, что я наводила на них фокус, и это портило впечатление, которого я пыталась добиться. В первом классе дело обстояло даже хуже: семьи бесконечно поправляли одежду, а некоторые женщины даже просили меня подождать несколько секунд, пока они поправят макияж. Единственный человек, который не позировал, был Лео. Если он замечал, что я хочу его снять, он останавливался, чтобы снимок не получился смазанным.

Я сфотографировала Лео с отцом. Господин Мартин с усталым видом сидел в кресле, укрыв ноги серым одеялом. С последней нашей встречи он постарел. Рядом с ним улыбался Лео, обнимая отца за талию.

– Кольцо будет твоим, папа обещал мне, что в Гаване отдаст его мне, – торопливо проговорил Лео. Он частенько говорил путано, и, казалось, только я могла его понять.

– У меня будет брат. Мама на третьем месяце. – Сменив тему, я ушла от необходимости благодарить его за кольцо и смогла избежать неловкого момента.

– Еще один рот, который надо кормить, – был его ответ.

На этот раз я ждала поздравлений, чего-то вроде того: «Здорово, у тебя будет братик или сестра!», но, как всегда, Лео проявил практичность и сразу перешел к сути.

Мы первыми поднялись на прогулочную палубу, когда по громкоговорителям объявили, что мы приближаемся к Азорским островам.

Мы с Лео встали с моими родителями у перил на левом борте и смотрели на показавшиеся вдали острова. Никто не кричал: «Земля прямо по курсу!», как обычно делали герои приключенческих книг, которые мне доводилось читать. Палубы были заполнены пассажирами, вглядывавшимися в даль в мрачном молчании.

Воздух был морозным: наступала ночь. Несмотря на то что Лео клятвенно пообещал, что скоро откроют бассейн, я не могла представить, что кто-то рискнет залезть в воду при таком холодном ветре. До тропиков, где можно было бы загорать, еще было слишком далеко.

У меня началась морская болезнь – то ли оттого, что я слишком долго смотрела вдаль, то ли от известия о том, что скоро родится ребенок. Я вдруг обнаружила, что мне приходится держаться за поручень, чтобы не потерять равновесие.

Чем ближе мы подходили к островам, тем сильнее мне казалось, что корабль качает то в одну, то в другую сторону.

Мама прислонилась к папе. Она чувствовала себя под защитой самого сильного мужчины в мире. Папа прижал ее к себе, но в его глазах мелькнуло что-то, похожее на тревогу. Я попыталась угадать его чувства. О чем отец мог думать, что его беспокоило – чувствовал ли он себя больным или измотанным, или его одолевало сожаление о том, что ему пришлось бороться все это время, и он был готов сдаться. Я не знала, почему ему страшно, ведь мы были вместе. *Мы в безопасности, папа. Нам удалось бежать. Германия все дальше и дальше от нас.*

Мы на полной скорости пронеслись мимо Азорских островов. Когда мы увидели, что они начали удаляться от левого борта, возникло ощущение упущенной возможности, как будто безопасный путь к свободе теперь был недоступен. Каково было бы жить там, вдали от огров? Нам следовало бы купить визы на Азорские острова.

Мы могли бы стать их новыми жителями. Конечно, мы бы изменили их название. Вместо Азорских островов я бы назвала их Нечистыми островами. Наши дети говорили бы на изобретенном нами нечистом языке, который отличался бы от нашего родного. Первая в мире страна Нечистия.

Именно здесь родился бы ребенок, мой брат или сестра, свободный от несчастья быть немцем, от необходимости говорить на немецком языке. Какое счастье быть нечистым! Не нужно было бы ни от кого прятаться, потому что вокруг не было бы ни одного чистого человека.

Только подумай,

Лео,

просто рай!

Лео взял меня за руку. Мои родители ничего не заметили, погружившись в собственные мысли. Прислонившись друг к другу, они смотрели на горизонт, куда уплывали острова, снова затерявшись посреди мрачной Атлантики.

Моя рука замерзла, но Лео согрел ее своей.

– У меня есть пара роликовых коньков на завтра. – Лео мог избавиться от любых мрачных мыслей. И я уже представляла, что меня ждет, когда я проснусь утром.

– Ты сможешь научиться за час? – спросила я его. Лео взглянул на меня, как бы говоря: «Конечно, научусь, и гораздо быстрее, чем ты думаешь». Его смех был заразителен. Смех был лучшим решением.

В тот момент я осознала, что папа наблюдает за мной с тревогой... а я в это время мечтала о Лео и коньках! *Думаю, папа, тебе пора прервать молчание и дать нам почувствовать, что ты здесь, с нами, что думаешь о нас. И если что-то происходило бы, ты сказал бы нам, потому что ты знаешь, что я сильная. С тобой мы всегда чувствуем себя в безопасности.*

Голос отца прозвучал торжественно, когда он коротко объявил:

– Мы на полпути к цели.

19 МАЯ 1939 ГОДА

СИТУАЦИЯ В ГАВАНЕ УХУДШАЕТСЯ. ПРОТЕСТЫ
ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКИХ ИММИГРАНТОВ.
ПРОДОЛЖАЙТЕ СЛЕДОВАТЬ КУРСУ

Телеграмма от компании «Гамбург – Америка Лайн»

Вторник, 23 мая

Сегодня должен был быть вторник. С тех пор, как мы поднялись на борт, никто даже не задавался вопросом, какой сегодня день недели. Нас интересовало только, сколько дней осталось до высадки. Я не могла дождаться, когда наступит суббота, день нашего прибытия в порт. Вдобавок ко всему это был мой день рождения, и он выпадал на вторник, худший день из всех. Впрочем, какое это имело значение? Мы плыли посреди Атлантического океана и будем плыть до пункта назначения еще почти неделю. Я уже даже не считала себя невезучей.

Я проснулась рано, потому что член команды, посланный капитаном, пришел искать папу. Я решила не говорить об этом Лео. Он бы только начал строить бесконечные домыслы и теории заговора.

Мама была на взводе уже несколько дней. Я думала, что обнародование ее тайны поможет сбросить напряжение, но этого не произошло. Маму переполняли предчувствия, зачастую беспочвенные, которые она не переставала обдумывать. И она оставалась в постели, утопая в пуховых подушках и прячась от солнечного света, проникающего через иллюминатор.

Все знали, что я не хочу праздника, так как праздновать было нечего. Но даже капитан знал, что у меня день рождения. Лео сказал, что подарит мне особенный подарок, но мне нужно набраться терпения. Я думала, что он не оставил идею с кольцом своей матери, о котором я так много слышала, хотя со стороны его отца было бы безумием отдать единственную принадлежавшую им ценную вещь.

Когда мама наконец встала, она подошла к моей кровати и легла рядом со мной. Она была такой холодной, что я задрожала.

– Моя Ханна, – сказала она, поглаживая мои волосы.

Мама больше ничего не добавила, но я почувствовала, что она хочет мне что-то сказать. Я повернулась и взглянула на нее, чтобы приободрить.

– Пришло время вручить тебе «Слезу», Ханна.

Мамины ледяные руки медленно потянулись к моей шее, и она начала застегивать ожерелье с несовершенной жемчужиной, которое ее отец заказал для ее матери по случаю открытия отеля «Адлон». Драгоценную жемчужину мама получила, когда ей исполнилось

столько же лет, сколько и мне сегодня. Тонкая цепочка из белого золота прекрасно дополняла жемчужину, которая была вставлена в треугольник, также из белого золота, с крошечным бриллиантом на острие.

Комната окутывала нас, а бронзовый потолочный светильник с тремя рядами белоснежных лампочек напоминал перевернутый ослепительный свадебный торт, соперничающий по блеску с солнечными лучами. Я не хотела, чтобы время шло. Мы были подвешены в центре этого светящегося пространства. Внезапно я испугалась висевшей на шее жемчужины: она налагала на меня ответственность: необходимо было сбросить украшение, хранившееся в семье несколько поколений. Я побежала к зеркалу, чтобы рассмотреть свою «Слезу», и решила надеть нежно-розовый свитер, чтобы украшение хорошо смотрелось.

Увидев, как я растрогана, мама сделала над собой усилие, встала и подошла ко мне. Желая ее порадовать, я приняла несколько знакомых поз, чтобы она подумала, что я тоже чувствую себя богиней. Она засмеялась. И некоторое время мы веселились. Она надела сине-белое платье, и мы отправились праздновать мой день рождения.

Когда мы подошли к каютам Адлеров, мы заметили снаружи несколько членов экипажа. Мы постучали в дверь, но никто не ответил. Толкнув дверь, мы увидели, что она не заперта. Мама вошла внутрь, и я последовала за ней. Мы прошли в гостиную, где уже находились папа, капитан, двое моряков и корабельный врач. Все они выглядели удрученными. Папа подошел и обнял нас. Я почувствовала, что от него пахнет ментолом, как в каюте Адлеров.

– Вчера вечером мистеру Адлеру стало трудно дышать. Он ушел.

Он ушел, отошел, скончался, он покинул нас. Было бы гораздо проще сказать: «Он умер», но они не хотели: все боялись этого слова. Подошла госпожа Адлер, на ее лице застыла грустная улыбка, но не было ни малейших следов слез. Она взяла маму за руку:

– Я хотела похоронить его в Гаване, но капитан получил телеграмму, в которой говорится, что это невозможно. Нам придется провести отпевание ночью, а потом бросить его тело в море. Можешь себе представить такой конец, Альма?

Капитан разговаривал с двумя членами экипажа, которые показывали ему последние телеграммы. В какой-то момент он поднял

голову и сказал мне тихо... так тихо, что я смогла разобрать слова только потому, что читала по его губам:

– Счастливого дня рождения, Ханна!

Итак, все знали, что у меня день рождения. Я предупредила маму, что не хочу праздника вроде тех, что устраивались вечерами для других детей на борту. Я была уверена, что после смерти господина Адлера никто не будет настроен праздновать.

Я выскользнула из каюты и пошла искать Лео. Он, конечно, уже все знал. И он сказал мне, что ночью умер еще один человек.

– Пассажир?

– Нет, кто-то из экипажа. Очевидно, он покончил жизнь самоубийством, прыгнув в море. Его не смогли спасти. Одна трагедия за другой.

Отличные новости для начала моего дня рождения! Я так и знала, что он придется на вторник.

– То, что случилось с господином Адлером, было вполне ожидаемо, – сказала я Лео. – Он ни разу не вставал с постели с тех пор, как поднялся на борт. Он дал себе умереть, потому что ужасно устал.

Мне не было жаль господина Адлера, потому что в конце концов он сдался, но я сочувствовала госпоже Адлер: ей придется похоронить мужа и продолжать эту сомнительную борьбу. Лео уловил мою печаль. Он положил руки мне на плечи и сказал:

– Ханна, пообещай мне кое-что. Мы будем жить вместе до восьмидесяти семи лет. Но после жизнь не стоит того, чтобы жить. Кому охота лежать в постели, как господин Адлер?

Я обещаю, Лео, конечно, обещаю. Я сказала это про себя, потому что он уже отошел в сторону, не дожидаясь моего ответа.

Новость о смерти двух человек уже распространилась среди пассажиров. Друг Лео, Вальтер, предположил, что господин Адлер совершил самоубийство, а член экипажа был убит. И что могли быть другие попытки самоубийства.

– Наши визы ничего не стоят. Говорят, кубинское правительство теперь требует залог за каждого, такую сумму не смогут заплатить даже самые богатые, – пробормотал он. Вальтер огляделся по сторонам, опасаясь, что его слова могут услышать.

– Я тебе не верю, – сурово сказала я ему. – Моя мать получила наши визы в кубинском консульстве в Берлине и купила визу для моего

отца в офисе судоходной компании в Гамбурге.

Я была сыта по горло всеми домыслами и глупыми теориями. Все должно было быть в порядке: я была уверена в этом.

– Да, наши такие же. Но они больше не действительны. – Вальтер говорил так уверенно, что я струсил.

– Если нас не пустят на Кубу, у нас есть другие варианты? – спросила я, внезапно встревожившись.

– Пока ведутся переговоры о том, примет ли нас другой карибский остров. – Лео снова взял все в свои руки, не желая показать, что он не в курсе дел. Именно он должен был рассказывать новости, а не Вальтер, считавший себя очень умным.

По крайней мере, никто из них не сказал, что мы возвращаемся в Германию. Это было невозможно. Мы уже сдали свои дома, нам некуда было возвращаться. Никто бы не выжил. Теперь я понимала, почему ходило так много слухов о самоубийстве.

– Как ты думаешь, стоит ли мне поговорить с родителями, чтобы они рассказали мне правду? – спросила я Лео так, чтобы остальные меня не услышали.

– Нет, единственное, что тебе нужно сделать, – это как можно быстрее найти те капсулы. Если во въезде на Кубу откажут, у Розенталей уже есть план, – сказал Лео твердо. – И мы не можем этого допустить, Ханна. Что бы ни случилось, мы должны быть вместе.

Я послушалась его, хотя он был всего на пару месяцев старше меня.

Мы оказались в плену нового кошмара. Я не знала, было ли это реальностью или всего лишь сном.

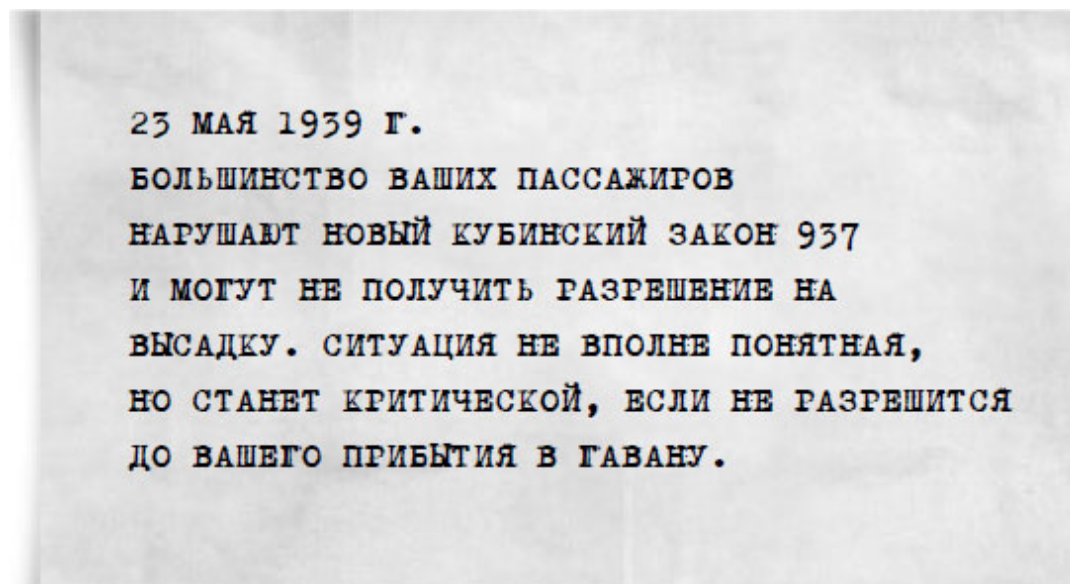
Я дошла до каюты родителей. Они сидели неподвижно, в тишине, погружившись в свои мысли. Я пошла к себе в комнату и обнаружила на прикроватной тумбочке конверт с эмблемой «Сент-Луиса» и пометкой «Для Ханны».

Внутри была открытка с изображением самого большого, самого роскошного лайнера, который когда-либо бороздил моря. «Желаю всего доброго в твой День Рождения, Ханна». И подпись: «Капитан». Мама говорила правду: этот человек был джентльменом.

Нужно было подняться на мостик, чтобы поблагодарить его.

Я услышала, как мама плачет снаружи. Я прижала открытку к сердцу и закрыла глаза, желая сохранить иллюзию безопасности на

этом железном острове. Мама задыхалась от рыданий, ее голос звучал так пронзительно, что я с трудом понимала, что она говорит: – Даже не обсуждается! Либо мы сходим на берег все втроем, либо не сойдет никто. Ни Ханна, ни ребенок, которого я вынашиваю, ни я не вернемся в Германию, Макс. Можешь быть уверен.



Телеграмма от компании «Гамбург – Америка Лайн»

Четверг, 25 мая

Я не боялась смерти. Прихода последнего часа, когда все выключится и я останусь в темноте. Нестрашно казалось увидеть себя среди облаков, глядя вниз на всех, кто по-прежнему свободно ходит по городу. В моем понимании после смерти просто выключится свет, а вместе с ним и все иллюзии.

Но я не хотела, чтобы мои родители решали, *когда* это произойдет. Пока не наступил тот час, когда я должна была вернуться в прах. Они не посмеют, потому что я буду защищаться. Мне было все равно, что наши визы больше не действительны, что они не дадут нам высадиться на этом непримечательном острове.

По ночам, во сне, я слышала голоса, приказывающие мне встать, выйти из комнаты, выйти на палубу и броситься в океан. Течением меня бы отнесло к единственному месту, куда я смогла бы приплыть и легко попасть на другой крошечный остров, не отмеченный ни на одной карте. Я видела себя совсем одну, без родителей и Лео. Сверху я едва могла разглядеть себя, будучи крошечной точкой, затерянной на берегу. Вот на что, должно быть, похожа смерть.

С самого рождения нас, нечистых, готовили к преждевременной смерти. В течение многих лет, даже в счастливые времена, мы старались избегать ее на каждом шагу, встречаясь с ней и продолжая идти дальше. Иногда я задавалась вопросом, какое право мы имели думать, что сможем выжить, когда другие умирали как мухи.

Что мне не нравилось в смерти, так это невозможность попрощаться, уйти, не сказав «прощайте!». Одна эта мысль заставляла меня содрогнуться.

Я не позволю другим решать мою судьбу. Мне было двенадцать! Я была еще не готова, и поэтому мне нужно было найти эти чертовы капсулы. Если бы я этого не сделала, Лео прибил бы меня. Он объяснил, что мне нужно искать маленький бронзовый цилиндр с завинчивающейся крышкой. Внутри будут три тонкие стеклянные капсулы со смертельным веществом внутри, те самые, которые, как мама предположила только вчера, могут избавить ее от мучений, если нам не разрешат высадиться в Гаване.

Я должна была обыскать каждый угол, каждый чемодан и обязательно навести порядок, оставив все как было, чтобы никто ничего не заметил.

В тот вечер должен был состояться традиционный бал-маскарад, всегда устраиваемый на «Сент-Луисе» перед высадкой. Но мы пока не знали, прибудем ли мы в порт, разрешат ли кораблю причалить, разрешат ли нам высадиться. У нас не было конечного пункта назначения.

Корабельный гудок возвестил о том, что пора идти в бальный зал. Лео уже забыл и о коньках, и о прогулках по палубе, и о нашей игре в графа и графиню. Время игр закончилось. Он снова стал конспиратором.

После разговора, который состоялся у родителей в каюте, я сомневалась, что они захотят пойти на какой-то бессмысленный маскарад. Я шла по коридору первого класса. С каждым днем он казался мне все уже: потолок опускался ниже, а желтые бра отбрасывали вездесущие тени. Я искала боковую лестницу и нехотя спустилась, устав от маминых жалоб, папиного молчания и требований Лео. Я дошла до двери в мезонин и, когда открыла ее, услышала хлопанье пробок шампанского, болтовню пассажиров, ожидавших, когда оркестр начнет играть, смех пассажиров, которые все еще были уверены, что мы покинем корабль, как только прибудем в порт Гаваны.

Нас, детей, не пустили на бал, но Лео нашел для нас место на балконе мезонина, украшенном бумажными цветами. Оттуда мы могли наблюдать, как эта толпа глупцов развлекается перед тем как получить пощечину от кубинских властей в субботу на рассвете.

Обстановка оставалась спокойной. Капитан и пассажирский комитет позаботились об этом, чувствуя ответственность за 936 блуждающих душ.

Вальтер и Курт не могли сдержать восторга, указывая на диких костюмы. Лео все еще был в образе конспиратора, анализируя каждый жест пар на танцполе. Гости напоминали духов, перемещающихся под сверкающими, украшенными гирляндами канделябрами, которые были призваны создать ложное ощущение веселья. С нашего наблюдательного пункта бальный зал, ранее так впечатливший меня своим величием, теперь казался не более чем убогой декорацией. Я видела гипсовую лепнину, скопированную с

интерьеров какого-то французского дворца, неуклюжие копии пасторальных сцен в искусных золоченых рамах, панели из благородных пород дерева, бронзовые бра в виде сфинксов, зеркала из матового стекла. Фантасмагория посреди океана. «Дешевая роскошь», – как сказала бы мама.

Инес выглядела грустной, ожидая потенциального поклонника. На ней была диадема с фальшивыми бриллиантами и платье из тюля и кружев, которое выглядело так, словно было сшито из дешевого хлопка. Она пришла как принцесса без трона и надменно приветствовала своих подданных: трех девушек в небесно-голубых платьях, с белыми розами на шеях и в бриллиантовых серьгах. Инес увидела, что мы наблюдаем за ними сверху, и кивнула нам.

Вальтер и Курт чуть не захлопали в ладоши, когда увидели, как в зал ворвался мужчина с ярким гримом. Щеки у него были красными, брови очерчены черным, а веки покрыты ярко-синими тенями. Он был одет в белый смокинг, задрапированный эффектной красной бархатной накидкой, а его голову венчала золотая корона, украшенная лавровыми листьями.

Высокая дама, путешествовавшая в одиночестве, облачилась в черное платье с блесками и широкими прозрачными рукавами, усыпанными звездами. Жемчужная диадема с огромным пером дополняла ее наряд, а ярко-алые губы и темные линии на нижних веках придавали ей зловещий вид. Скрываясь за огромным веером из страусиных перьев, она перемещалась по залу, где уже почти некуда было ступить.

– Это королева ночи! – воскликнул Курт.

– Нет, она вампирша! – поправил его Вальтер, и мы все рассмеялись.

Среди гостей больше всего было пиратов, пара молодых людей оделись как моряки, а также мы увидели несколько греческих богинь в драпированных платьях на одно плечо.

Шум усиливался, но до нас все так же доносился звон бокалов, наполненных пьянящими пузырьками. Оркестр, расположившийся в пролете между двойной лестницей, ведущей на паркет, начал играть немецкие мелодии, вызвавшие массу воспоминаний и омрачившие настроение присутствующих. Нам никак не давали забыть.

Затем оркестр сделал паузу, и наступила недолгая тишина. Два трубача вышли на авансцену и заиграли мелодию, которая – для меня, по крайней мере, – принадлежала нам с Лео. Лео взглянул на меня: он тоже узнал ее. С первыми нотами «Серенады лунного света» я увидела, как папа вошел в зал в своем сшитом на заказ смокинге. Он сопровождал богиню, облаченную в черное кружевное платье со шлейфом и разрезом спереди. На родителях были черные бархатные маски, а у мамы – с перьями и стразами.

Они медленно спустились по лестнице под звуки оркестра, старательно пытающегося подражать Гленну Миллеру. Все остановились, чтобы полюбоваться триумфальным входом Розенталей: если они пришли на бал, значит, все в полном порядке. Мы без проблем высадимся в долгожданном порту Гаваны. Таково было послание, которое капитан хотел передать разочарованным пассажирам через чету Розенталей. Но в настоящей обстановке ни радостная музыка оркестра, ни яркие маскарадные костюмы, ни ореол исключительности вокруг моих родителей не могли развеять мрачную атмосферу бала.

Спрятав лицо под маской, папа выглядел как герой какой-то дешевой мелодрамы. Мама, с застывшим лицом, тщетно пыталась улыбнуться. Она, казалось, говорила ему: «Ты заставил меня прийти, и вот я здесь, но не надейся, что я буду веселиться».

Под звуки «Серенады» пары снова сошлись вместе. Папа вывел маму в центр зала. Она мягко опустила голову на его плечо, а отец делал короткие шаги, как будто танцевал вальс, не соблюдая ритм: он не знал этой музыки.

Пока они кружились, папа кивнул нескольким мужчинам. Мама не обращала на них внимания и избегала любого зрительного контакта.

Двенадцать дней – вот сколько продлилось наше счастье.

Мне пора было идти. Как раз сейчас я должна была обыскать каюту.

26 МАЯ 1939 Г.

ЯКОРЬ НА РЕЙДЕ. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ,
НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ПОПЫТОК ПОДОЙТИ
К ПИРСУ.

Телеграмма из офиса компании «Гамбург – Америка Лайн» на Кубе

Суббота, 27 мая

Наступил день, когда мы должны были высадиться в Гаване. Многие пассажиры ожидали воссоединения с членами семьи, которые уже переехали на Кубу: другие отправлялись к себе домой или собирались снять номер в гостинице. Люди надеялись обосноваться на острове, выучить испанский язык, открыть свой бизнес. Многие планировали прожить там всего несколько месяцев, ожидая поездки на остров Эллис и разрешения на въезд в Нью-Йорк, конечный пункт назначения.

В Гаване мы могли бы создать больше семей, и остров постепенно наполнился бы нечистыми. Но, несмотря на то что мы намеревались найти там жилье и работу, мы все равно всегда должны быть начеку, потому что у огров очень длинные щупальца, и кто знает, не дотянутся ли они в один прекрасный день до Карибского моря.

Судьба 936 душ, находившихся на борту «Сент-Луиса», теперь зависела только от одного человека. Кто знает, какое у него будет настроение поутру и, в зависимости от него, скажет он «да» или «нет». Президент Кубы может запретить нам причаливать и изгнать нас из своих территориальных вод, как вонючих крыс. Затем нас вернули бы в страну огров, где нас отправили бы в тюрьму, и там мы бы встретили свою преждевременную неизбежную смерть.

Я проснулась в четыре утра, когда корабельный гудок возвестил, что мы входим в гавань. Последние два дня я искала капсулы и ночью засыпала только на два-три часа. Я перевернула мамину комнату вверх дном, а затем мне пришлось все очень аккуратно сложить. Я ничего не нашла. Лео пришел к выводу, что папа спрятал их в подошвах своих ботинок.

Вальтер и Курт были уверены, что нам наконец-то разрешат высадиться, но Лео сомневался. Что касается меня, то я не знала, чего ожидать.

Все пассажиры вынесли свой багаж в коридоры, и стало невозможно пробраться мимо них, не споткнувшись. У нашей каюты чемоданов не было, и это меня тревожило. Между гудками прозвучал сигнал к завтраку. Обычный распорядок, казалось, предполагал, что все проблемы решены, хотя у нас в каюте по-прежнему царил

неопределенность. Родители не собрали вещи. По-видимому, они были уверены, что мы не сойдем с корабля.

Завтрак прошел очень быстро. Все были очень возбуждены, а дети бегали туда-сюда. Пассажиры разоделись в пух и прах. Но только не я. Я чувствовала себя комфортно в блузке и шортах: жара и духота из-за влажности были просто невыносимы!

– Подожди до лета. Вот тогда будет совсем ужас, – сказал Лео, чтобы подбодрить меня. Как всегда в своей манере.

Но он знал, что я пойму скрытый смысл: если в будущем будет так нестерпимо жарко, это значит, что мы высадимся на берег. Лео сел на пол рядом со мной, так же поступили Вальтер и Курт. За столами места уже не осталось.

– Все уже решено, – сказал нам Курт. – Мой отец говорит, что газеты во всем мире пишут о том, что с нами происходит. – Для меня это было пустым звуком. Газеты не выигрывали сражений.

На борт поднялся кубинский врач. Поскольку собирались проверить всех пассажиров, нам пришлось остаться в столовой. Кто знает, что они искали. Оставив друзей завтракать, я побежала предупредить маму.

Я добежала до каюты так быстро, как только могла, перешагивая через чемоданы, и открыла дверь, не постучавшись. Родители были уже одеты и готовы к медицинскому осмотру. Мама сидела в углу, прячась от солнца в тени. Она была очень бледной, и это испугало меня.

Ко мне подошел папа:

– Побудь с мамой. Меня ждет капитан.

Его голос был не таким мягким, как обычно. Это был приказ. Я больше не была его маленькой девочкой.

Я обняла маму, но она оттолкнула меня. Потом она извинилась, улыбнулась и начала убирать локоны мне за уши. Она не смотрела на меня. Мы сидели вдвоем, ожидая новых распоряжений от папы.

Корабль стоял на якоре в порту, но его продолжало покачивать из стороны в сторону.

– Я прилягу ненадолго, – сказала мама и, мягко отодвинув меня, пошла к кровати.

Мама устроилась среди подушек, а я вернулась в столовую. Лео увидел меня и подошел, держа в руках какой-то фрукт, сочащийся липким желтым соком:

– На, попробуй.

На борт погрузили кубинские ананасы. Я откусила маленький кусочек: было вкусно, но потом у меня во рту защипало.

– Сначала жуешь, чтобы вытек сок, а потом выплевываешь мякоть, – сообщил Вальтер невеждам наставительным тоном.

Теперь мы были в тропиках, и наши рецепторы пребывали в шоке от вкуса кубинских фруктов.

– Сегодня из Гамбурга в Гавану отправился корабль, который был вынужден изменить курс, когда пришло сообщение о том, что кубинское правительство не позволит пассажирам сойти на берег, – сказал Лео, всегда узнававший последние новости.

Я не могла понять, какое это имеет отношение к нашей ситуации. Возможно, корабль заставили изменить курс, потому что мы уже были здесь и власти просто не могли справиться с таким количеством пассажиров. К счастью, у всех пассажиров «Сент-Луиса» были разрешения на высадку, подписанные и зарегистрированные Кубой, а у многих, как у моей семьи, даже были визы в Канаду и Соединенные Штаты. Нас включили в список ожидания, и на Кубе мы не планировали долго задерживаться, только проездом. Это должно было успокоить власти. Все будет в порядке.

На это я и надеялась: у меня не было причин думать иначе. Конечно, все будет хорошо. Мы вышли на палубу, откуда до нас с ветерком доносились запахи Кубы: сладкая смесь соли и бензина.

– Посмотри на кокосовые пальмы, Ханна! – В один миг Лео превратился в маленького мальчика с широко распахнутыми глазами, замороженный новым открытием.

* * *

Когда взошло солнце, мы смогли разглядеть на горизонте величественные здания Гаваны. Мы увидели группу из трех человек, затем к ним присоединились еще четверо. А теперь уже десять человек бежали к причалу. *Мы здесь! Они не могут отправить нас обратно!* Мы с друзьями принялись прыгать и кричать. А Лео уморительно танцевал джигу.

Члены семей многих пассажиров «Сент-Луиса» вскоре узнали о нашем прибытии, и уже через несколько часов порт кишел людьми. Маленькие лодки, набитые отчаявшимися родственниками, направились к нам, хотя они были вынуждены держаться на безопасном расстоянии от нашего карантинного судна. Береговая охрана окружила нас, как преступников.

Через громкоговорители нас оповестили о том, что нужно приготовить документы. Кубинцы собирались проверить, действительны ли все наши визы, а также разрешения на высадку.

Вальтер прибыл бегом. Едва отдышавшись, он взорвался новостями:

– За каждого пассажира в качестве гарантии требуют залог в размере пятисот песо, – сказал он, повторяя то, что узнал из подслушанного разговора родителей.

– Сколько это? – спросила я.

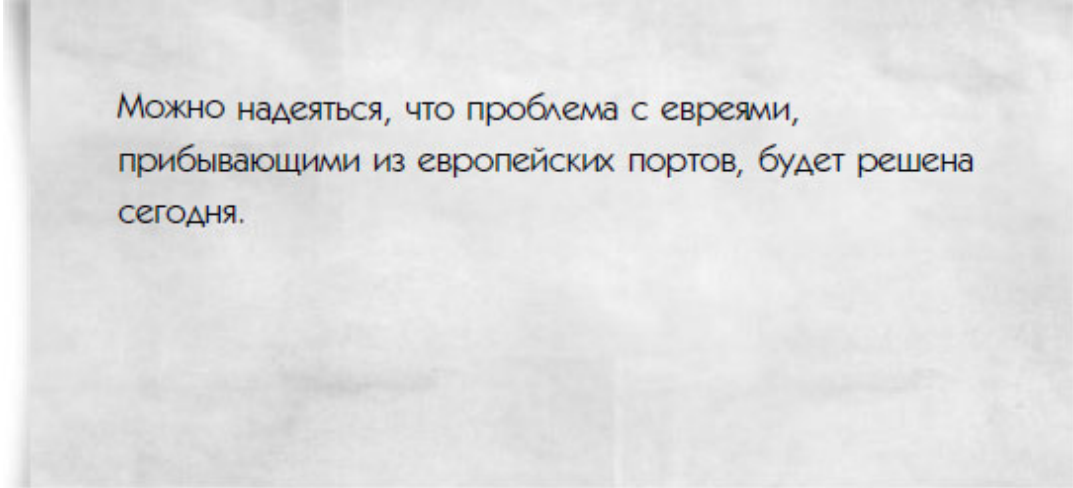
– Около пятисот американских долларов. Но это невозможно. – Лео всегда хорошо считал.

Мы потратили те небольшие деньги, которые у нас остались в Германии, на покупку ценных предметов, которые мы могли бы перепродать на Кубе.

– Это какой-то кошмарный цирк, – сказала сидевшая рядом с нами женщина в белой шляпе от солнца. Слово «кошмарный» она выделила голосом, словно надеясь, что кто-то услышит и отреагирует.

Должно было быть какое-то решение. Капитан не позволил бы отправить нас обратно. Он был на нашей стороне, он не был огром.

Я смотрела на длинный проспект вдоль набережной и почему-то не могла представить себе, что когда-нибудь окажусь там вместе с Лео и моей семьей.



Можно надеяться, что проблема с евреями,
прибывающими из европейских портов, будет решена
сегодня.

**Гаванская газета «Морской ежедневник»
28 мая 1939 года**

Вторник, 30 мая

Бывают моменты, когда лучше смириться с тем, что все кончено и уже ничего нельзя сделать. Сдаться и отказаться от надежды: сложить оружие. Вот так я себя чувствовала к тому времени. Я не верила в чудеса. С нами все произошло именно так, потому что мы хотели изменить судьбу, которая уже была написана. У нас не было никаких прав, мы не могли переделать историю. Мы были обречены жить в иллюзии с момента нашего появления на свет.

Если Лео останется на корабле, останусь и я. Если папа останется, останется и мама.

Ранее только двум кубинцам и четырем испанцам позволили сойти на берег. Мы никогда их не видели во время путешествия через Атлантику. Они держались особняком и ни с кем не разговаривали.

Если бы наши документы продолжали проверять с такой же скоростью и разрешали высадку только шестерым пассажирам зараз, мы бы пробыли на борту более трех месяцев. К тому моменту корабельная качка совсем бы меня доконала.

Когда я смотрела сквозь иллюминатор на Гавану, она казалось туманной, маленькой и недостижимой, как старая открытка, оставленная каким-то заезжим туристом. Но я не открывала окно, потому что не хотела слышать крики родственников, копошащихся вокруг «Сент-Луиса» в ветхих деревянных шлюпках, которые волна легко могла бы опрокинуть. Фамилии и имена неслись с палуб нашего огромного лайнера, стоявшего на якоре в гавани, к утлым вертлявым лодчонкам. Кеппель, Карлинер, Эдельштейн, Болл, Рихтер, Вельман, Мюнц, Лейзер, Джордан, Вахтель, Гольдбаум, Зигель. Каждый искал кого-то, но никто никого не находил. Я не хотела больше слышать никаких имен, но их продолжали выкрикивать. Ни у Лео, ни у меня не было никого, кто мог бы выкрикнуть наши имена. Никто не спешил нас спасать.

На проспекте вдоль набережной я видела машины, проносящиеся с такой скоростью, словно ничего не происходило: для них это был очередной корабль с иностранцами, которые по тем или иным причинам настойчиво стремились поселиться на острове, где мало работы, а солнце полностью лишает силы воли.

Кто-то постучал в дверь. Я, как всегда, вздрогнула: вдруг они пришли за папой. Огры были повсюду, даже на этом острове, который мой разум пока отказывался принимать как часть нашего будущего.

С нами пришли повидаться господин и госпожа Мозер. Я поздоровалась, и госпожа Мозер, обливавшаяся потом из-за жары, обняла меня. Я заметила, что они еле сдерживались, чтобы не разрыдаться. Господин Мозер выглядел изможденным, как будто не спал несколько дней.

– Он хочет умереть, – взволнованно объясняла госпожа Мозер. – Он собирается броситься в море. Но как же мы? Что будет с нашими тремя детьми? У нас нет ни дома, ни денег, ни страны.

Мои родители спокойно выслушали их. Мама встала и подвела господина Мозера к стулу. Сев, он наклонился вперед и от стыда закрыл голову руками. Мама почувствовала огромную жалость к этому человеку: не столько из-за его страданий, а сколько потому, что видела истовую веру его и жены в то, что могущественные Розентали могут им как-то помочь.

– Я не могу оставить его одного, – продолжала госпожа Мозер. – Он хочет перерезать себе вены, броситься в море или повеситься в нашей каюте...

Очевидно, она застала его за этими попытками преждевременно проститься с жизнью. Казалось, у него на лбу написано: не сегодня так завтра, но это произойдет.

Я подумала, что господин Мозер, возможно, на самом деле не хотел совершать самоубийство, хоть и играл с судьбой. Если кто-то хочет покончить с собой, он так и делает. Это легко, если действительно хочешь. Ты прыгаешь в бездну или режешь себе вены, пока остальные спят.

– Хотя у нас связаны руки, – начал папа, пытаясь успокоить страдающих Мозеров, – мы найдем решение.

За долю секунды он снова стал профессором: тем, кто может убеждать, кто владеет истиной. Господин Мозер поднял голову, вытер слезы и сосредоточил все свое внимание на человеке, которого все считали самым влиятельным пассажиром на «Сент-Луисе». Только он мог изменить судьбу более девяти сот пассажиров. Он и капитан.

– Мы должны написать президентам Кубы, Соединенных Штатов и Канады от имени женщин и детей, находящихся на борту, – продолжал

папа.

Господин и госпожа Мозер робко улыбнулись, и их лица медленно засияли: они увидели свое спасение и впервые за много дней почувствовали, что есть смысл продолжать путь.

Я подумала, что они все потеряли рассудок. К этому времени на борту, похоже, не осталось человека в здравом уме. Что изменит письмо? Президентам будет наплевать на то, где мы окажемся. Никто не хотел брать на себя наши проблемы. Никто не хотел видеть Германию среди своих врагов. Какой смысл впускать всех этих нечистых людей в свои страны, в райские уголки гармонии и благополучия?

Наша первая большая ошибка заключалась в том, что мы отплыли из Гамбурга. Во время плавания мы жили лишь жалкими иллюзиями. Я не верила ни в фантазии, ни в выдуманный мир.

Вот почему я всегда ненавидела своих зловещих кукол, таких безответных и всегда смотревших на меня с вопросом, почему я не хочу играть с ними, ведь они были так великолепны, так совершенны и белокуры и так высоко ценились.

Все сбережения господина Мозера растаяли после покупки разрешения на высадку на Кубе и билетов для себя и своей семьи. И все же теперь он, казалось, вновь обрел веру в себя, слушая папу. И он принялся описывать драматические события своей жизни, как будто они были единственными изгоями на борту:

– Мы потеряли все. Мой брат ждет нас в Гаване, там он купил дом. Если они отправят нас обратно, нам некуда будет идти. Что будет с нашими тремя детьми? Если мы напишем кубинскому президенту, я уверен, его сердце смягчится.

Услышав от него такие обнадеживающие слова, его жена, должно быть, подумала, что опасность миновала. Что отец ее детей больше не захочет лишиться себя жизни, которая когда-то так высоко ценилась. Мозеры вернулись в свою каюту, где она приготовила им постели. Этой ночью госпожа Мозер могла спать спокойно: она даже начала размереннее дышать.

Но судьба этой семьи была уже написана: когда я увидела, как господин Мозер выходит из нашей каюты, с опущенной головой, но счастливый, я уже знала, что произойдет. Я легла в постель и закрыла глаза. Моя голова начала бесконечно кружиться, не давая мне уснуть.

Прежде всего госпожа Мозер уложит детей спать, споет им колыбельную, устроит поудобнее и поцелует на ночь. Тронутая их видом, она будет радостно слушать легкое дыхание невинных детей, а затем удалится, чтобы отдохнуть рядом с мужчиной, которому она всегда доверяла и с которым решила создать семью. Человек, ради которого она покинула свою деревню, бросив родителей, братьев и сестер, чтобы взять себе новое имя. Она заснет рядом с ним, как и в прежние благополучные времена.

Пока семья спит, господин Мозер вылезет из постели. Он пройдет в ванную, поищет посеребренную бритву с кожаной ручкой, на которой значится эмблема «Сент-Луиса», и перережет себе артерии решительным ударом. Сначала он почувствует жгучую боль, но вскоре паника вытеснит все другие чувства. Он рухнет на пол, и кровь будет медленно вытекать из его дергающегося тела, так медленно, что, лежа на холодном кафеле в ванной комнате, он в последний раз увидит, как люди, которых он любил больше всего на свете, крепко спят.

Когда он будет биться в конвульсиях, его еще теплая кровь хлынет наружу. И хотя он по-прежнему будет в сознании, его зрение потускнеет, а удары сердца постепенно ослабнут. Наконец он затихнет. Кровь начнет высыхать, превращаясь из красной в черную. Жидкость затвердеет.

На рассвете госпожа Мозер проснется и поймет, что мужа нет рядом с ней. Она прикоснется к холодным простыням, которые больше не согревают тепло ее возлюбленного, а потом заметит, что дверь в ванную приоткрыта. Она медленно направится к ней, в ужасе от предполагаемого зрелища. Под бременем тяжелого предчувствия ее дыхание участится, станет более резким. Она захочет закричать, но не сможет. Остановившись в дверном проеме, она увидит сцену, которая потрясет ее, о которой она избегала думать в предыдущие дни, недели, возможно, даже месяцы. Она закроет глаза, глубоко вздохнет и начнет беззвучно плакать.

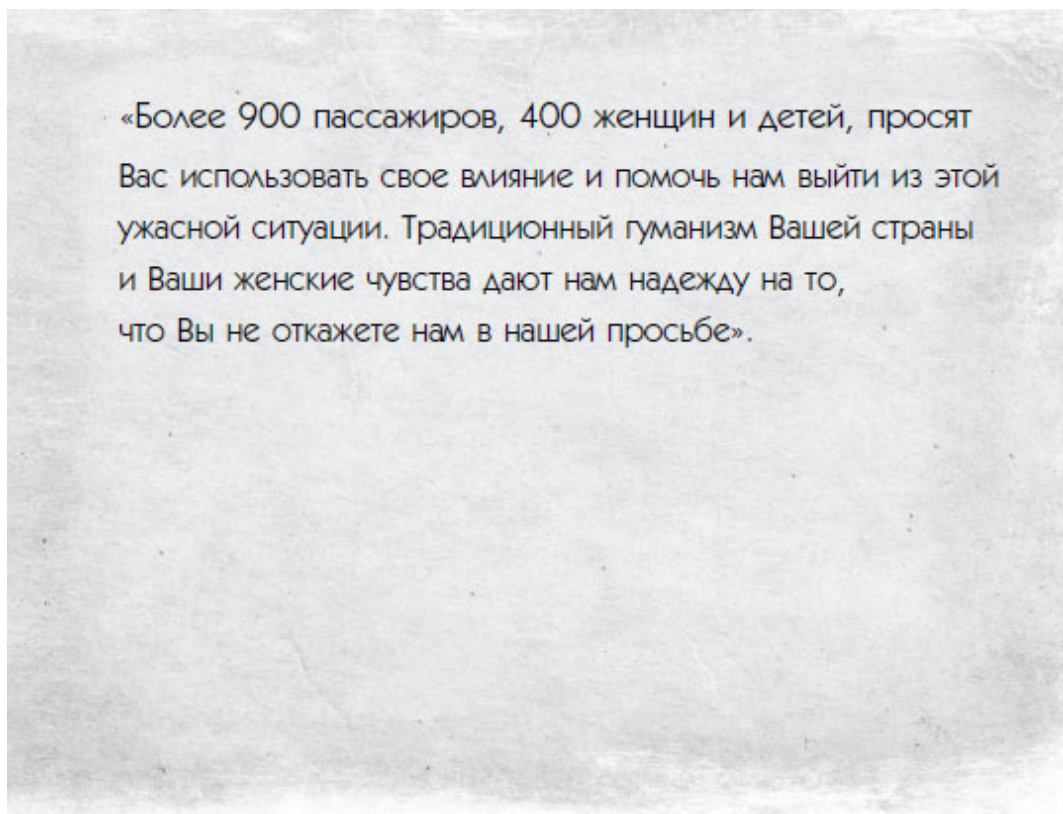
При виде тела мужа, свернувшегося на полу ванной комнаты в позе эмбриона, она опустится на колени, чтобы обнять его, понимая, впрочем: он больше ничего не чувствует, его больше нет. Раздастся ее отчаянный крик и безутешные рыдания. Первой к ней подойдет ее младшая четырехлетняя дочь, сжимающая в руках белого плюшевого мишку. Затем шестилетний сын. Старшая дочь, десяти лет, попытается

увести брата и сестру, чтобы избавить их от зрелища, которое будет преследовать их до конца жизни...

Вскоре после этого к папе пришли рассказать о случившемся. Но родители не проявили никаких эмоций: они были слишком озабочены собственными переживаниями.

Я оставалась в постели и все думала о госпоже Мозер и той минуте, когда она нашла тело своего мужа. Я надеялась, что ее дети никогда не забудут этот день. Они должны помнить, кто в этом виноват.

Кто-то должен был за это заплатить.



От пассажирского комитета лайнера «Сент-Луис» первой леди Леонор Монтес де Ларедо Бру, супруге президента Кубы Федерико Ларедо Бру.

30 мая 1939 года

Среда, 31 мая

– Сегодня мы собираемся поджечь корабль, – прошептал Лео мне на ухо почти сразу после того, как мы вышли из моей каюты и побежали на палубу.

Менее чем за десять минут мы успели подняться и спуститься по лестницам, побывать в машинном отделении, промчаться из первого класса в третий. Я понятия не имела, за чем мы гонимся.

– Если нам не дадут высадиться, мы подожжем его.

В этом не будет необходимости, Лео. Здесь так жарко, что перила корабля и деревянный настил стали просто обжигающими. Снаружи находиться просто невозможно. Солнце – еще один наш враг.

Лео сказал мне, что к этому дню Куба приняла менее тридцати пассажиров – тех, у кого было разрешение на высадку, выданное государственным департаментом, но отклонила те, которые были подписаны генеральным директором иммиграционной службы Мануэлем Бенитесом. Это был тот негодяй, который вместе со своим военным наставником и союзником Батистой прикарманил все наши деньги. – Бенитесы потеряли свою силу, еще когда мы пересекали Атлантику. Или, возможно, гораздо раньше.

Теперь этот военачальник, который удерживал реальную власть на острове, находился в своей роскошной резиденции в окружении своей семьи и свиты, лежа в постели и восстанавливая силы после простуды, и не смел показываться на публике.

Его личный врач запретил ему отвечать на телефонные звонки, не желая, чтобы его беспокоили по таким пустякам, как вопрос жизни и смерти более девяти сот пассажиров!

Когда мама купила «Бенитес» для папы, она купила еще два для нас, думая, что визы, которые у нее уже были, могут потерять свою силу. Но у нас также были визы США, и мы стояли в очереди на въезд в эту страну. Я не знала, чего еще они от нас ожидали.

– Возможно, *завтра* все уладится. – Лео сказал слово «завтра» на испанском, произнеся «маньяна» с сильным, нелепым испанским акцентом.

– Маньяна» – единственное слово, кроме *gracias*, то есть «спасибо», которое он мог произнести на языке острова, – должно было

стать последним днем переговоров.

– Маньяна, – повторил он, как будто эти три слога имели какое-то другое значение и могли дать надежду.

В паспорте папы стояла большая буква «О», что означало «отправлен назад», «отвергнут» или о запросе – «отклонен». То же самое проделали с паспортами Лео и господина Мартина, Вальтера, Курта и их семей, а также Инес. Никто не спасется. Мы были всего лишь толпой нежелательных людей, готовых к тому, что их сбросят в море или отправят обратно в ад к ограм.

Никого не волновало, что мы потратили все свои сбережения на покупку этих документов. И теперь бессердечный президент осмелился подписать указ, объявляющий их недействительными.

Лео считал, что если мы сможем поджечь корабль, то властям придется заняться нами. Пассажирский комитет, председателем которого был папа, утратил способность убеждать или вести переговоры, если она вообще была. Капитан не знал, как ему смотреть в глаза пассажирам, которые доверились ему. С самого первого дня самый могущественный человек на борту заставил нас поверить в то, что мы сможем высадиться, – что не будет никаких проблем, когда мы прибудем в этот проклятый порт Гаваны.

Две недели были потрачены впустую. Мы, до смешного доверчивые, поверили ограм, когда они разрешили нам уехать, передав наши предприятия, дома и сбережения. Как мы могли быть настолько глупыми, чтобы поверить им? Все было спланировано заранее, еще до того, как мама купила разрешение на высадку на Кубе, написанное на испанском языке. Они знали об этом с того момента, как мы отплыли из Гамбурга: оркестр, игравший для нас прощальный марш, был очередным фарсом. Теперь было очевидно, почему нас заставили приобрести обратные билеты: они хотели, чтобы мы покрыли расходы на обратную дорогу.

На Кубе на нас смотрели свысока, остальной мир нас не замечал. Все опускали глаза в замешательстве, словно пытаясь избежать смущения. Они хотели умыть руки, чтобы избежать чувства вины.

Трое молодых людей, которые поднимали с нами тосты во время первого банкета, теперь готовились вместе с Лео – двенадцатилетним мальчиком! – поджечь этот чудовищный трансатлантический лайнер. *Пожалуйста, хватит глупостей: приберегите свои фантазии до того*

дня, когда мы выйдем на сушу, если вообще выйдем. Некоторые из них не сомневались, что смогут захватить корабль, изменить его курс и лишит капитана командования. Похищение в открытом море. Или, по крайней мере, в этой захудалой бухте.

– Что она здесь делает? – спросил у Лео молодой человек, выглядевший как актер с множеством поклонниц.

– Ей можно доверять, и она может помочь.

Помочь в чем, Лео? Если бы я остановилась еще на минуту и поразмыслила над тем, что они планируют, я бы, скорее всего, убежала и оставила их осуществлять свой дурацкий план самостоятельно.

Но у этого молодого человека без будущего практически не было моральных принципов. Он впал в отчаяние: меньше всего на свете ему хотелось вернуться. Он был слишком молод и красив, чтобы встретиться с преждевременной смертью, и поэтому был способен сбросить в море любого, кто встанет у него на пути, если это поможет ему выжить. Мне захотелось сказать им, что только кучка идиотов могла решить, что им удастся поджечь этого шестнадцатитысячетонного мамонта, но в конце концов я решила оставить заговорщиков в покое и подняться на палубу. Мне нужно было сделать фотографии.

Пусть они сожгут его, если смогут. Уничтожат его. Потопят самый большой корабль в бухте. И потопят нас вместе с ним. Это лучшее, что могло с нами случиться.

Я прошла в дальний конец палубы, где не было ни пассажиров, умоляющих, чтобы их выпустили с корабля, ни людей, наблюдающих за нашим отчаянием с крошечных лодок. Туда, где не было видно береговую линию города, который заплатит высокую цену за свое безразличие если не сегодня-завтра, то когда-нибудь.

Я прислонилась к поручню и закрыла глаза, чтобы не видеть ни море, ни маяк Эль-Морро. Когда я почувствовала, что кто-то подошел ко мне сзади, мне не понадобилось оборачиваться: я сразу узнала его по запаху смазки из машинного отделения, ванильного печенья и теплого молока. Он шагнул ко мне и взял меня за руку. Он сжал ее изо всей силы, и я улыбнулась.

Я открыла глаза, зная, что увижу длинные ресницы моего единственного друга. *«Посмотри на меня, Лео, у нас осталось не так много времени»*, – хотелось мне сказать ему, но я промолчала.

Если кто-то и знал, что я хочу сказать, то только он. Лео знал все. Всегда.

С этой части палубы мы не слышали криков. Тишина полностью принадлежала нам. С моря приближался пассажирский корабль. Должно быть, они «чистые», подумалось мне, потому что он вошел в порт и направился прямо к причалу, о чем возвестил предупреждающий гудок.

А мы двое, не говоря ни слова, рука об руку смотрели, как они проплывают мимо, а затем снова повернулись к морским и небесным просторам.

Поднимайся, Лео. Давай прыгнем в море и позволим течению унести нас. Кто-нибудь вдали от этого порта обязательно нас спасет. А если спросят наши имена, мы придумаем такие, которые не вызывают отвращения, неприятия или ненависти.

Лучше бы мы остались в Берлине. Ты и я, без наших родителей. Мы бы бродили по улицам, усеянным битым стеклом, смеялись бы над ограми, слушали бы радио в темных переходах. Мы были свободны и по-своему счастливы.

Мой мозг работал гораздо быстрее, чем язык, поэтому я не могла вымолвить ни слова.

Посмотри на меня, Лео. Не оставляй меня здесь одну. Давай поиграем. Давай пойдем кататься на роликах по палубам. Ты слишком сильно сжимаешь мою руку. В воду! Клянусь, я сделаю все, что ты скажешь. Решай сам. Ты старше меня.

Давай, пора.

Июнь 1939

*Его превосходительству Федерико Ларедо Бру,
Президенту Республики Куба:*

Ваше Превосходительство,

В результате встречи, которую вы любезно предложили мне, я имею честь представить следующее предложение от Национального координационного комитета, чтобы разрешить беженцам на борту судна «Сент-Луис» попасть на Кубу:

Поручительство Мэрилендской компании по страхованию от несчастных случаев, уполномоченной вести дела на Кубе, будет, с вашего одобрения, незамедлительно депонировано на счет Республики Куба на сумму 50 000 долларов.

Лоуренс Беренсон, почетный советник Национального координационного комитета по оказанию помощи беженцам и эмигрантам, прибывающим из Германии

Четверг, 1 июня

«Маньяна», то есть «завтра» – популярное среди пассажиров слово, которое Лео повторял с сильным акцентом, – наша судьба должна была решиться.

Мои родители ждали, пока я засну, чтобы достать бронзовый контейнер с чудодейственным порошком из своего тайника. Отец будет держать меня, а мама откроет мне рот. Я бы не сопротивлялась: я бы раскусила стеклянную оболочку, чтобы высвободить цианистый калий, который вызвал бы мгновенную смерть мозга. Боли бы не было. Спасибо, мама и папа, за то, что не позволили мне страдать, за то, что подумали обо мне, за то, что положили конец моим мучениям. Я бы простилась с вами с радостной улыбкой на лице. Время пришло.

Я легла рядом с папой на кровать, и мы смотрели, как мама готовится к последнему ужину на борту. Она подошла к туалетному столику и взяла футляр для драгоценностей, старинную музыкальную шкатулку.

Когда я была маленькой, я оставалась замороженной каждый раз, когда открывала маленький черный футляр, инкрустированный перламутром, и видела игрушечную балерину, танцующую под мелодию пьесы Бетховена «К Элизе». Мама разрешала мне играть с ней и часами заводить ее. Аромат, который ассоциировался у меня с мамиными драгоценностями, доносился до кровати: тонкий аромат лаванды, хранящейся в шелковом мешочке внутри футляра. В отделении, где был спрятан механизм, приводивший в движение балерину, мама открыла крошечный ящичек и достала свое обручальное кольцо, самое ценное украшение, которое она привезла из Берлина.

В этот момент меня осенила догадка. Я чуть не вскочила, но сумела вовремя остановиться: все эти дни я пыталась найти бронзовый контейнер, и вот он появился прямо у меня под носом! Должно быть, это и есть тот самый тайник! Если эти капсулы были на вес золота, то что может быть лучше, чем хранить их вместе с большим бриллиантом, самым ценным из маминых сокровищ.

Снова прозвучал корабельный гудок. Вряд ли что-то могло раздражать меня больше, чем этот гудок. Но такая вещь нашлась:

незнакомые люди стучались к нам в дверь. Пора было возвращаться в столовую, где собирались подавать последний ужин в Гаване. Мои родители оделись во все белое: они выглядели так, словно застыли во времени.

– Я скоро, я еще не готова, – сказала я родителям. Они посмотрели на меня с удивлением, но промолчали, решив уважать мой распорядок дня, с каждым днем становившийся все более странным.

Я села за туалетный столик и взяла в руки музыкальную шкатулку. Я могла бы швырнуть ее в море, чтобы она исчезла, вместе с драгоценностями и всем остальным, но вместо этого я повернула ключ и наблюдала, как бесконечно кружится стройная балерина.

Мне было страшно открывать потайное отделение, потому что, если бы капсул там не оказалось, я бы окончательно сдалась. Мои пальцы неконтролируемо дрожали, когда я открыла потайной ящик и увидела бронзовый контейнер. Он был таким маленьким, что я чуть не рассмеялась. Мое сердце начало биться так сильно, что я испугалась, что кто-то за пределами каюты может его услышать. Я взяла контейнер со смертельным порошком внутри. Руки тряслись так сильно, что я с трудом открыла крышку.

Успокойся, Ханна. Ничего не происходит.

В такой момент Лео должен был быть рядом со мной.

Открыв крышку, я затаила дыхание. Я увидела, что стеклянная капсула действительно находится внутри, и поэтому быстро закрыла контейнер. Я боялась, что крошечные частицы цианида могут вырваться наружу из открытого контейнера, попасть в воздух, и нас всех парализует. Звенящий звук внутри контейнера подсказал мне, что там не одна капсула с цианидом. Конечно, их должно быть три!

Я не могла понять, как что-то настолько маленькое может быть таким мощным. Если человек вдохнет его или молекула попадет на кожу, он сразу окажется на том свете. Я подумала о том, чтобы положить одну капсулу в рот прямо сейчас, но я не могла поступить так с Лео. Это решение мы должны были принять вместе, иначе это было бы предательством, за которое он никогда меня не простит. *Давай так и сделаем, Лео!*

И я побежала искать его.

Пронесаясь по коридорам, я столкнулась с пассажирами первого класса, спускавшимися на прощальный ужин. Когда я вошла в

столовую, меня оглушил звон столовых приборов, касающихся тарелок, шум разговоров собравшихся, и обволокло запахом жареного мяса. Сбоку, в дверном проеме, я увидела Лео в сопровождении своих обычных соратников – Вальтера и Курта.

Заметив меня, он подал знак, чтобы я оставалась на месте: он сам ко мне подойдет. Пройдясь по залу, Лео посмотрел вниз, на мою правую руку, и сразу понял, что я держу сокровище. Он не улыбнулся. На самом деле мне показалось, что он впервые по-настоящему испугался.

Когда он взял мою руку, я раскрыла ее и позволила маленькой бронзовой трубке с тремя капсулами цианида опуститься в его руку. Лео убедился, что никто не смотрит и не следит за ним, и вышел из комнаты, не сказав ни слова, как настоящий конспиратор.

Я видела, как мои родители разговаривали с одним из стюардов. Госпожа Мозер пришла без детей и села за стол одна. Мама пригласила ее присоединиться к ним, и она робко согласилась.

Последний ужин стал пиршеством, которое началось с черной икры на обжаренных тостах и сельдерея в оливковом масле, затем подали спаржу в голландском соусе и шпинат в винном соусе, а после – бифштекс с картофельными чипсами, макароны с пармезаном и лионский картофель и, наконец, калифорнийские персики и сыр бри с малиной. Я почти не притронулась ни к чему, кроме макарон и персиков: мне хотелось только, чтобы этот абсурдный прощальный ужин закончился.

После ужина начались танцы. Оркестр заиграл вальс «Цветок лотоса», затем «Вернись в Сорренто», после чего последовало попури Шрайнера и произведение венгерского композитора Франца Легара. Основные верхние лампы выключили, и освещение стало намного мягче: янтарное сияние окутало танцоров, которые, казалось, парили в облаке тумана.

Внезапно оркестр замолчал.

Пары ждали следующей мелодии, не возвращаясь на свои места, в то время как шум за столиками усилился. Стюарды творили чудеса, лавируя по залу, в котором становилось все более многолюдно.

Высокая стройная женщина в желтом платье без бретелек, с огромным красным цветком за ухом неохотно поднялась на сцену, словно ее вынудили стать главной героиней следующего номера. Она

обратилась к музыкантам, которые уже закрыли партитуры: очевидно, они им были не нужны. Женщина взяла микрофон в обе руки, закрыла глаза и начала петь низким голосом.

Когда прозвучал первый куплет немецкой песни «В прохладе долины», все замолчали: «В прохладе долины / Вращается ветряная мельница, / Хотя моей возлюбленной, которая когда-то жила в ней, / Больше там нет».

Никто не осмелился сдвинуться ни на дюйм. Пары обнимались, пока оркестр сопровождал певицу. Как только закончился последний куплет, она сошла со сцены, не говоря ни слова. К тому времени атмосфера в зале стала траурной. Одетые в белое папа и мама вносили диссонанс в этом потоке черного, серого и коричневого.

Лео подошел ко мне сзади, тяжело дыша.

– Я все сделал, – прошептал он мне на ухо, пытаюсь восстановить дыхание.

Я вздрогнула. Он бросил их в море. Мы потеряли наш единственный шанс спастись все вместе! Ему не пришло в голову, что капсулы могли стать нашим спасением.

Сидя рядом со мной, Лео заворуженно смотрел на изобилие экзотической еды. Его глаза загорелись, когда он положил себе столько, сколько могла уместить фарфоровая тарелка с эмблемой корабля. Он уже забыл и о капсулах, и о возможности броситься в море, и о бегстве.

Он был голоден, и этот пир, который стюард описывал, произнося невразумительные названия, казался ему гораздо прозаичнее. Это была просто еда: салат, мясо, картофель, фрукты и сыр. Он поглощал содержимое тарелки с такой жадностью, словно ел последний раз в жизни. Его первое замечание звучало в точности как фраза из телеграмм, которые капитан получал и передавал папе:

– Ты в безопасности.

Мне не нужно было бояться: у меня на шее висела моя жемчужина, и мой лучший друг был рядом со мной.

«По указу президента пароход «Сент-Луис» должен незамедлительно отправиться в плавание. Лайнеру следует покинуть порт с находящимися на борту иммигрантами. Если он не уйдет на собственных двигателях, он будет отбуксирован на несколько миль в море кубинским крейсером».

**Гаванская газета «Морской ежедневник»
2 июня 1939 г.**

Пятница, 2 июня

Меня разбудили мамины крики. Только что рассвело, и иллюминаторы были открыты. До нас доносились звуки утренних работ в порту, а вместе с ними и горячий ветерок, показавшийся мне удушливым. Мама расхаживала взад и вперед по крошечному пространству, где она провела большую часть ночи без сна. Она была в отчаянии. Шелковые подушки и покрывало были свалены в кучу в углу постели.

Она вернулась в каюту сразу после ужина, не желая даже смотреть на Гавану, на которую открывался вид из окон. Этот город никогда не станет ее.

В каюте словно бушевал ураган. Чемоданы открыты, содержимое ящиков высыпано наружу, одежда разбросана по полу. Создавалось впечатление, что нас ограбили, пока мы спали. Мои родители не спали уже несколько часов. От усталости их движения были замедленными. Я закрыла глаза, не желая участвовать в этой битве без врагов. Я хотела, чтобы они думали, что я их не слышу, что я не существую ни для них, ни для кого-либо другого, что я невидимка и никто не может меня найти.

– Они не могли исчезнуть, Макс. Кто-то, должно быть, украл их. Это была единственная надежда, которая у меня оставалась, Макс, поверь мне. Я не могу вернуться, Макс. Ни Ханна, ни я этого не вынесем, – мама повторяла имя отца, как заклинание, которое могло бы спасти ее.

Они не могли найти капсулы, и в конце концов они узнают, что это сделала я. Что Лео выбросил их в море, где они растворились в теплых водах залива. *Боже мой, что я наделала? Прости меня, мама.*

Мама плакала, и мне казалось, что с каждой слезой она медленно истекает кровью, приближаясь к смерти. Папа, повернувшись спиной к беспорядку, который мама устроила в нашей каюте, изучал береговую линию Гаваны, погружившись в раздумья. Город был тенью, массой безжизненного воздуха. Порт виднелся далеко на горизонте, до которого никто на борту не мог дотянуться. Я все еще лежала с закрытыми глазами: я сжимала веки изо всех сил, желая сделать то же самое с ушами, чтобы не слушать рыдания этой отчаявшейся женщины.

Конец наступил, и по моей вине все будет гораздо хуже. Теперь родителям придется накрыть мне голову подушкой и задушить меня. Я была готова: я не буду сопротивляться. Я дошла до точки, и здесь не было никаких капсул. Это была бы медленная смерть, но я заслужила ее, потому что именно я была виновата в том, что мы потеряли волшебный порошок, который избавил бы нас от боли. Обратного пути не было. Я признаюсь в своем преступлении. Я была уверена, что они плюнут мне в лицо. Изобьют меня. Бросят в море.

В конце концов я приоткрыла глаза и увидела маму, сидевшую на кровати. Она успокоилась. Возможно, она была готова стать убийцей. Я не винила ее.

Мама уже оделась. Очень медленно она надела шелковые чулки и белые туфли ручной работы. Она расчесала свои короткие волосы и накрасила губы нежно-розовой помадой. Затем она намазала кремом руки, шею и лицо. Защита от солнца.

У двери стояли три чемодана. Один из них был моим: я узнала его. Я понадеялась, что родители упаковали мой фотоаппарат.

Папа, казалось, был где-то в другом месте, он стоял, уставившись в пустоту. Выхода не было.

Пора прощаться.

– Ханна! – Мамин голос утратил свою нежность. – Мы уезжаем, – сказала она по-испански.

Я притворилась, что проснулась. На мне все еще было платье, в котором я легла спать. Я едва успела надеть туфли. Мне не хотелось больше создавать им проблем.

В дверь постучали, и, как обычно, это меня напугало. Это были огры: они пришли за нами. Они собирались сбросить нас в залив, в бездну.

Член экипажа в форме сказал нам, что пришло время высаживаться. Нас доставят на рабочем баркасе в порт Гаваны, которая с палубы казалась совершенно нереальной и иллюзорной.

Мама вышла первой. Я последовала за ней и почувствовала, что папа идет позади меня. Затем он ускорился, догнал маму и бросил свои ценные часы в ее сумочку.

На палубе я слышала только крики и плач, семьи выкрикивали свои фамилии в надежде, что кто-то на туманном, далеком берегу услышит их: кто-то, кто спасет их от беды.

Капитан ждал нас. Он выглядел крошечным рядом с папой. А Лео? Где был Лео? Мне нужно было увидеть его, чтобы я смогла попрощаться.

Мы с трудом пробирались сквозь толпу. Кубинские чиновники в пропотевшей униформе смотрели на нас презрительно. Мы привыкли к этому.

На палубе поднялась суматоха. Кто-то протискивался, пробивался вперед.

– Всем нельзя стоять здесь. Ждите своей очереди! – крикнул старик, который с трудом устоял на ногах, когда его трость с серебряной ручкой упала на пол.

Рука подняла трость и вернула ее старику. *Лео! Я знала, что ты не бросишь меня, Лео! Давай прыгнем вместе и уйдем. Море принадлежит нам.*

Лео взял мою руку и что-то вложил в мою ладонь. Я не знала, что это было, потому что мне хотелось только смотреть на него. Меня пугала мысль о том, что я могу забыть его лицо. Я плотно сжала руку, чтобы не потерять подарок. Затем появился его отец, схватил Лео за руку и оттащил от меня, прежде чем я успела поблагодарить его. Лео сопротивлялся и снова приблизился ко мне:

– Не открывай коробку, пока мы не встретимся снова, Ханна! Я приду за тобой, клянусь! Сегодня, завтра или в другой жизни, но я найду тебя! Ты слышишь меня, Ханна?

Я почувствовала дрожь во всем теле, и мне показалось, что я сейчас упаду. Лео по-прежнему стоял передо мной, губы его дрожали. Я не могла понять, что он пытался сказать. *Оставайся со мной, Лео. Не дай им оторвать нас друг от друга.*

– Если мы никогда больше не встретимся, дождись, когда тебе исполнится восемьдесят семь лет, и только тогда открой.

Мы договорились жить вместе до этого возраста.

– Нет, Лео. Ты придешь и найдешь меня. Я не хочу дожить до восьмидесяти семи лет в одиночестве. Какой в этом смысл? – сказала я. Я видела, что он еле сдерживает слезы.

Он собирался поцеловать меня, но мы не смогли бы обняться – толпа не давала нам подойти друг к другу.

– Не плачь, Лео, – умоляла я его, едва в силах говорить.

Но в его глазах стояли слезы, и его длинные ресницы едва сдерживали их. Он вытер лицо: он не хотел, чтобы я видела, как он плачет. Я не могла дышать, мое сердце разрывалось.

Лео исчез в толпе вместе со своим отцом.

– Лео! – крикнула я, не зная, слышит ли он меня. В толпе обезумевших пассажиров я потеряла его из виду.

– Обещай мне, Ханна!

Я слышала его голос, когда он отходил в сторону, но больше не видела его.

Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел мои слезы. Но из-за солнца и жары невозможно было сдержать рыдания. Было слишком поздно отвечать Лео: я не знала, что сказать.

– Конечно, обещаю. Я не покину этот остров, пока ты не приедешь, я не буду открывать коробку, пока мы не встретимся снова, – уныло пробормотала я, зная, что он меня больше не слышит.

Я подняла руку, чтобы посмотреть, что он мне подарил. Это была крошечная коробочка цвета индиго. Я сжала ее так крепко, что она оставила отпечаток на моей ладони.

Я не могла ее открыть, потому что Лео запечатал ее. Я знала, что это кольцо. Наконец-то ему удалось получить то, что он мне обещал. Кольцо соединит нас до конца, до восьмидесяти семи лет.

Мама больше не плакала. Не осталось и следа от ее макияжа, кроме бледно-розового цвета на потрескавшихся губах. Кубинские чиновники проверяли наши документы для высадки на Кубе и американские визы. Внизу нас ждал баркас под названием «Аргус». Он выглядел крошечным и ветхим и уже был заполнен солдатами и родственниками некоторых из пассажиров. Все они теснились на носу, лодка опасно раскачивалась на волнах, и казалось, что встревоженные пассажиры вот-вот утонут.

Мама подняла глаза на папу и голосом, которого я никогда раньше не слышала от богини, поклялась:

– Мой сын не родится на этом острове! – Она выделила слово «остров» со всем презрением, на которое была способна. – Можешь быть уверен, они заплатят за это, Макс. С сегодняшнего дня я не немка, не еврейка, я – ничто.

Она поклялась, что это были последние слова, произнесенные ею по-немецки.

– Альма! – позвал ее кто-то.

Над собой мама увидела госпожу Мозер с тремя детьми, которая смотрела на нее, словно умоляя: «Пожалуйста, возьмите их с собой! Спасите моих детей!» Как будто это было возможно.

– Почему они, а не мы? – стонала женщина с ребенком на руках, а я избегала смотреть ей в глаза.

Мама не ответила. Она не попрощалась. Она не поцеловала папу.

Я бросилась в объятия самого сильного мужчины в мире и обняла его изо всех сил. Наклонившись ко мне, папа прошептал что-то непонятное мне на ухо. Я чувствовала жар его щеки. *Держи меня крепче, папа. Не дай им забрать меня, не оставляй меня.* Папа повторил то, что только что сказал мне, но его слова так и остались невнятным бормотанием.

Несмотря на то что его грудь казалась мне огромной броневой плитой, я слышала, как бьется его сердце и как бешено мчится по венам кровь. Он снова что-то прошептал мне на ухо. Мне хотелось, чтобы время не двигалось ни на секунду. Я хотела, чтобы все замерло.

Кубинский чиновник грубо оттащил меня от отца. Я вскрикнула, но меня уже тащили вниз по раскачивающейся лестнице. Я изо всех сил держалась за покрытые солью перила. Я закрыла глаза, чтобы вдохнуть папин запах, но все, что я почувствовала, был сильный запах пота и масла для волос от полицейского, который вел меня вниз. Мама твердо шагала впереди меня. Больше всего я тогда боялась, что кто-то может вырвать у меня из рук коробочку цвета индиго, и я изо всех сил прижимала ее к себе.

– Папа! Папа! – кричала я, но отец не откликнулся.

Я безудержно плакала, даже не пытаюсь это скрыть. Теперь я задыхалась от собственных рыданий. Папа не хотел смотреть на меня, не хотел видеть, как я ухожу.

Слезы лишили меня голоса. Мне было так стыдно, что я уезжаю, мне хотелось крикнуть отцу, которого мы оставляли на борту: *Нас разлучили! Нас бросили на чужом острове, где мы не сможем выжить самостоятельно! Папа!* Пассажиры увидели, что я плачу, и запаниковали еще больше. Кто-то окликнул меня. Я услышала свое имя: «Ханна!» Но я не смогла разобрать, кто это был.

Кто-то прощался со мной. Возможно, было бы лучше так и не узнать, кто это был. Примерно тридцати из нас было разрешено сойти

на берег. Мы были избранными, счастливыми. Я же воспринимала это только как приговор, ужасное наказание.

На борту оставались те несчастные, у кого не было будущего. Никто не знал, что с ними будет дальше. Капитан ничего не мог сделать. Он вернется в открытое море с 906 пассажирами на борту, не набирая скорость, чтобы не пришлось высаживаться в Гамбурге. Среди них будет мой отец и Лео.

Мама ступила на борт «Аргуса» и поскользнулась на мокром дне лодки, испачкав белые туфли. Она ухватилась за поручень и повернулась спиной к «Сент-Луису», ни разу не взглянув на папу, который изо всех сил старался, чтобы его хриплый голос звучал громче других.

Но я слышала его. Это был отец, я знала это. Я хотела, чтобы все замолчало, чтобы я смогла услышать его. Я сосредоточилась: я отгородилась от шума и сосредоточилась. Наконец у меня получилось. Он просил меня что-то сделать. *Я не понимаю, папа...*

– Забудь свою фамилию! – крикнул он.

Я больше не слышала отчаянных криков толпы. Сейчас для меня существовал только отец.

Но он не называл меня Ханной.

– Забудь свою фамилию! – снова крикнул отец во весь голос.

«Аргус» с ревом удалялся, застилая бухту шлейфом черного дыма и оставляя позади самый большой корабль, который когда-либо видели в порту Гаваны. Здесь нас не будет ждать оркестр с триумфальными маршами. Мы услышали бы только крики пассажиров, которым пришлось оставаться на борту бесцельно дрейфовавшего корабля.

Огры отняли у меня папу. Кубинские огры. Я не смогла даже поцеловать его. Я не смогла попрощаться ни с ним, ни с Лео, ни с капитаном.

Я хотела броситься в эти темные воды, несущие раскачивающийся, рвущийся вперед «Аргус».

Это был мой последний шанс. Я больше не хотела ничего слышать, я просто хотела, чтобы двигатель остановился.

Внезапно все на «Аргусе» замолчали: мы достигли дока и кто-то перекинул канат.

Тишина. Теперь стояла полная тишина. В тишине я в последний раз слышала папин голос, плывущий над водой и отдающийся эхом

над берегом, где мы мечтали стать счастливыми:
– Ханна, забудь свою фамилию!

Часть третья

Ханна и Анна

Гавана, 1939–2014

Анна

2014

Сегодня я узнаю, кто я. *Я здесь, папа, в стране, где ты родился.*

На выходе из самолета нас ослепил солнечный свет, но потом мы миновали иммиграционную и таможенную службы почти в темноте. Таможенники осмотрели мамин багаж, и женщина-чиновник похвалила ее платя.

– У меня никогда не было ничего подобного. Сколько дней вы собираетесь пробыть здесь? Вы сможете много раз переодеваться, – сказала она, удлинняя гласные, в то время как ее лицо демонстрировало живейшую мимику. И я почувствовала усталость при одном только взгляде на нее.

Сегодня я познакомлюсь с тетей Ханной. Я сказала себе, что нужно успокоиться. Мужчина, помогавший нам закрыть чемоданы, спросил маму, нет ли у нее запасного флакона с аспирином: «Здесь его трудно достать».

Мы не знали, хотят ли нас проверить или этого плохо выбритого мужчину в военной форме действительно мучали головные боли. Мама отдала ему флакон, и мы направились к выходу.

– Я первый раз нервничаю при прохождении таможни, – прошептала мне мама. – Мне кажется, что я сделала что-то не так.

Мы протиснулись сквозь толпу встречающих, ожидавшую у выхода других пассажиров, и сели в такси, присланное тетей Ханной. От запаха бензина мне стало плохо: сначала когда мы выходили из самолета, потом в такси, а теперь когда мы въехали в город. Я попыталась пристегнуть ремень безопасности, но ничего не вышло. Мама искоса взглянула на меня. Она старалась держаться вежливо с водителем, который производил впечатление зашуганного человека.

– Хотите послушать музыку? – спросил он.

– Нет! – ответили мы хором и рассмеялись.

Мы опустили окна, чтобы запах табака, исходивший от порванной обивки сидений, был не таким сильным.

Из-за выбоин на дороге и ужасной подвески машины мне казалось, что мы в любой момент можем вылететь через лобовое стекло. Мама не переставала улыбаться водителю, который завел длинный монолог о

трудностях в стране и нехватке ресурсов для поддержания улиц Гаваны в хорошем состоянии.

– У некоторых состояние получше, – заметил он, как бы извиняясь.

Чем дальше мы удалялись от аэропорта, тем тяжелее становилась атмосфера. Интересно, вся ли Гавана такая?

Какой-то паренек без рубашки, ехавший на ржавом велосипеде, остановился рядом с нами у светофора.

– Привет! Туристы? Откуда вы? – спросил он.

Нашему водителю было достаточно взглянуть на него, чтобы парень опустил голову и принялся снова крутить педали, не дожидаясь ответа.

– Бродяга! – заметил водитель такси, направляясь в Ведадо, район, в котором тетя Ханна жила с тех пор, как приехала из Берлина. Место, где родился папа.

– Это один из лучших районов города, – сказал нам водитель. – Он в самом центре. Отсюда вы сможете дойти пешком куда захотите.

Проехав проспект, ведущий от аэропорта, мы пересекли большую площадь с серым обелиском, служившим подножием для памятника одному из исторических героев острова. Ее окружали огромные пропагандистские щиты и современные здания, которые, как сообщил нам наш гид, являются правительственными штаб-квартирами.

Площадь выходила на широкий проспект, в центре которого лежала пешеходная аллея, обсаженная деревьями, а по обеим сторонам стояли ветхие особняки. На углах улицы группы людей выстроились возле больших зданий, покрытых потускневшей краской, по всей видимости, рынков.

– Мы уже в Ведадо? – спросила я, нарушая тишину, и водитель с улыбкой кивнул.

Несколько молодых людей в униформе помахали нам из школы. Кажется, будто слово «туристы» напечатано на наших лбах. Скоро мы к нему привыкнем!

Каким-то образом мне стало понятно, что мы скоро приедем. Вскоре водитель сбавил скорость, остановился и припарковался за машиной, выпущенной еще в прошлом веке. Мама взяла меня за руку и посмотрела на выцветший дом с засохшими растениями в саду. Крыльцо пустовало, в крыше виднелись трещины. Побитые железные ворота отделяли здание от тротуара, который то тут, то там

приподнимало своими корнями лиственное дерево, судя по всему, посаженное здесь для защиты от сурового тропического солнца.

Мальчик, сидевший под деревом, поздоровался со мной, и я улыбнулась в ответ. Мама направилась к дому с нашими чемоданами, а мальчик подошел ко мне.

– Так вы родственники той немки? – спросил он по-испански. – Вы немки? Вы собираетесь здесь жить или вы просто в гости?

Он задал зараз столько вопросов, что я даже не могла придумать, что ответить.

– Я живу на углу, – сказал он. – Если хотите, я могу показать вам Гавану. Я хороший гид, и вам не придется мне платить.

Я разразилась смехом, и он тоже.

Я попыталась пройти в сад, не задев железные ворота, но мальчик успел раньше меня.

– Меня зовут Диего. Так вы сняли комнату в немецком доме? Все здесь говорят, что она нацистка, что она бежала на Кубу в конце войны.

– Она тетя моего отца, – ответила я. – Когда он был моим ровесником, он остался сиротой, и она взяла его на воспитание. Да, она немка, но она бежала с родителями до начала войны. И она не нацистка, это точно. Что еще ты хочешь узнать? – резко спросила я его.

– Ладно, ладно, успокойся! И я все равно покажу тебе Гавану, если захочешь. Ты просто выйди на улицу и выкрикни мое имя, и я буду здесь в мгновение ока. Меня не смутит, если ты тоже нацистка.

Его самоуверенность развеселила меня, и я снова рассмеялась. Затем я отвернулась от Диего и только ступила на крыльцо, как входная дверь отворилась. Я спряталась за мамой и сжала ее руку, а она крепко сжала мою в ответ.

Когда гниющая дверь открылась, мы почувствовали запах фиалковой воды.

– Добро пожаловать в Гавану, – произнес слабый голос на английском.

Это маленькая девочка с корабля.

Я пока не могла разглядеть ее лицо. По голосу трудно было определить, кто она: молодая девушка или старая женщина. Тетя Ханна стояла в глубине, за порогом, как будто не хотела, чтобы ее видели. Она не вышла поздороваться, но расставила руки, приглашая нас войти.

– Спасибо, что приехали, Ида, – сказала она низким голосом, а затем посмотрела на меня и с улыбкой произнесла: – Какая ты хорошенькая, Анна!

Я быстро вошла и обняла ее, чувствуя себя скованно. Для меня она все еще тень. Ее волосы выглядели так же, как на фотографиях, где она изображена девочкой, – с пробором сбоку, а концы закручены внутрь и заправлены за уши. Только вот теперь она уже не была блондинкой и не носила челку. Я начала с любопытством ее рассматривать. И мама положила руку мне на плечо, как бы говоря: «Хватит!»

В полумраке гостиной тетя выглядела такой же молодой, как и мама. Она высокая и стройная, с заметной челюстью и длинной шеей. Когда она вышла на свет, на лице стали видны морщины, но оно показалось мне невероятно спокойным. У меня возникло такое чувство, что я знаю эту женщину очень давно.

Она была одета в бежевую хлопчатобумажную блузку с перламутровыми пуговицами, длинную узкую серую юбку, чулки и черные туфли на низком каблуке.

Говорила тетя Ханна тихо. Она выделяла гласные и очень мягко произносила согласные в конце слов.

– Пойдем, Анна. Это дом твоего отца и твой тоже.

Я уловила, как ее чистый голос едва заметно подрагивал. Подойдя поближе, я заметила глубокие морщины на ее лице и печеночные пятна на венозных руках. Ее глаза поразили меня своей голубизной, а ее кожа была настолько белой, что казалось, будто она никогда не подвергалась воздействию яростного тропического солнца.

– Твой отец был бы так счастлив увидеть тебя сейчас, – вздохнула она.

Тетя провела нас по коридору с клетчатой плиткой в заднюю часть дома, где окна были занавешены плотными серыми шторами.

В столовой стоял сильный аромат свежеприготовленного кофе. Мы сели за стол, столешницей для которого служило треснувшее зеркало, покрытое пятнами.

Тетя Ханна извинилась и удалилась на кухню, но чуть позже вернулась с пожилой чернокожей женщиной, которая с трудом ходила. Они налили себе и моей маме кофе, а мне предложили лимонад. Чернокожая женщина среднего телосложения подошла и осторожно

прижала мою голову к своему животу, от которого пахло корицей и ванилью.

Она сказала, что ее зовут Каталина. Трудно понять, кто кому помогал, потому что они обе были примерно одного возраста. Ханна стояла прямо, а Каталина наклонялась вперед из-за своего роста. При ходьбе она подволакивала ноги, хотя я не понимала, привычка ли это или проявление усталости.

– Девочка моя, ты совсем как твоя тетя! – воскликнула она, ероша мои волосы с фамильярностью, которая меня удивила.

Пока мама и тетя Ханна разговаривали о нашем путешествии, я смотрела вверх, на потолок. Повсюду виднелись пятна сырости. Краска на стенах облупилась, а комната была заполнена потрепанной мебелью, оставшейся от семьи, которая, должно быть, жила здесь давным-давно.

Пока мама рассказывала о нашей жизни в Нью-Йорке, тетя Ханна не сводила с меня глаз. Она спросила, не скучно ли мне, не было бы лучше разрешить мне выйти на улицу, чтобы мальчик, который так быстро говорит, мог взять меня на прогулку по городу.

– Ты можешь выйти и поиграть какое-то время, если хочешь, – настойчиво предлагала она.

Но я не думала, что здесь есть что-то, с чем я могла бы играть.

– Лучше тебе остаться и немного отдохнуть, – сказала мама. Она достала конверт с фотографиями из своей сумки.

Кажется, сейчас был не самый подходящий момент. Мы только что приехали. Возможно, мы слишком многого требовали от тети Ханны, заставляя ее возвращаться к событиям столь далекого прошлого, но, видимо, мама не могла найти другую тему для разговора.

Я бы хотела исследовать верхний этаж, где должны находиться спальни. Хотелось бы, чтобы они оставили меня в покое, чтобы я могла увидеть, где спал папа, где он хранил свои игрушки и книги.

Мама разложила фотографии из Берлина на треснувшей зеркальной столешнице. Ханна улыбалась, хотя у меня сложилось впечатление, что она предпочла бы продолжать рассматривать меня, чем возвращаться к прошлому.

– Это были самые счастливые дни моей жизни, – заметила она.

По мере того, как она вспоминала, взгляд ее голубых глаз становился все более напряженным. Казалось, что она оживает, хотя, очевидно, ей было не особенно интересно говорить о том

драматическом плавании через Атлантику. Я удивилась, услышав, что она назвала те дни счастливыми.

– Я была твоей ровесницей и могла свободно бегать по палубам корабля, иногда до глубокого вечера, – объяснила она. Я не знала, что ответить.

Тетя Ханна делала долгие паузы между фразами:

– Моя мама была такой красивой! А отец – самым выдающимся и уважаемым человеком на борту «Сент-Луиса».

Она взяла в руки фотографию мужчины в форме и повернула ее к нам:

– О, и капитан... мы его обожали!

Мама указала на снимок мальчика, который появлялся и на снимках из Берлина, и на снимках с корабля:

– Кто этот мальчик?

– О, это Лео! – Тетя Ханна на мгновение замолчала. – Мы были очень молоды.

Еще одна пауза, прежде чем она наконец снова посмотрела на нас.

– Он предал меня, и я вычеркнула его из своей жизни. Но я думаю, что пришло время простить. – И снова пауза. – Сможем ли мы когда-нибудь простить?

Мы не знали, что ответить. Мы надеялись, что она расскажет нам историю единственного человека, у которого получалось естественно позировать, того, кто, очевидно, был главным героем фотоколлекции. Я была заинтригована. Мне хотелось больше узнать об этом Лео: добрался ли он потом до Кубы, каким образом он предал ее. Но если я спрошу ее, мама меня убьет. Молчание затягивалось. Но вот тетя Ханна берет в руки открытку с изображением лайнера посреди океана.

– В те времена «Сент-Луис» был самым роскошным трансатлантическим лайнером, который когда-либо ходил в Гавану, – со вздохом поделилась она воспоминанием. – Это была наша единственная надежда, наше спасение. Так мы думали, Анна, дорогая, пока не поняли, что нас снова обманули. Один человек умер во время плавания, и его тело было выброшено за борт. Только двадцати восьми из нас было позволено высадиться на берег. Всех остальных отправили обратно в Европу, и менее чем через три месяца началась война. Мы никому не были нужны. Мы были персонами нон грата. Но я была твоей ровесницей, Анна, и причины были мне непонятны.

Мама встала и подошла к ней, чтобы обнять. Мне захотелось, чтобы разговор закончился, закончилась пытка, которой мы подвергли эту бедную старую женщину. Мы только что приехали! И, очевидно, она думала, что единственное лекарство от ее болезни – это забвение. Кажется, ей было интереснее узнать о нашей настоящей жизни, потому что мы – единственное, что осталось от мальчика, который вырос и стал мужчиной в ее доме, чтобы потом исчезнуть под обломками двух высоких башен в далеком, незнакомом ей городе.

– Каждый день я удивляюсь, почему я еще жива! – прошептала она, внезапно разразившись слезами.

Ханна

1939

Машина двигалась вдоль побережья, удаляясь от порта. Мы услышали гудок с «Сент-Луиса», раздавшийся вдалеке, но моя мама даже не отреагировала. Я оглянулась, чтобы взглянуть на корабль через заднее стекло машины, и увидела, как мы отдаляемся друг от друга. Корабль покидал залив, а мы направлялись в центр города. Я перестала плакать. Мой отец был не более чем точкой в бесконечном пространстве, затерявшейся на огромном лайнере, где наша семья в последний раз была неразделима.

Женщина, сидевшая рядом с водителем, решила поговорить с нами как раз в тот момент, когда я вытирала слезы.

– Я миссис Сэмюэлс, – представилась она. – Мы едем в отель «Насьональ». Я надеюсь, что только на пару недель, пока дом в Ведадо не будет обставлен и полностью готов. Мистер Розенталь все очень хорошо организовал.

Когда я услышала имя папы, по позвоночнику пробежала дрожь. Больше всего мне хотелось стереть прошлое, забыть, не страдать больше. Мы были в безопасности, на твердой земле, но моего отца и Лео больше нет с нами.

– Так это кубинский аналог отеля «Адлон»? – Богиня иронично подняла бровь, когда мы вошли в отель «Насьональ».

К счастью, наш номер выходил окнами не на море, а на город, так что нам не пришлось наблюдать, как корабли входят в залив и выходят из гавани. В любом случае вид из окна не играл роли, потому что во время всего нашего двухнедельного пребывания в отеле мама держала шторы задернутыми.

– Так мы защитимся от солнца и пыли, – повторяла она.

Всякий раз, когда приходили наводить порядок в комнате, она кричала: «Нет!», если горничная пыталась раздвинуть шторы. Каждый день уборку выполняла новая женщина, и мы никогда не уходили из номера до ее прихода, чтобы мама могла проинструктировать ее и сказать, что она не должна пускать в комнату ни единого солнечного луча.

Ни разу за эти недели она не упомянула имя папы. Она встречалась с миссис Сэмюэлс каждый день на одной из террас внутреннего двора – единственном месте, где не было слышно оркестр, который, по ее мнению, умел играть только быструю кубинскую гуарачу.

– Островная музыка, – пренебрежительно заявила мама.

Иногда она спрашивала официанта, не могли бы музыканты играть не так громко или вообще прекратить играть.

– Конечно, сеньора Альма.

Такой ответ раздражал маму еще больше. Все потому, что официант использовал ее имя, видимо, из-за того, что не мог выговорить ее немецкую фамилию. В то время как она, иностранка, в совершенстве владела испанским.

Тем временем гуарача не утихала.

На встречи с миссис Сэмюэлс моя мать надевала один и тот же индигово-синий костюм. Когда мы возвращались в номер, она просила его почистить и отгладить. Так проходили наши дни в гаванском отеле, в который мама поклялась никогда больше не возвращаться.

По утрам она встречалась с нашим адвокатом, сеньором Данноном, который занимался оформлением разрешений для нашего пребывания на Кубе. Во второй половине дня проходила встреча с представителем канадского банка, куда папа перевел большую часть наших денег и который отвечал за наш трастовый фонд. После этого она шла к менеджеру отеля, всегда с какой-нибудь жалобой, как правило, на оркестр и шум, который проникал в комнату даже при закрытых окнах.

Могу сказать, что мама была счастлива в тот день, когда мы получили кубинские удостоверения личности. Не потому, что у нас наконец-то появилось законное право на пребывание в стране и право жить в доме, который до этого момента она отказывалась посещать, а потому, что она могла раз и навсегда избавиться от фамилии предков. Последнее стало возможным благодаря то ли местной бюрократии, то ли невежеству некомпетентных чиновников, неспособных произнести по буквам фамилию Розенталь. Теперь же, когда наши фамилии стали звучать ближе к испанским, она стала называться сеньорой Розен. Мое имя было изменено с Ханны на Ану, хотя я решила сказать всем, что оно должно произноситься с начальной буквой *J*, как *Хана*.

Мама никогда не просила исправить ее фамилию: впрочем, она настаивала на том, чтобы ее адвокат – любитель сигар с замасленными

волосами – немедленно попытался получить для нее временную американскую визу, поскольку ей нужно было поехать в Нью-Йорк в ближайшие четыре месяца. Адвокат привел нас в замешательство своими рассказами об указах и юридических постановлениях правительства, в котором разделение власти между гражданскими и военными было очень неопределенным. Когда мы вернулись в номер, мама стала настойчиво говорить мне – как будто я не слышала этого еще на корабле, – что моему брату или сестре нужно родиться в Нью-Йорке.

Сначала я продолжала говорить с ней по-немецки, просто чтобы узнать, сдержит ли она обещание, данное папе, но она всегда отвечала по-испански. Вскоре я решила, что буду говорить на языке, на котором мы общались во время нашего короткого пребывания на острове.

Мама протестовала с утра до вечера, будь то по поводу жары, морщин, которые могли появиться из-за сильного солнца, или отсутствия манер у кубинцев. Они не говорили, они кричали. Они всегда опаздывали, использовали слишком много тмина в блюдах и сахара в десертах. Мясо всегда было пережаренным, а питьевая вода отдавала ржавчиной. Я поняла, что чем больше она ненавидела все вокруг, тем больше была занята и поэтому быстрее забывала о том, что случилось с 906 пассажирами, застрявшими на борту «Сент-Луиса», и ей не приходилось говорить о папе.

В то время мы понятия не имели, что с ними будет: найдут ли они другой остров, который их примет, или их отправят обратно в Германию.

В тот день, когда мы спустились в вестибюль, чтобы наконец встретиться с водителем, который должен был отвезти нас в наш дом в Ведадо, сеньор Даннон сказал нам, что «Сент-Луис» причалил в Антверпене и было постановлено, что пассажиров примут Великобритания, Франция, Голландия и Бельгия.

– Сеньор Розенталь уже сел на поезд до Парижа.

Мама никак не отреагировала. Она не хотела проявлять какие-либо эмоции в присутствии незнакомца, который, несомненно, брал с нее за свои услуги больше, чем следовало. Она посмотрела на входившую в отель группу мужчин в хлипких пальмовых шляпах и рубашках с перламутровыми пуговицами и со складками спереди. Она называла их одежду кубинской униформой, считая ее вульгарной.

Миссис Сэмюэлс представила нам водителя в черном костюме с золотыми петлицами и фуражке, в которой он походил на полицейского. У него были выпуклые глаза, и я не могла определить, сколько ему лет: иногда он выглядел очень молодо, а временами казался старше папы.

– Доброе утро, сеньора. Меня зовут Эулоджио.

Левой рукой он снял фуражку, обнажив темную бритую голову. Он протянул свою огромную, покрытую мозолями правую руку сначала маме, а затем мне. Я никогда не чувствовала такой горячей руки. Это был тот самый человек, который за несколько дней до этого подобрал нас в порту, но мы не обратили на него особого внимания. Мне было трудно понять, что у него за акцент: я не знала, было ли проглатывание частей слов и произношение звука «с» с придыханием типичным для кубинского испанского. Впрочем, он мог быть иностранцем, приехавшим с другого острова или, быть может, из Африки. Теперь мы знали имя нашего водителя, хотя он еще не сказал нам свою фамилию, и он должен был сопровождать нас на протяжении всего нашего пребывания на Кубе.

Выехав из отеля «Насьональ», мы проследовали по проспекту О, а затем свернули на улицу Калле, 23. Вместо названий проспекты обозначались буквами алфавита, которые в этом направлении встречались в обратном порядке. Я открыла в машине окно, чтобы почувствовать горячий ветер и услышать шум города. Затем я закрыла глаза и попыталась представить, как папа едет в поезде вместе с Лео и герром Мартином, а потом они прибывают на Северный вокзал в Париже. Они поедут на такси в район Марэ и будут жить на временной квартире, пока наши американские визы не будут готовы.

Я видела не улицы Гаваны, а парижские бульвары. Я представляла себе папу, как в книгах, которые он мне показывал: сидящим в открытом кафе за чтением газеты, пока мы с Лео бежим на одну из старейших площадей столицы Франции, площадь Вогезов, где, как рассказывал папа, можно было заглянуть в окно комнаты, где писал Виктор Гюго.

Затем машина резко затормозила, возвращая меня на остров, где я не хотела оставаться. Я скоротала время, считая белые каменные метки, обозначающие каждую улицу.

Мы свернули на проспект под названием Пасео, а затем снова на Калле, 21. После того как мы проехали проспект А, машина остановилась за несколько ярдов до следующего поворота.

Мама сразу же узнала дом, как только увидела его. Она толкнула тяжелые железные ворота, и мы вошли в сад, поросший желтыми, красными и зелеными кустами кротона. В глубине сада виднелось небольшое крытое крыльцо. Это был крепкий двухэтажный дом, довольно скромный по сравнению с соседним особняком, занимавшим участок вдвое больше нашего. Сеньор Эулуджио начал выгружать наши чемоданы, а я осталась стоять на тротуаре, желая изучить район, в котором нам предстояло жить следующие несколько месяцев.

Мама остановилась на пороге, ожидая, пока человек с самой темной кожей, которую она когда-либо видела в своей жизни, откроет ей дверь. На пороге появилась коренастая женщина с седеющими волосами. На ней была белая блузка, черная юбка и синий фартук.

– Добро пожаловать, – сказала она вежливым, но твердым голосом. – Я Гортензия.

Вход вел прямо в квадратную комнату с лепниной на стенах и потолке. Крошечный дворец посреди Карибского моря! Мебель имитировала классический французский стиль: кресла с медальонными спинками, ножками-кабриолями и позолоченной окантовкой. Увидев их, новоиспеченная сеньора Розен разразилась смехом:

– Куда это мы попали? Ханна, добро пожаловать в Малый Трианон!

Длинный проход соединял эту комнату с задней частью дома. В глубине находилась столовая, заставленная тяжелой мебелью, среди которой был стол с зеркальной столешницей. Лестница вела на второй этаж, где находились четыре просторные спальни. Повсюду были зеркала в золоченых рамах и бесконечные изысканные маркетри.

Моя спальня находилась над крыльцом и выходила окнами на улицу. Мебель была светло-зеленого цвета: маленький туалетный столик в форме полумесяца, окруженный зеркалами, и платяной шкаф, вручную расписанный цветами. Я открыла дверь, думая, что это чулан, но оказалось, что это моя ванная комната. Я удивилась, увидев напольную плитку, которая сразу же вернула меня на вокзал Александерплац: она была того же зеленого цвета, как в том кафе, где я встречалась с Лео в полдень.

Спальня моей матери находилась в задней части дома и была обставлена мебелью из темного дерева с четкими, прямыми линиями. Мы с Гортензией смотрели из окна – которое отныне будет закрыто – на гостевой дом над гаражом, который занимал большую часть двора.

– Там я живу, – сказала Гортензия. – Комната Эулоджио находится по соседству.

Мать была далеко не в восторге от того, что на участке живут другие люди, но она ничего не сказала. В конце концов она поняла, что это, вероятно, лучше, чем если бы они жили в доме. Миссис Сэмюэлс заверила маму:

– Они абсолютно надежны.

На первом этаже был кабинет для моего отца: мне нравилось, что мы по-прежнему думаем о нем. Рядом с кабинетом находилась небольшая библиотека, заставившая маму выйти из оцепенения, в которое она впала после первого разговора с низкорослой, пухлой Гортензией, которая должна была стать нашей единственной компаньонкой на неопределенное время. Она просматривала названия и имена авторов, отвергая большинство из них с типичным для нее выражением лица: поднимая бровь, прикусывая губу, качая головой и закатывая глаза.

– Кубинская литература? Я не хочу, чтобы здесь был хоть один автор с этого острова, – пренебрежительно сказала она.

Я не была уверена, что Гортензия знает этих авторов, но она все равно кивнула. Каждый раз, когда мама проходила мимо какого-нибудь окна, она закрывала его, но она впустила солнце в кухню и столовую, рассчитывая, что именно здесь Гортензия будет проводить большую часть времени. В любом случае, окна здесь выходили не на улицу, а на задний двор.

– Эулоджио – очень трудолюбивый молодой человек, – сказала Гортензия покровительственным тоном. Это стало ответом на мой вопрос: Эулоджио не был старым, он даже не был ровесником моих родителей. Я подумала, что он должен быть старше меня на десять или двадцать лет, хотя его лицо имело изможденное выражение, как у старика. Меня распирало от любопытства. Мне хотелось узнать, откуда он родом, кто его родители, живы ли они или уже умерли.

Я поднялась в свою комнату и услышала, как пришла миссис Сэмюэлс. Сверху слышно было все, что говорили в доме, а также звуки

снаружи. Я начинала понимать, каково это – жить в шумном городе в доме, похожем на проходной двор.

Я опустила на кровать, закрыла глаза и подумала о папе и Лео. Мы должны были остаться с ними: *мы все были бы сейчас в Париже!* Я попыталась заснуть, чтобы замедлить ход мыслей, но услышала свое имя и снова прислушалась: мы собирались пробыть в Малом Трианоне три месяца, и в это время нам нужно было проявить осмотрительность.

– В этой стране к иностранцам относятся недоброжелательно, – объясняла миссис Сэмюэлс. – Коренные жители считают, что мы приехали, чтобы украсть у них работу, собственность и бизнес. Не стоит носить драгоценности или слишком яркие наряды. Не берите с собой ничего ценного. Если выходите на улицу, держитесь в стороне от толпы. Все постепенно придет в норму, и о «Сент-Луисе» забудут.

Данный список ограничений, с учетом которых мы должны были жить, нас несколько не беспокоил.

– Занятия начнутся через два месяца, – добавила миссис Сэмюэлс. – Балдор – лучшая школа для Ханны. Это совсем рядом. Я обо всем договарюсь.

Два месяца! Целая вечность! Ко мне вдруг пришло осознание, что наше «временное пребывание в Гаване» продлится не несколько месяцев, а растянется не меньше чем на год.

* * *

Когда на Кубе идет дождь, появляется целый фейерверк запахов. Бриз, терпкий морской воздух, запахи мокрой травы и побелки на стенах – все смешивается воедино. Мой мозг забил тревогу, пытаюсь различить каждый запах в отдельности. Я не могла привыкнуть к ливням: казалось, что наступил конец света.

– Будьте готовы к ураганам! Из окна вы увидите, как черепица летит в воздух, а деревья падают. Такое бывает только на Кубе, Ана! – воскликнула Гортензия.

– Меня зовут Ханна, и по-испански вы должны произносить это имя так, как будто в начале у него стоит *J*, – поправила я ее сразу же так строго, как только могла.

– О, девочка моя, Ана гораздо проще, но как пожелаешь, Хана так Хана. Поживем – увидим: в школе ты не сможешь постоянно всех поправлять.

В этот момент я подумала о Еве. Я впервые вспомнила о ней с тех пор, как мы уехали из Берлина. Ева была со мной с самого рождения, но она всегда относилась к нам с почтением. Гортензия, которая только что познакомилась с нами, относилась к нам с непривычной для нас фамильярностью.

Когда лето почти закончилось – если на этом острове вообще бывает лето, – мы получили первые новости от папы. Его письмо с парижским почтовым штемпелем шло до Гаваны больше месяца. Когда Эулоджио передал маме почту, она побежала в свою комнату и закрылась там. Она отказалась спуститься поесть и не отвечала, когда мы звали ее.

– Я в порядке, не волнуйтесь, – вот и все, что она сказала.

Тогда мы подумали, что, возможно, ее отстраненность связана с медицинскими осмотрами, потому что она сама ходила к врачу и никогда не позволяла Гортензии или мне сопровождать ее. Гортензия подумала, что, возможно, возникли проблемы с ребенком или у нее низкое давление, а возможно, и кровотечение.

– Мы должны дать ей отдохнуть, – посоветовала она мне.

Мама подождала, пока в доме погасят свет, а Гортензия и Эулоджио уйдут к себе, а потом пришла ко мне в комнату.

– Мы получили письмо от папы, – просто сказала она. Затем она легла рядом со мной, как в те дни, когда весь мир был у наших ног.

Папе было нелегко связаться с нами. По плану мы должны были встретиться в Гаване или Нью-Йорке. Он жил аскетично, в довольно тихом районе Парижа. Ситуация там тоже была напряженной, но не такой плохой, как в Берлине.

Я хотела, чтобы мама рассказала мне побольше, чтобы посвятила меня в детали.

– Отец написал, что мы должны следить за собой, хорошо питаться и думать о ребенке, который скоро родится. Мы должны набраться терпения, Ханна.

Я постараюсь набраться терпения. Какой у меня был выбор? Но мне нужно было увидеть папу.

Услышать папу.

– Почему он не написал для меня несколько строк? – рискнула спросить я.

– Папа обожает тебя. Он знает, что ты очень сильная – намного сильнее, чем я, и он так тебе и сказал.

Я заснула в маминых объятиях. Мне не снились кошмары, но я погрузилась в глубокий сон. Завтра будет новый день, хотя на Кубе самым неприятным было то, как тяжело и медленно шло время и какими многочисленными были паузы. День мог показаться вечностью, но мы привыкнем к этому.

На самом деле я хотела справиться о Лео. Узнать, живут ли он и его отец в одной комнате. В безопасности ли они. Папа должен был упомянуть об этом в своем письме. Я хотела спросить маму, но решила не делать этого: лучше пойти к ней в комнату и найти письмо, чтобы прочитать его втайне или даже оставить его себе. Только страх перед тем, что произошло на борту «Сент-Луиса», удерживал меня: я не хотела, чтобы эпизод с капсулами повторился. Если бы мамин разум пошатнулся в Гаване, я могла потерять ее: ее могли забрать в клинику, запереть или даже депортировать, и я никогда больше не увижу ее. О, но я так хотела увидеть и потрогать папино письмо!

Мама так и не согласилась показать мне его. У меня даже возникла мысль, что она придумала его, чтобы подпитывать мои надежды, хотя прекрасно знала, что ни у кого из нас нет будущего, что папа умер во время обратного путешествия через океан или что он так и не нашел страну, которая бы его приняла, и ему пришлось вернуться в Германию.

Я никогда по-настоящему не понимала маму. Я пыталась, но проблема была в том, что мы с ней оказались слишком разными. Она это знала.

С папой все было по-другому. Он не стеснялся выражать то, что чувствовал, даже если это были боль, разочарование, потеря или осознание неудачи. Я была его маленькой девочкой, его отдушиной, единственной, кто его понимал. Единственной, кто не предъявлял к нему требований, не обвинял его в чем-либо.

Перед завтраком, в тот день, когда мама наконец-то уезжала рожать в Нью-Йорк по временной американской визе, надев свободный жакет, чтобы скрыть беременность, она позвала Гортензию и меня в гостиную. Мама крепко сжала руки Гортензии и посмотрела ей прямо в глаза.

– Я не хочу, чтобы Ханна выходила из дома. Оставайся здесь всегда, когда сможешь. Каждый понедельник утром мистер Даннон будет приходить узнавать, что вам нужно. Присмотри за Ханной для меня, Гортензия, – сказала она, завершая свою просьбу легкой улыбкой.

Пока мама была далеко, я все надеялась, что папа напишет и что его письмо получу я, а не мама, но ничего не приходило. К тому времени началась война. Англия и Франция объявили войну Германии через два дня после ее нападения на Польшу 1 сентября. Я представляла себе папу среди бесконечной серости парижской осени и зимы, не имеющего возможности покинуть ту мрачную мансарду, где он жил.

* * *

После отъезда матери жить стало легче. Мы открыли окна, и я помогала Гортензии по хозяйству. Она научила меня готовить заварной крем, рисовый и хлебный пудинги и открытый пирог с тыквой по рецептам, переданным ей бабушкой по материнской линии, которая была родом из испанской Галисии и всегда готовила изумительные десерты.

Однажды я сказала Гортензии, что хочу научиться делать торт с глазурью на день рождения. Но она продолжила заниматься делами, ничего не ответив.

– Когда у тебя день рождения? – выпытывала я.

Гортензия передернула плечами.

Я подумала, что, возможно, на Кубе не регистрируют новорожденных детей или что Гортензия могла приехать из другой страны – из Испании, как ее бабушка, и поэтому у нее нет свидетельства о рождении.

– Я свидетель Иеговы, – осторожно сказала она. – Мы не празднуем дни рождения и Рождество.

С этими словами она повернулась ко мне спиной и пошла мыть посуду. Мне было стыдно за такую неосторожность и за то, что я поставила ее в неловкое положение. Я попыталась представить себе ее чувства. Я вспомнила последние месяцы, проведенные в Берлине, и как нам было горько от того, что к нам относились с презрением. Та самая

нечистая религия. Значит, и сама Гортензия была в каком-то смысле нечистой. Я закрыла глаза, и перед моим внутренним взором возникла картина, как ее преследуют по улицам Берлина, избивают, арестовывают и выгоняют из дома.

Судя по ее реакции, можно было подумать, что эти «свидетели», вероятно, также считаются нежелательными лицами в Гаване. Гортензия не проявляла гордости за свои убеждения, хотя и не стыдилась их: скорее, тон ее голоса говорил о том, что их следует держать в тайне.

– Не волнуйся, – хотелось мне сказать ей, – мы тоже не празднуем Рождество. – *То есть, если только, начав новую жизнь здесь, мама не решит отпраздновать его, чтобы выдать себя за «нормального» человека и скрыть тот факт, что она беженка, которую не примет ни одна страна.*

Мне нравилось проводить время с Гортензией, которая была вдовой, как она сказала мне в один из душных вечеров. В то время, чтобы я не чувствовала себя одиноко, Гортензия спала в соседней комнате. Я повторяла, что не боюсь и что меня можно оставить одну – ведь мне уже двенадцать лет, но она обещала маме, а обещание приравнивалось к долгу, который она должна была выполнить.

Муж Гортензии умер от страшной болезни, о чем я предпочла не расспрашивать. У нее была младшая сестра Эсперанса, которая недавно вышла замуж и теперь жила на окраине Гаваны.

– Это была такая чудесная свадьба, – сказала мне Гортензия. При этих словах ее глаза засияли, возможно, потому, что ее собственная свадьба не стала чем-то особенным, или потому, что ее семейная жизнь закончилась так печально.

У Гортензии никогда не было детей. Теперь ее сестра должна была пополнить семью, которая, казалось, вот-вот вымрет.

– Она – свидетель, и ее муж тоже, – сказала Гортензия, понизив голос.

Еще один наш общий секрет, которым мы решили ни с кем не делиться.

К этому времени я начала посещать школу Балдор, и каждый день после обеда я возвращалась оттуда с еще более твердым убеждением, чем когда-либо, что учиться мне нечему. Мне было скучно в школе, где из меня намеревались сделать юную леди. У нас были уроки

портняжного дела, кулинарии, машинописи, рукоделия и письма. Меня называли полячкой, и я с этим смирилась. Я не пыталась завести друзей, потому что знала, что в конце концов мы покинем остров, где нам нечего было терять. В школе постоянно говорили о войне, и именно это меня по-настоящему пугало.

Всякий раз, когда приносили почту, я надеялась получить письмо от папы, но на наш адрес приходили только открытки от мамы из Нью-Йорка. Полеты могли быть приостановлены, потому что во время войны могло случиться все, что угодно: мне пришло в голову, что ради блага ребенка мама может решить остаться там и жить в нашей квартире на Манхэттене. Кто тогда возьмет на себя все расходы? А моя виза и документы? У меня не было доступа ни к чему. Я чувствовала себя брошенной и нашла отдушину в Гортензии, которая больше рассказывала о жизни своих родителей в Испании, чем о своей собственной жизни на Кубе. Возможно, наш остров был временным пристанищем и для нее, бездетной вдовы, обреченной похоронить своих близких здесь – в стране, где, вероятно, похоронят и ее, поскольку Испания давно стала миражом.

* * *

– Это мальчик. Он весит семь фунтов. Его назвали Густавом. Сеньора Альма прислала весточку, пока ты была в школе.

Гортензия была больше счастлива, чем я. Она рассказывала мне подробности, помешивая десерт на медленном огне. Я думаю, я была бы больше рада рождению сестры, чтобы с ней можно было играть и поехать жить в Париж, к папе.

– Рождение мальчика – прекрасное событие, – заверила меня Гортензия. – Мужчина сможет устроить свою жизнь и позаботиться о вас – двух женщинах, оставшихся в одиночестве в этой стране.

Когда я узнала, что я больше не единственный ребенок в семье, я пошла в нашу маленькую домашнюю библиотеку, намереваясь сделать маме сюрприз по возвращении. Я постаралась убрать с полок все книги, написанные кубинскими авторами, как она хотела, когда мы только приехали. Это должно было стать моим подарком для нее.

Эулоджио отвез нас в книжный магазин в центре Гаваны, где мы искали любые произведения из французской литературы. Единственной трудностью стало то, что книги были на испанском языке: изданий в оригинале не было. Гортензия указала на человека, который работал в книжном магазине или, возможно, был его владельцем.

– Он поляк, как и ты.

– Я не полячка! – выпалила я. – Что это за одержимость поляками?

Увидев меня, мужчина улыбнулся: казалось, он сразу понял, что я такой же фантом, как и он. Что я носила такую же метку на лице. Что мы оба были нежелательными людьми, затерянными в городе, безжалостно испепеляемом солнечными лучами. Мы с Гортензией подошли спросить о книгах на языке оригинала.

Сначала он заговорил со мной на иврите, из-за чего я дернулась. Дальше он продолжил на немецком, но я тут же ответила ему на испанском. Когда он понял, что я буду настаивать на своем, он напомнил мне, опять же на иврите, что никто не поймет, что мы говорим, и что не нужно бояться. У меня к глазам подступили слезы, и он, должно быть, увидел, как я испугалась.

Не плачь, Ханна, никто тебе ничего не сделает, сохраняй спокойствие, сказала я себе, хотя у меня вдруг подкосились ноги. Я не должна была выходить из дома, я должна была последовать совету миссис Сэмюэлс! Спрятаться, не привлекать внимания, избегать всех кубинцев, жить с закрытыми окнами, в полной темноте. Я пришла в себя, решив не сдаваться.

– Где я могу найти книги Пруста на французском языке? – спросила я по-испански.

Мужчина с огромным носом и курчавыми волосами, с которых на плечи его пиджака летела перхоть, ответил на испанском с немецким акцентом, что из-за войны он не может гарантировать прибытие книг из Европы.

– Раньше любой заказ из Франции доходил сюда меньше чем за месяц.

Дружелюбно улыбнувшись и дав длинное объяснение на французском, которым он владел гораздо лучше, чем испанским, он спросил, не француженка ли я.

Но у меня получилось только поблагодарить его в ответ. Гортензия была изумлена моей робостью, но она ни о чем не спросила. Мы

вышли из книжного магазина, нагруженные произведениями, которые наверняка понравятся моей матери: Флобер, Пруст, Гюго, Бальзак, Дюма – все на испанском языке. Идеальное дополнение к ее Малому Трианону. Оставалось выяснить, будет ли Густав давать ей время читать, что всегда было для нее огромным удовольствием.

Эулуджио не мог понять, зачем нам нужны новые книги, если мы еще не прочитали все те, которые были в библиотеке. Он считал, что они хороши лишь для того, чтобы полки не выглядели пустыми. Как только не развлекаются богатые люди!

Поскольку «сеньора Альма» отсутствовала, мы нарушали правила. Например, Гортензия сидела со мной на заднем сиденье и настойчиво советовала найти себе друзей:

– Следующие несколько лет пролетят незаметно, и если ты не выйдешь замуж, останешься старой девой. И превратишься в заносчивую молодую женщину, а в этом не будет ничего хорошего.

Замечания Гортензии рассмешили меня. Пока мы ехали домой, ветер врвался в открытые окна и ерошил нам волосы. В воображении я видела лицо Лео. Я была уверена, что он придет за мной, и мы будем вместе всю жизнь. Но это был мой самый дорогой секрет, и у меня не было причин рассказывать его Гортензии.

Самым лучшим в нашем времяпрепровождении с Гортензией было то, что оно в определенной степени помогало мне забыть о наших настоящих проблемах. Я поняла, что для того, чтобы выжить, правильнее всего жить настоящим. На этом острове не было ни прошлого, ни будущего. Судьба писалась здесь и сейчас.

Незадолго до того, как мы добрались до нашего дома, проезжая по улицам, заполненным водителями, которые игнорировали все указатели и знаки, я набралась храбрости и спросила Эулуджио о его родителях. Он рассказал мне, что его семья была очень бедной. Отец оставил мать с девятью детьми: шестью мальчиками и тремя девочками. Эулуджио был средним ребенком. Ему удалось вырваться из нищеты благодаря дяде по материнской линии, который был водителем и научил его всему, что умел сам. Дядя говорил, что из всех его братьев и сестер он единственный был честным человеком и имел характер. Эулуджио помогал своей матери и при любой возможности навещал ее. Остальные члены семьи выросли, и судьба разбросала их по всему острову. Его дедушка и бабушка были рабами из Африки, но его семья

происходила из Гуанабакоа, очень красивой маленькой деревушки, окруженной холмами, где все друг друга знали.

– Где находится Гуанабакоа? – спросила я, заинтересовавшись.

– Это в юго-восточной части города, недалеко отсюда. Когда-нибудь я отвезу тебя туда. Уверен, тебе понравится. Я там вырос и знаю ее, как свои пять пальцев.

Он резко затормозил, чтобы дать возможность женщине, толкающей повозку, перейти дорогу перед нами.

– Там же находится и кладбище вашего народа, – добавил Эулоджио.

Я не могла понять, что он имеет в виду. Наступило минутное молчание. Это была неловкая ситуация, особенно для Гортензии, которая чувствовала себя виноватой за то, что позволила мне так близко сойтись с работником. Если моя мать узнает об этом, ее и Эулоджио могут уволить.

Но вместо того, чтобы молчать, я продолжала задавать вопросы:

– Кладбище какого народа?

Гортензия смотрела на Эулоджио, ожидая, что он ответит. Когда мы повернули за угол на Пасео, чтобы выйти на Калле, 21, он объяснил:

– Кладбище, где похоронены поляки.

Анна

2014

Первым местом, которое мы посетили в Гаване, было кладбище. Я никогда раньше не была в городе мертвых. Но тетя Ханна настояла на том, чтобы посетить Альму – ее мать, папину бабушку и мою прабабушку, – которая была похоронена в кубинской земле в 1970 году. Мама была не в восторге от этой идеи, но когда она видит, что я полна энтузиазма, она уступает.

Итак, мы забрались в очередную развалюху: Каталина впереди, мы втроем – сзади. Тетя Ханна искупалась в фиалковой воде, а мама намазалась толстым слоем солнцезащитного крема, после чего стала похожа на труп.

Когда мы ехали по проспекту 12 и пересекли Калле, 23, чтобы попасть на кладбище, я ощутила запахи всех видов цветов, срезанных, чтобы утешить живых.

Тяжелый аромат роз и жасмина смешивался с легким запахом цветов апельсина и базилика. Венки насыщенного зеленого цвета, а также красные, желтые и белые розы были сложены на тележке, которую тянула исхудалая старуха с грязными волосами и обветренной кожей.

Я собиралась фотографировать, но машина продолжала ехать вперед. Затем мы остановились, чтобы Каталина купила розы. Запах сигарет и пота, исходивший от старухи с тележкой, аромат цветов и вонь на дороге ударили мне в нос, и я задержала дыхание, наводя на нее камеру. Она в страхе отступила назад. Моим легким нужен был кислород, и я схватилась за тетю, чтобы она защитила меня исходящим от нее ароматом фиалок. Слишком много запахов!

Тетя Ханна восприняла мой жест как проявление привязанности и погладила меня по горячим от жары щекам. Мама гордилась мной – мной, всегда такой одинокой и отстраненной, проявившей дружелюбие к тому единственному человеку, который оставался связующим звеном с отцом, которого я никогда не знала. Я закрыла глаза и постаралась отпустить себя. Впервые я почувствовала близость с тетей.

Кладбище выглядело как настоящий обнесенный стеной город. Входную арку венчала религиозная скульптура.

– Она символизирует веру, надежду и милосердие, – объяснила Каталина, поймав мой взгляд.

Мы припарковали машину на территории кладбища и вышли, чтобы пройти остаток пути пешком. Каталина несла красные и белые розы, заткнув за ухо веточки базилика.

– Они освежают, – пояснила она.

Видя, что я пытаюсь охватить все вокруг, она стала моим гидом.

– Сеньора Альма еще не обрела покой. Она много страдала. Она ушла из жизни с тяжелым багажом, а ты должна идти к месту своего упокоения налегке. Запомни мои слова, дитя. И тебя это тоже касается, – сказала она, повышая голос, чтобы тетя Ханна могла ее услышать.

Нас удивила та фамильярность, с которой Каталина обращалась к тете Ханне. Она не использовала уважительную форму обращения в испанском, хотя и всегда была вежлива. Но она разговаривала с тетей Ханной так, как будто у нее больше опыта.

– Мы должны оставить прошлое позади, – произнесла Каталина, вдыхая запах роз. И продолжила: – Это для сеньоры Альмы. Ей все еще очень нужна помощь!

Мы шли медленно, но не из-за тети, а из-за Каталины, которая с трудом переставляла ноги и постоянно обмахивалась веером. Тетя Ханна опиралась на мамину руку, глядя на аллеи с мавзолеями.

Сойдя с главной аллеи, мы поразились морю мраморных скульптур: насколько хватало глаз, повсюду были кресты, украшающие памятники лавровые венки и перевернутые факелы. Настоящая ода смерти.

Некоторые мавзолеи походили на разграбленные дворцы. По словам тети Ханны, многие из них подверглись нападениям вандалов.

– Великое общество в упадке, – прошептала мама.

Я остановилась, чтобы прочитать надписи на нескольких надгробиях. Одно было посвящено героям республики, другое – пожарным, третье – мученикам и, конечно же, военным и литературным героям. На одной могиле я прочла такую эпитафию: «Добрый прохожий, отвлекись на несколько мгновений от жестокого мира и посвяти любящую, мирную мысль этим двум существам, чье земное счастье было прервано судьбой и чьи бранные останки покоятся в этой усыпальнице во исполнение священного обещания. Приносим

тебе вечную благодарность». Это помогло мне отвлечься от невыносимой майской жары.

По просьбе Каталины мы направились в центральную часовню. Она сказала, что хочет помолиться за своих умерших, да и за наших тоже, как я полагала. Ожидая ее, мы стояли в тишине. Когда Каталина вышла, мы свернули на проспект Фрай Хасинто, чтобы найти семейную гробницу Розенов, и наконец оказались у мавзолея с шестью колоннами и открытым входом. Храм, дававший тень упокоившимся в нем и тем, кто приходил их навестить. Фамилия семьи была выгравирована на самом верху.

Всего насчитывалось пять надгробий, по одному на каждого из Розенов, независимо от того, родились ли они, жили или умерли на острове, который должен был стать временным пристанищем. Первая надпись гласила: «Макс Розен, 1895–1942»; вторая: «Альма Розен, 1900–1970»; третья: «Густав Розен, 1939–1968», четвертая – для моего отца: «Луис Розен, 1959–2001». На пятом камне надписи не значилось: я предположила, что он предназначался для тети Ханны, последней Розен на острове.

Каталина с большим трудом опустилась на колени перед могилой моей прабабушки Альмы, поскольку в конечном итоге объяснила она, госпожа Альма единственная, кто действительно был похоронен здесь. Остальные захоронения символические. Навечно в мавзолее останутся только две женщины, которые однажды сошли на берег с лайнера, не имевшего пункта назначения. Мужчины умерли далеко отсюда, и их тела так и не были найдены.

Каталина сложила руки, опустила голову, а затем стояла несколько минут, произнося молитвы за женщину, которая «пришла в этот мир, чтобы страдать, и оставила его полным печали». Она возложила розы на могилу моей прабабушки, затем очень медленно выпрямилась. Мама вытащила из сумки четыре камня – где она их нашла? – и положила их на каждую из четырех могил. Каталина выглядела почти оскорбленной – ее глаза широко раскрылись от удивления, как будто она ждала объяснения такой неделикатности, но никто не удосужился его дать.

– В мире нет ни одного мертвеца, который бы предпочел камень цветку, – сказала она мне шепотом, чтобы не расстроить маму и мою тетю, которой, по всей видимости, пришлось по нраву подобный жест женщины, которая также любила ее обожаемого Луиса.

– Цветы вянут, – объяснила я Каталине, – а камни остаются. Они будут тут всегда, если только кто-нибудь не осмелится их сдвинуть. Камни защищают.

Сколько бы я ни объясняла, Каталина никогда не поняла бы. Для нее розы стоили денег: их выращивали и за ними ухаживали. А пыльные камни появились неизвестно откуда. Неправильно класть их рядом с усопшими.

Продолжая ворчать, Каталина остановилась, взяла меня за руку и попросила следовать за ней. Тетя Ханна и мама по-прежнему стояли в молчании у мавзолея, который построила моя прабабушка, когда получила известие о смерти прадедушки. Когда мы шли сюда, тетя рассказала, что в тот день Альма дала обет: все Розены, закончившие свои дни на острове, а также те, кто родился здесь, должны быть похоронены в семейном склепе. Для прабабушки прощения не существовало. Она винила остров во всех несчастьях и поклялась, что «по крайней мере в течение последующих ста лет» Куба будет расплачиваться за трагедию ее семьи.

– Проклятие Розенов! – заключила тетя Ханна с покорной улыбкой, признавая ненависть, которую ее мать безуспешно пыталась внушить ей.

Каталина привела меня к часто посещаемой могиле, усыпанной цветами. Я увидела нескольких человек, которые благоговейно стояли перед выточенной из белого мрамора женщиной с младенцем, прислонившейся к кресту. Поклоняющиеся удалились, не поворачиваясь спиной к скульптуре.

Когда я навела на нее камеру, Каталина бросила на меня суровый взгляд.

– Не здесь, – сказала она, прикрывая рукой объектив.

Она прикрыла глаза на несколько минут, прежде чем снова заговорить. Наконец она сказала, ничего не поясняя:

– Это гробница Амелии ла Милагроса – Чудотворицы.

Ожидая продолжения, я наблюдала за молчаливым ритуалом паломников, посещающих гробницу.

– Ла Милагроса была женщиной, которая умерла при родах. Ее похоронили с младенцем в ногах, но когда спустя годы гробницу вскрыли, то увидели, что она держала ребенка на руках.

Каталина заставила меня подойти поближе и погладить мраморную головку ребенка.

– На удачу, – шепнула она мне.

Когда мы вернулись к семейному мавзолею, то увидели, что тетя Ханна держит руку на надгробии матери. Когда она выпрямилась, мне пришло в голову, что именно мы, ее потомки, должны будем выгравировать ее имя на надгробии, оставленном для нее пустым. Когда-нибудь мы приедем сюда и оставим на нем камень. И если Каталина переживет ее, она принесет ей цветы.

– Я думаю, пришло время вернуть себе нашу настоящую фамилию, – серьезно проговорила тетя Ханна, глядя на фамилию, выгравированную на стене этого крошечного греческого храма посреди Карибского моря. – Мы должны снова стать Розенталями.

Пока тетя разговаривала со своей матерью, она положила на надгробие еще один камень.

В сумерках мы вернулись домой, и мы с мамой легли спать без ужина. Я думаю, это обеспокоило мою тетю и Каталину, но дело в том, что мы очень устали. В постели мама бесконечно рассказывала мне о тете Ханне, пока я не заснула.

Она говорила, что тетя Ханна худая и хрупкая, но ее защищает присутствующее ей достоинство. Я тоже поражалась тому, как прямо она держит спину, в точности как балерина. Мама отметила, что ее движения очень женственны, и в них присутствует необычная мягкость. И несмотря на все то, что она пережила, на ее лице никогда нельзя было увидеть ни намека на горечь.

– Я вижу в ней тебя, Анна. Ты унаследовала ее красоту и решимость, – прошептала она мне на ухо. Я едва слышала ее, так как сон уже подкрадывался ко мне. – Нам так повезло, что мы нашли ее!

Ханна

1940–1942

Моя мать скучала по утренней прохладе. Она ненавидела бесконечное лето и постоянные тропические ливни на острове.

– Это архипелаг лягушек и дикарей. Разве ты не скучаешь по смене времен года? Думаешь, мы когда-нибудь снова будем радоваться осени, зиме или весне? Лето должно быть сезоном, а не вечностью, Ханна, – повторяла она.

Мы жили на острове, где было только два сезона: сухой и влажный, где все росло очень буйно, где все жаловались и говорили только о прошлом. Как будто они знали, что такое прошлое на самом деле! Прошлого не существовало, это была иллюзия. Назад дороги не было.

Теплым и влажным днем тридцать первого декабря мама вернулась в Гавану с Густавом. Это был самый крошечный ребенок, которого я когда-либо видела. Ни одного волоска на голове, и очень крикливый.

– Он похож на ворчливого старика, – смеялась Гортензия.

Появление ребенка изменило требовательную сеньору Альму, по крайней мере, на некоторое время. Она не жаловалась ни на открытые окна, пропускающие солнечный свет, ни на шум голосов и звон посуды соседей, когда те кормили своих детей рисом и черной фасолью. Она также не возражала, когда мы включали на кухне по радио дурацкие мыльные оперы, полные предательств, слез и внебрачных беременностей, или когда Гортензия учила меня готовить вкусные пончики, или когда мы наводнили дом запахами ванильной эссенции и корицы.

В ту первую ночь мы с мамой и братом остались одни. Эулоджио уехал встречать Новый год со своей семьей в Гуанабакоа, а Гортензия попросила несколько дней отпуска. Они оба должны были вернуться не раньше 6 января. Как только они уехали, мама преподнесла мне большой сюрприз:

– Папа в порядке!

Я не стала спрашивать, откуда она знает. Если бы она получила другое письмо, то сказала бы мне. Я старалась не показывать никаких

эмоций и только пыталась развлекать малыша, который не реагировал ни на песни, ни на смешные звуки.

Отсутствие новостей от Лео занимало все мои мысли. Я не понимала, почему от него не было никаких известий.

Я вдруг поняла, что мы впервые оказались одни в незнакомом, враждебном городе. Одни, с новорожденным ребенком, без семейного врача, без человека, к которому мы могли бы обратиться в экстренной ситуации. Гортензия оставила нам немного приготовленного мяса, об остальном позаботилась я. Когда мама увидела, что я пошла на кухню, она явно не могла поверить своим глазам. Казалось, она думала: *Я потеряла дочь! Если бы я отсутствовала еще месяц, я бы ее совсем не узнала.*

Она вернулась в свою комнату с ребенком в плетеной корзинке, которую Гортензия принесла домой перед возвращением матери из Нью-Йорка. Она выстлала ее красивыми одеялами, расшитыми голубым шелком, и назвала «Моисей». Она говорила: Подвинь сюда «Моисея», «Не надо, не ставь его так высоко!», «Покачай ребенка в «Моисее», и ты увидишь, он быстро заснет. Сначала мы даже не понимали, что она имеет в виду.

Этот «Моисей» оказался очень полезным в первые месяцы жизни Густава, потому что мы могли легко носить его по дому и даже выносить на террасу, чтобы на закате или рано утром он мог застать солнце, когда оно было самым ласковым – если так можно было сказать. Мама говорила, что, как и растениям, детям нужны тепло и свет, и поэтому я организовала ежедневные солнечные ванны для брата.

В тот последний день декабря мы втроем уснули около девяти часов в комнате моей матери. Это был долгий, утомительный день. Густав требовал, чтобы его кормили каждые три часа, иначе его крики были слышны, наверное, даже на Северном полюсе. Каждый раз, когда мама кормила его грудью, он засыпал, но стоило ему проснуться, как он снова начинал протестовать. И этот цикл длился бесконечно.

У нас не было настроения праздновать. На самом деле праздновать было и нечего: мы вдвоем застряли на Карибах: папа скрывался с другими «нечистыми» людьми в Париже, за ними по пятам шли огры. А теперь у нас был маленький мальчик, который все время заставлял меня задаваться вопросом, зачем мы привели его в этот враждебный

мир. Так что мы легли спать, почти не осознавая, что один год закончился и начинается другой, такой же ужасный.

В полночь мы услышали взрывы и необычную для нашего тихого района суматоху. Мама проснулась, закрыла окна и задернула шторы. Мы пошли в мою комнату, чтобы выглянуть через ставни, и увидели, что наши соседи выбрасывают на улицу ведра с водой. Некоторые из них даже бросали ведра, наполненные льдом. Непонятно было, что происходит: угрожают они нам или это просто буйный местный обычай.

Наша соседка открыла бутылку шампанского экстравагантным жестом: пробка, вылетев, чуть не попала в наше окно. Она отпила прямо из бутылки и передала ее своему мужу, лысому, без рубашки, с очень волосатой грудью. Потом началась музыка: гуарача и крики «С Новым годом!» со всех сторон.

Закончился не только год, но и десятилетие. Зловещий 1939 год уже принадлежал прошлому. Мама наблюдала за странным местным празднованием из нашего Малого Трианона, защищенная стенами дома, который она постепенно превращала в крепость.

Увидев нас в окне, соседка подняла бутылку, из которой шла пена, и прокричала:

– С праздником! Счастливого 1940 года!

Мы снова легли спать и проснулись уже в другом десятилетии.

Наша жизнь изменилась. У нас появился новый член семьи: маленький мальчик, который проводил больше времени на руках у незнакомой женщины, чем у матери. Мало-помалу, хотя нам было трудно это признать, Гортензия по-своему стала еще одним Розенталем.

* * *

Я не могла понять, почему эта женщина так решительно пыталась покрыть Густава тальком и зачем смачивала его голову одеколоном каждый раз, когда переодевала. Как только его брызгали этой пахнущей спиртом сиреневой жидкостью, он начинал реветь.

– Это помогает от жары, – уверяла Гортензия.

На этом острове «охлаждение» было манией. Или скорее навязчивой идеей. Та же идея «охлаждения» объясняла наличие пальм,

кокосовых орехов, зонтиков, электрических и ручных вентиляторов, а также лимонада, который пили в любое время дня и ночи. «Садитесь у окна, тут ветерок...», «Давайте пройдемся по другой стороне улицы, где есть тень...», «Давай подождем, пока солнце сядет...», «Пойди окунись...», «Накрой голову...», «Открой окно, чтобы было больше воздуха...» С «охлаждением» по важности мало что могло сравниться.

Гортензия выкрасила комнату моего брата в голубой цвет и повесила на окна кружевные занавески, которые очень подходили к белой мебели. Густав пока что был всего лишь розовым пятном среди голубых простыней, а его веснушки и рыжеватые волосики только начинали появляться. Его единственными игрушками были деревянная лошадка-качалка, стоявшая без дела у окна, и печального вида серый плюшевый мишка.

Мы говорили с ним по-английски, чтобы подготовить его к будущему переезду к папе в Нью-Йорк. Гортензия смотрела на нас в недоумении, пытаясь понять язык, звучащий для нее грубо.

– Зачем вы усложняете жизнь бедному ребенку, который еще даже первого слова не сказал? – бормотала она про себя.

Она говорила с Густавом по-испански, с материнской мягкостью и своеобразным ритмом, к которому мы не привыкли. Однажды утром, когда она переодевала его, мы услышали, как она разговаривает с ним:

– Что хочет сказать мой милый маленький поляк?

Мы с мамой широко раскрыли глаза, но ничего не сказали, просто рассмеялись и позволили ей продолжать. В тот день я поняла, что мама еще не сделала Густаву обрезание, нарушив древнюю традицию. Я не осуждала ее: у меня не было на это права. Я понимала, что она делает все, что в ее силах, чтобы стереть все возможные следы вины – вины, которая заставила нас бежать из страны, которую я когда-то считала своей. Она хотела спасти сына, дать ему шанс начать жизнь с нуля. Он родился в Нью-Йорке, сейчас живет на Кубе и никогда не узнает, откуда родом его родители. Это был идеальный план.

Но, с обрезанием или без него, здесь Густав был бы просто еще одним «поляком».

Гортензия, не спросив у нас, подарила брату маленькую золотую булавку с бусинкой. Маме было неловко: она не знала, поблагодарить ли за подарок, вернуть ли его обратно или заплатить за него. Она также думала, что носить булавку на ночных рубашках опасно, даже если она

из золота. Маленькая бусинка, висящая на булавке, всегда была прикреплена к его белой льняной рубашке с той же стороны, что и сердце.

– Она сделана из черного янтаря, который отваживает зло, – объяснила Гортензия маме очень серьезно. Она не искала одобрения или неодобрения, потому что была уверена: мы тоже желаем мальчику только добра. Черный камешек на груди должен был стать его талисманом. Мы согласились с Гортензией, понимая, что если часть детства Густава пройдет на Кубе, он должен научиться ладить с обычаями и традициями страны, которая его приютила.

* * *

За считанные месяцы мое тело вдруг изменилось: изгибы и выпуклости стали появляться там, где я меньше всего ожидала их увидеть. Из-за жары я начала носить свободные блузки, но однажды утром, увидев, как я поднимаю Густава из «Моисея», мама, казалось, внезапно поняла, что происходит, и тут же ушла на кухню, чтобы тайно побеседовать с Гортензией.

Я не была готова стать женщиной. В своих снах я все еще видела Лео мальчиком, и меня пугала мысль, что, пока я расту, он остается таким же маленьким, каким мне запомнился.

Через несколько дней появился Эулуджио с посылкой, которая должна была изменить нашу жизнь в Малом Трианоне. Это была швейная машинка «Зингер» вместе с запасом ткани, которая еле прошла в двери столовой. Я пришла в восторг, потому что, по крайней мере, теперь было чем заняться, и принялась раскладывать разноцветные рулоны ткани в шкафу вместе с коробками пуговиц, клубками пряжи, шелковыми лентами, пучками кружев, резинками и молниями. Это было еще не все: были также длинные рулоны папиросной бумаги, измерительные ленты, иголки и наперстки.

На маленьком железном столике стояло то, что Гортензия называла лапкой: механизм, содержащий иглу, шпульку и шкив. Внизу находился ножной привод, которым я любила управлять всякий раз, когда меня просили намотать нитку на шпульку, потому что у меня были «глаза позорче». Мы называли машинку просто «Зингер».

Дизайнер и швея проводили время, измеряя меня и придумывая выкройки для моего нового гардероба, который мы украсили бантами и кружевами. Они забыли о своих заботах и сосредоточились на подтяжках, воланах и складках. Вскоре после этого Эулуджио принес манекен, который вызвал у мамы почти что эйфорию. Я думаю, в те дни она была счастлива, хотя ее новая «кубинская униформа» и производила противоположное впечатление: черная юбка и белая блузка с длинными рукавами, застегнутая под самое горло.

Берлинский шик богини уступил место сдержанной простоте. По правде говоря, у нее не было ни времени, ни сил на ностальгию. Ее ритуалы красоты также свелись к домашней стрижке. Гортензии выпало следить, чтобы мамины локоны оставались длиной ровно до плеч.

– Стриги, Гортензия, не бойся! – подбадривала мама своего начинающего парикмахера, который осторожно отрезал волосы по сантиметру.

Гортензия вязала для Густава кардиганы, которые он отказывался носить, и накрахмаливала его воротнички так сильно, что он начинал выть, как только их видел. Чтобы утешить, она прижимала его к груди и пела народные кубинские песни о смерти и погребении, от которых у меня волосы вставали дыбом, но брата по какой-то непонятной причине это действительно успокаивало.

К двум с половиной годам Густав стал любознательным ребенком, беспокойным и непокорным. В нем не было ни капли розенталевской сдержанности: он проявлял свои эмоции более чем открыто. Меня он воспринимал скорее как тетю, чем сестру: еще мама и я были тронуты его близостью с Гортензией.

Для него испанский был языком ласк, игр, вкусов и запахов. Английский же означал порядок и дисциплину. Мать и я, очевидно, были частью последнего.

Мы упустили момент, когда имя Густав, в честь капитана корабля, превратилось в Густаво, но смирились с этим. Испанский вариант больше подходил этому нетерпеливому мальчику, который почти всегда бегал полуголый и весь в поту.

У него был зверский аппетит. Гортензия кормила его кубинской едой: рисом с черными бобами, куриным фрикасе, жареными бананами и сладким картофелем, густыми супами, полными овощей и колбасы, а

также десертами, которые я научилась готовить, как заправский повар. Вечерами я помогала Гортензии делать сладости, которыми она обычно баловала брата. На самом деле она наверняка с удовольствием назвала бы его своим ребенком: она все время говорила с ним, лепеча и сюсюкая.

Густаво ничего не унаследовал ни от матери, ни от меня. Мы не сумели передать ему ни одной привычки или традиции. Мы не знали, что будет, когда он узнает, что его родной язык – немецкий, и что его фамилия не Розен, а Розенталь.

Густаво все время проводил с Гортензией. Тревожная из-за отсутствия папы мама все меньше и меньше занималась его воспитанием. Неуверенность в себе, отсутствие вестей и невозможность думать о будущем не позволяли ей сосредоточиться на ребенке, которого она не собиралась приводить в этот мир. Иногда Густаво даже спал в комнате Гортензии или ездил с ней на выходные в дом ее сестры Эсперансы, где они так же не праздновали дни рождения, Рождество или Новый год.

Для Густаво жизнь за пределами Малого Трианона существовала благодаря этой простой женщине, которой мы платили за службу. По ночам Гортензия укладывала его спать, рассказывала ему страшные истории о ведьмах и спящих принцессах и пела колыбельные: «Спи, дитя мое, спи, любовь моя, засыпай, мое сердечко^[5]». Это было ее заклинание, чтобы заставить Густаво успокоиться до следующего утра.

Он был игривым, даже озорным. Ему нравилось сидеть на коленях у Эулоджио за рулем машины и представлять, что они мчатся на максимальной скорости.

– Ты далеко пойдешь в этой стране, мой мальчик, – одобрительно говорил ему Эулоджио. – О тебе еще узнают!

Его предсказания приводили нас в ужас. Зачем было «далеко идти» в этой стране, когда все, чего мы желали, – это как можно скорее уехать как можно дальше от здешней бесконечной жары?

* * *

Через три года я уже была ростом со взрослую женщину, слишком высокой для тропиков. Я была даже выше мальчиков из моего класса,

которые из-за этого меня избегали, считая подпевалой учительницы. Иногда бедная женщина действительно обращалась ко мне за помощью в усмирении этой кучки невежд, которые считали себя выше и лучше ее только потому, что были из богатых семей. Они все время дразнили меня:

– Поляки женятся только на своих, они моются не каждый день, они жадины и злюки.

Я делала вид, что не слышу: в конце концов, эти идиоты никогда не поймут, что я не полячка и что я ни за что на свете не хочу, чтобы они меня приняли в свою компанию.

Мама продолжала кроить и шить свои одинаковые черно-белые тропические наряды. Связь с папой была полностью потеряна, и мы ничего не слышали о Лео и его отце. Что еще мы могли поделать?

Вторая мировая война была в самом разгаре: каждый вечер, прежде чем закрыть глаза, я молилась о том, чтобы она закончилась. Но в своей молитве я никогда не просила, чтобы кто-то проиграл. Я желала только одного: чтобы порядок был восстановлен...

И под порядком я подразумевала прежде всего международную почтовую службу: я хотела получить письма из Парижа, узнать новости о наших близких.

Однажды днем – кажется, это был вторник – в середине лета, худшего времени года в этом богом забытом городе, адвокат, следящий за нашими финансами, без предупреждения появился у нас дома.

В тот день, который должен был пополнить список моих трагических вторников, я поняла, что сеньор Даннон был одним из нас. Несмотря на то что тропики смягчили его «нечистоту», он был таким же, как и Розентали, которым он помогал за ежемесячную плату. Однако его никогда не называли поляком, потому что предки его были выходцами из Испании или, возможно, даже из Турции.

Как и мы, его родители бежали и нашли убежище на острове, который принял всю семью, не разделив ее, как это сделали с нашей.

Суровым голосом сеньор Даннон попросил нас обеих присесть в гостиной. Гортензия вывела Густаво во внутренний дворик, чтобы оставить нас наедине. Хотя она не очень доверяла адвокату, она знала, что тот всегда приносит важные новости.

Я не смогу повторить то, что он сказал, потому что я мало что поняла. Только слова «лагерь» и «концентрационный» поразили меня. У меня никак не укладывалось в голове, почему мы до сих пор не расплатились за свою вину. Мне хотелось выбежать на улицу и крикнуть:

– Папа!

Но кто бы меня услышал? Что мы натворили? Как долго нам еще придется нести это бремя горя?

Я закрыла лицо руками и начала безудержно рыдать. *Папа! Папа!* Я могла хотя бы беззвучно звать его про себя и плакать перед сеньором Данноном, даже если маме это не нравилось. *Папа!*

Из внезапной солидарности адвокат, который вообще-то был для нас совсем посторонним человеком, вдруг рассказал, что тоже потерял свою единственную дочь. Эпидемия тифа, унесшая жизни тысяч детей в Гаване, держала ее в постели до тех пор, пока ее маленькое, хрупкое тело наконец не сдалось. Именно поэтому они с женой и решили остаться на Кубе, рядом с могилой ребенка.

Мне захотелось сказать ему: «У нас нет сил оплакивать неизвестную девочку. Как глупо с вашей стороны рассказывать такое. У нас осталось так мало слез, сеньор. Не ждите от нас сострадания. Нам самим есть что оплакивать».

– Папа!

Стало совсем невыносимо, и я громко закричала уже вслух. В тревоге вбежала Гортензия. Позади нее завопил Густаво.

Я побежала в свою комнату и закрылась там. Я пыталась успокоиться, вспоминая о Лео, но боялась представлять его в Париже. Я понятия не имела, что с ним случилось! Только тот Лео, которого я знала, тот, с которым я бегала по улицам Берлина и палубам «Сент-Луиса», мог помочь мне сейчас.

Все слезы, какие у меня были, вылились. Я ждала, когда утихнет боль в груди, чтобы в глазах не было видно муки и ненависти, снедавших меня. Мне отчаянно хотелось, чтобы случилась эпидемия тифа или еще какое-то бедствие, которое прекратило бы мои мучения. Я увидела себя в постели, желтую и слабую от брюшного тифа: спутанные волосы разметались по подушкам, вокруг врачи, и мама, бледная и нервная, стоит в углу комнаты. А что с папой? А Лео? Ни

один из них не появился в моем дневном сне, хотя именно я решала, как он начнется и закончится.

Мама, также закрывшись в своей комнате, провела ночь в отчаянии. Она заглушала рыдания подушкой, но я все равно ее слышала.

Я оставалась в комнате до следующего утра, пока не почувствовала, что слезы совсем иссякли. Гортензия не спросила, в чем дело. Должно быть, она подозревала самое худшее, но мы завтракали как ни в чем не бывало.

В конце концов, мы не знали о судьбе папы.

Я не осмелилась спросить, не лучше ли поехать в нашу квартиру в Нью-Йорке, где, как мама однажды сказала мне, из гостиной с видом на парк можно наблюдать восход солнца. В город, где четыре времени года и где растут тюльпаны. Наверное, мама боялась, что не сможет спастись от щупалец огров теперь, когда они достигли самых дальних уголков Европы. Париж был наполнен ужасными рупорами и задрапирован самым ужасным сочетанием цветов: красного, белого и черного.

Скоро мы почувствуем их присутствие и на Кубе, в стране, которая уже благоволила им. На самом деле я была уверена, что кубинцы заключили соглашение с ограми, чтобы предотвратить прибытие корабля, который мог бы стать нашим спасением.

С того дня мама больше никогда не подходила к «Зингеру». А я почувствовала, что наше пребывание на острове больше не временное. Оно будет длиться вечно.

Анна

2014

Диего явился только что из душа, с влажными волосами и в своей самой нарядной одежде: выглаженной рубашке, заправленной в мятые шорты, белых носках и черных кроссовках, которые он надевал по особым случаям. Я попыталась понять, чем он пахнет, но это было нелегко: смесь солнца, моря и талька. В Гаване все люди посыпают себя тальком. Его можно увидеть на женской груди, на руках младенцев, на шеях мужчин. Белый порошок смотрелся контрастно на коже Диего. Я поняла, почему он оставлял волосы влажными: так они выглядели расчесанными. А вот высыхая, его кудри превращались в один большой беспорядочный клубок.

То, чего мне нельзя было делать в Нью-Йорке, здесь стало в порядке вещей. Дело не столько в том, что мама сильно доверяла Диего, который, наверное, был одного возраста со мной: скорее, она не хотела идти против тети Ханны, которая уверяла, что ей не стоит волноваться, что Диего – хороший мальчик, которого любят все в округе.

– Пусть развлекается. С ней ничего не случится, – успокаивала она маму.

Мне кажется, я могла бы жить в Гаване. Здесь я чувствовала себя свободной: Диего тоже чувствовал это и смеялся. Он схватил меня за руку, и мы вместе побежали по боковой улице.

– К морю, – сказал он. На углу мы столкнулись с тощей собакой, и Диего остановился.

– Лучше пошли сюда, – сказал он и направился в противоположную сторону, к обсаженному деревьями проспекту, который я сразу же узнала: Пасео, тот самый, по которому мы ехали из аэропорта.

Диего боялся собак. Я не спросила почему, просто шла за ним, не говоря ни слова. Не хотелось смущать своего единственного здешнего друга. Мы пошли посередине Пасео к берегу.

– За морем нет ничего, кроме севера, где ты живешь, – объяснил он. – Мой отец однажды отправился туда и больше не вернулся.

Мы дошли до набережной, которая называлась Малекун. Мне стало интересно, как далеко простирается эта полуразрушенная

бетонная постройка. Я спросила Диего, вся ли Гавана окружена такой стеной.

– Ты с ума сошла, девочка? Это только часть стены. Давай пошли! – отозвался он и пустился бегом.

Хотя мне не хватало воздуха, я тоже бежала некоторое время, потому что не хотела потерять его из виду: не уверена, что точно помнила путь обратно домой.

Вверх по Пасео до Калле, 21, повторяла я про себя, чтобы не забыть. Пасео и Калле, 21, и там, да, думаю, я смогу найти дом тети. Кроме того, она единственная немка в этом районе, так что все должны ее знать и подскажут дорогу. Я не заблужусь.

Наконец Диего остановился и сел на шершавую стену, мокрую от соленых брызг и почерневшую от автомобильных выхлопов.

– Так что там творится с твоей тетей?

Его манеры вызвали у меня улыбку. Он не раздумывал, просто спрашивал все, что приходило в голову. Я решила присоединиться к этой игре и ответить ему в том же духе, но, прежде чем успела что-то придумать, он сказал:

– Моя бабушка говорит, что давным-давно твоя тетя задушила свою мать подушкой. Старуха не хотела умирать, поэтому тетя устала от нее и убила.

Я покатила со смеху, и он, увидев, что я не обиделась, продолжил свои рассуждения в стиле дешевой мыльной оперы:

– Похорон не было. Люди говорят, что она до сих пор хранит высохшее тело в мешке, спрятанном в шкафу.

– Диего, вчера мы ходили на кладбище, на могилу моей прабабушки. Я видела надгробие с ее именем. И в доме, честное слово, нет мумифицированного тела. Но если хочешь, можешь прийти и спросить мою тетю об этом в лицо. Я тебе разрешаю!

– Розены были прокляты с тех пор, как приехали на Кубу, – заторопился он, глотая окончания слов. – Один погиб в авиакатастрофе. Другой – когда рухнули башни-близнецы.

– Это был мой отец, – перебила я его, и на этом игра закончилась.

Диего посерьезнел и опустил глаза: ему стало стыдно. Я помолчала несколько мгновений, чтобы еще его помучить. Я не сказала, что никогда не знала своего отца, что он умер до моего рождения. Что

меня не расстраивает, если говорят о его смерти, потому что так было всегда: у меня нет никаких воспоминаний о нем.

Наконец он снова пустился бежать по улице Малекун, и мы оказались на площади, заполненной черными флагами и транспарантами со странными надписями. Из громкоговорителей доносилась какая-то речь, которую я не могла разобрать: «Мы всем обязаны революции», «Социализм или смерть», «Никто здесь не сдастся». И «Мы будем продолжать борьбу».

– Что это? – спросила я. Диего заметил, что я напугана.

– Ничего страшного, – сказал он, смеясь. – Мы привыкли.

И хотя он пытался меня успокоить, я была уверена, что попала в опасную зону. Люди в форме могут прийти и арестовать нас.

– Не волнуйся. Ты иностранка, а это почетнее, чем быть кубинцем. Никто не собирается тебя арестовывать. Если кого и арестуют, то это буду я, за то, что был с тобой.

– Давай уйдем отсюда, Диего. Я не хочу, чтобы дома волновались. Мы забрались слишком далеко.

От воплей громкоговорителей и объяснений Диего я еще больше занервничала и даже начала дрожать.

* * *

На следующий день за завтраком тетя Ханна ждала меня с пожелтевшей фотографией в руке. Уголки ее губ приподнялись в улыбке, а в глазах появился особый блеск.

– Это все, что осталось в память о моем отце, – сказала она, показывая снимок маленькой девочки, сидящей на коленях у женщины. – Еще была его желтая звезда, которую поместили в его могилу в мавзолее Розенов. Это была идея прабабушки Альмы.

На фотографии Альма и Ханна. Это был последний снимок перед отъездом из Берлина: мой прадед Макс хранил его на протяжении всех своих долгих испытаний.

– После того как «Сент-Луис» отплыл из Гаваны и ему не дали разрешения зайти в порты Соединенных Штатов и Канады, отец стал одним из двухсот двадцати четырех пассажиров, которых высадили во Франции. Возможно, потому, что он свободно говорил по-французски,

или потому, что знал город, папа оказался там, а не в Голландии или Бельгии: других двух странах, которые принимали пассажиров. Если бы он был среди тех двухсот восьмидесяти семи, которых отправили в Англию, – единственных, кого пощадили во время Второй мировой войны, кто не попал в концентрационные лагеря, – сегодня у нас было бы тело, которое мы могли бы положить в мавзолее рядом с телом моей матери.

Тетя Ханна рассказывала эту историю быстро, низким голосом, как будто сама не хотела ее слушать. Она перечисляла цифры и даты так холодно, что это удивляло маму. Улыбка тети Ханны угасла, а ее глаза стали туманно-голубыми.

– В ночь на 16 июля 1942 года мой отец стал одной из жертв печально известной облавы «Вель д’Ив», когда все «нечистые» были арестованы французской полицией. Он был отправлен в Освенцим, лагерь смерти... – Она вздыхает. – Он не выжил. Он был очень слаб, и я уверена, что он позволил себе умереть. В нашей семье мы не убиваем себя, мы позволяем себе умереть.

Она смотрит на нас с мамой и сжимает наши руки. Ее пальцы холодные, возможно, из-за проблем с кровообращением или потому, что она рассказывает нам то, что хотела забыть, но не смогла.

Мама, которая до сих пор сохраняла самообладание, начала беззвучно плакать. Она не хотела расстраивать тетю Ханну, которая изо всех сил пыталась закончить рассказ.

– Друг твоего прадеда по имени господин Альберт, который был с ним в первые месяцы в Освенциме, сумел сохранить фотографию и звезду. Папа попросил его передать их мне, потому что он думал, что моя мать, наверное, уже скончалась и покоится с миром. Они все недооценивали Альму, – тетя снова улыбнулась. – Она оказалась сильнее, чем мы думали. Пока не настал день, когда она больше не смогла жить дальше.

Мама теперь выглядела так, будто сердце у нее вот-вот разорвется. Тетя Ханна продолжала:

– Мы должны были остаться вместе на «Сент-Луисе». – Теперь тетя Ханна говорила тусклым голосом, а ее голубые глаза поблекли. – Господин Альберт, который закрыл папе глаза, посетил нас в Гаване после войны. – Она снова улыбнулась, как будто вспоминая, как они с

матерью были благодарны. – Он чувствовал себя в долгу перед человеком, который помог ему выжить.

Когда папа попал в лагерь смерти, господин Альберт никак не мог смириться с потерей жены и двух дочерей: он заболел. Папа ухаживал за ним, выполняя всю работу, которую ему приказали делать, вместо него, пока Альберт немного не оправился.

На этом тетя Ханна закрывает глаза и долго молчит.

– Работа освободит тебя, – вот, что они утверждали, – сказала она со вздохом. – Arbeit macht Frei. Такая была надпись на немецком языке над входом в этот ад. В один прекрасный день папа не выдержал и позволил себе умереть.

Еще одна длинная пауза.

– Возьмите себе желтую звезду Макса. Он был хорошим человеком, – сказал господин Альберт нам много лет спустя в Гаване. Он сказал, что его отправили в Освенцим, потому что он и его семья были свидетелями Йеговы. Затем он с грустью добавил: – Но мне не на кого оставить свой фиолетовый треугольник.

– Для меня господин Альберт был счастливым, – продолжила тетя Ханна. – Но для него счастливым был Макс. Какой смысл был выживать после того, как он стал свидетелем уничтожения жены, родителей, двух дочерей – всей его семьи? В его понимании, хотя папа погиб, зато мы две были в безопасности. Господин Альберт предпочел бы такую судьбу. Он был совсем один, с потерями в сердце и фиолетовым треугольником свидетелей Йеговы в кармане.

– Что случилось с господином Альбертом? – спросила я.

– Мы больше никогда о нем не слышали, – ответила тетя Ханна.

Каталина тем временем суетилась в столовой и ходила туда-сюда, не обращая внимания на мамины слезы, грустную улыбку тети и даже на историю, которую она должна знать наизусть, – историю о мертвых людях, которых она никогда не видела.

У нее свои проблемы, но она всегда готова помочь. Сейчас она пришла с кофейником.

– В этом доме нужно расставить побольше красных и белых роз, – сказала она, наполняя крошечные чашечки.

В моей памяти аромат роз смешался с ароматом горячего кофе, который Каталина готовила по строгому ритуалу. В Гаване люди пьют

кофе постоянно, чтобы сохранить бодрость. Тетя Ханна сделала глоток, прежде чем продолжить:

– Моя мама выплакала все слезы, которые у нее остались к тому времени, как узнала, что папу арестовали. Возможно, поэтому она ни перед кем не плакала, когда подтвердилась его смерть. После всех слез в Берлине, на «Сент-Луисе» и в этом темном доме в Гаване она могла только чувствовать возмущение. Оттого, что все произошедшее в Берлине повторилось в Париже, и оттого, что папа был побежден ужасом Освенцима. Ее боль сменилась холодным спокойствием.

Тетя Ханна рассказывала, что с того дня в доме больше никогда не открывали окна, не отдергивали шторы, не включали музыку.

Прабабушка решила жить в темноте. Она редко разговаривала и ела только по необходимости. Все время она проводила, закрывшись в своей спальне, читала французскую литературу на испанском языке, переводы, от которых истории из прошлых веков казались еще более далекими. Мне трудно представить, каково ей было.

Для тети Ханны стало большим сюрпризом, что прабабушка построила семейный мавзолей не на кладбище в Гуанабакоа – так называемом «польском кладбище», – а на кладбище Колун, самом большом на Кубе.

– Здесь будет место для всех нас, – говорила она всякий раз, когда приезжала руководить строительством мавзолея, – вспоминала тетя Ханна, подражая твердому тону голоса своей матери. – Она делала это не столько для того, чтобы почтить память своих близких, сколько для того, чтобы наши тела оказались на Кубе – в стране, которую она всегда винила в том, что она не приняла нас всех, когда корабль прибыл в порт Гаваны.

Снова молчание. Каталина, широко раскрыв глаза, покачивала головой.

– Она заставила меня пообещать ей, что я никогда не покину Кубу, – сказала тетя Ханна. – Мои кости должны покоиться рядом с ее костями на этом острове, который она хотела проклинать до своего предсмертного вздоха. «Они заплатят за все в ближайшие сто лет» – так говорила мама.

И тетя Ханна, подражая прабабушке Альме, драматично замахала руками в воздухе. Затем она снова замолчала.

Мы смотрели на нее в изумлении. Остаться в здравом уме все эти годы, наверное, было очень трудно. Должно быть, она бежала как можно дальше от наложенного на нее проклятия.

Каталина тем временем занималась своими делами, но, услышав о словах Альмы, вздрогнула и провела рукой по голове, как бы желая очистить ее от зла, которое еще может оставаться в доме. Она принесла тете Ханне стакан воды, чтобы помочь ей прочистить горло и позволить горю, душившему ее, вырваться наружу.

Каталина снова провела рукой по голове и пробормотала: – Отпусти ее! Уходите! С Богом, Альма!

Тетя Ханна дрожала. Пока Каталина расхаживала по столовой, неловкое молчание затянулось. Я решила его прервать.

– Что случилось с Лео? – спросила я, хотя мама уставилась на меня, будто пыталась заставить замолчать.

– Это уже другая история, – ответила тетя Ханна, снова улыбаясь. Затем она тяжело сглотнула. – После войны мне удалось связаться с братом матери Лео в Канаде. Она скончалась незадолго до капитуляции Германии. Это было время поисков, отчаянных попыток найти выживших, воссоединить разрозненные семьи. Никто ничего не знал. Пока однажды я не получила письмо из Канады.

Опустив голову, она заправила волосы за уши и вытерла салфеткой пот со лба.

– Лео и его отец так никогда и не высадились с «Сент-Луиса».

Ханна

1950

Мама стала неслышной, как призрак, а Густаво становился все более неуправляемым.

Эулоджио возил его в католическую школу Коледжио де Белен и обратно, но мы так и не встретили никого из его друзей. Еще с той поры, когда он был совсем маленьким, Гортензия брала его каждые выходные к своей сестре Эсперансе, потому что у той был сын Рафаэль. Несмотря на разницу в возрасте, у Густаво появился по крайней мере один друг для игр, хотя он и не был особенно рад посещению деревянного домика, который мог сровнять с землей любой сильный ветер и где постоянно говорили об апокалипсисе и боге, до которого ему не было никакого дела.

Он постепенно отдалялся от нас и особенно от Гортензии. В нем проявлялись жизненная сила, несдержанность и спонтанность, присущие кубинцам. Я полагаю, он стыдился нас с матерью: двух женщин, которые не могли открыто проявлять свои чувства и которые были полны секретов. Пара сумасшедших женщин, запертых в доме, где никогда не было газет, где не слушали радио и не смотрели телевизор, не праздновали дни рождения, Рождество и Новый год. В доме, где никогда не светило солнце.

Густаво злился даже на то, как мы говорили по-испански: нашу манеру выражаться он считал излишне сложной и претенциозной. Мы смотрели, как он приходит и уходит, будто чужой, и часто избегали говорить в его присутствии. За семейными ужинами, когда Густаво пытался говорить о политике, мы переходили на темы, которые он считал женскими и легкомысленными. Его место за столом все чаще оставалось незанятым.

Гортензия повторяла, что это просто типичное подростковое бунтарство, и продолжала баловать его, как будто он был ее вечным ребенком. Но для него самого Гортензия была всего лишь домашней прислугой.

Именно благодаря Густаво *гуарача*, сентиментальная музыка Гаваны, которая сводила мою маму с ума, вскоре проникла в дом. Он взял радио, которое не включалось годами, наверх, в свою

выкрашенную в голубой цвет комнату, и целыми днями слушал кубинскую музыку. Однажды, когда я проходила мимо его двери, я увидела, что он танцует. Он раскачивал бедрами, а потом резко приседал, а его ноги делали быстрые шаги в ритме этой безумной музыки с незаконченными фразами и куплетами, которые зачастую были не более чем хриплыми выкриками. И все же он был по-своему счастлив.

* * *

Я поступила в Гаванский университет и решила, что хочу стать фармацевтом. Я не хотела больше зависеть от денег, которые папа положил на счет в Канаде, поскольку мы не знали, сколько времени нам будет открыт к ним доступ. Когда я сосредоточилась на учебе, мама и Густаво отошли на второй план. Вдобавок предательство Лео, о котором я с запозданием узнала, позволяло мне думать о нем реже, и так мой мир ограничился органической и неорганической химией и методами количественного и качественного анализа. Каждый день я поднималась по ступеням университета, минуя бронзовую статую *Альма-Матер* перед входом, и входила в величественные залы фармацевтического факультета. Только здесь я чувствовала себя в безопасности.

Особняк в Ведадо отдалялся на несколько часов. Моя метка исчезла, и меня больше никто не называл полячкой, по крайней мере в лицо. Однажды один из моих любимых профессоров, сеньор Нуньез, маленький лысый человек с двумя пучками рыжих волос за ушами, подошел и положил руку мне на плечо, пока проверял у меня уравнения. Тяжесть его руки заставила меня почувствовать необъяснимую связь. Он был чем-то похож на меня! Может быть, фамилия Нуньез была ненастоящей, а может, он переехал сюда с семьей или в детстве?

Сама не понимая почему, я начала дрожать. Я так устала везде наткаться на своих призраков! Профессор Нуньез понял это: возможно, он сам был в похожей ситуации. Он не сказал ни слова, просто похлопал меня по спине и продолжил смотреть работы

студентов. Но с тех пор он ставил мне высшие оценки, даже когда я этого не заслуживала.

Каждый раз, когда я уходила с занятий и шла домой другой дорогой или бродила по городским дворам и улочкам, я вспоминала Лео. Я снова чувствовала свою маленькую руку в его руке, когда он вел меня по улицам Берлина. Кто знает, почему он принял именно то решение? В печальное время, которое сделало нас всех несчастными, мы все спасали себя, как могли.

Для меня было бы лучше, если бы я узнала о его предательстве, как только приехала в Гавану. Но мне пришлось ждать много лет, чтобы узнать, что Лео так и не избавился от наших ценных капсул – ни Розенталей, ни Мартинов. Он не выбросил их в океан, как он клялся во время нашего последнего ужина на борту «Сент-Луиса».

И я долго жила надеждой на то, что мы встретимся с ним снова, что мы создадим семью, о которой мечтали в те дни, когда он рисовал карты на воде в Берлине. Лео был не из тех, кто сдаётся. Но Лео, который остался на борту «Сент-Луиса», стал другим человеком. Боль утраты преобразует нас.

Я никогда не узнаю, что на самом деле произошло в тот день, когда «Сент-Луис» отплыл обратно в Германию. Мне хотелось думать, что Лео, гордый оттого, что нашел капсулы, рассказал об этом отцу. Как тогда было выбросить их в море? Невозможно! Ведь ему удалось вырвать их у отчаявшихся Розенталей. Спасение моей жизни было для него гораздо важнее. Возле Азорских островов, более чем на полпути назад в ад, увидев, что их бросили посреди океана безо всякой надежды на то, что какая-нибудь страна примет их, Лео и его отец, вероятно, нашли убежище в единственном месте, где они чувствовали себя в безопасности: в своей маленькой каюте, пропахшей краской. Затем они уснули.

Лео видел во сне меня. Он знал, что я жду его, что я буду ждать его с моей маленькой коробочкой цвета индиго, пока он не вернется и не наденет мне на палец бриллиантовое кольцо, которое принадлежало его матери и которое отец отдал ему для меня. Мы уедем жить к морю, подальше от Мартинов и Розенталей, от прошлого, которое больше не сможет причинить нам вреда. У нас будет много детей, безо всяких меток, не испытывающих горечи. Самый лучший сон.

В полночь герр Мартин, наблюдавший за глубоким, счастливым сном своего единственного ребенка, встал. Он посмотрел на мальчика, на его длинные ресницы.

Как он похож на свою мать! – подумал он. Этого маленького человека он любил больше всего на свете: его надежда, его потомство, его будущее. Он погладил Лео и поднял его на руки так нежно и медленно, как только возможно, чтобы не разбудить. Он почувствовал, как тело, согретое жизнью, касается его груди. Он не думал, не хотел анализировать то, что ему предстояло сделать. Но он знал, что другого выхода нет. Бывают моменты, когда мы знаем, что вынесенный приговор является окончательным. Для герра Мартина этот момент настал.

Он достал из кармана сокровище: маленький бронзовый контейнер, который, как ни парадоксально, купил он сам на черном рынке для герра Розенталя. Он отвинтил крышку. Достав крошечную стеклянную капсулу, он осторожно положил ее в рот двенадцатилетнему сыну. Большим пальцем он продвинул капсулу вглубь, за зубы, следя за тем, чтобы чтобы мальчик не проснулся. Лео вздохнул, поморщился и теснее прижался к отцу в поисках того, что только он мог дать: защиты. Отец снова обнял его. *Последнее объятие*, подумал он. Он прижался губами к щеке ребенка, который так слепо верил в него и так им восхищался.

Герр Мартин закрыл глаза. Он думал, что так сможет отстраниться от того, чего уже было не избежать. Он сжал хрупкие челюсти сына и услышал, как хрустнула маленькая стеклянная капсула, и этот звук эхом отозвался в глубине его сознания. Глаза мальчика открылись, но у отца не хватило мужества смотреть, как жизнь его сына угасает. Дыхание Лео стало сбиваться, он задыхался, он не мог понять, что происходит и почему горький, жгучий вкус во рту отрывает его от отца, с которым он отправился покорять мир.

Ни слез, ни жалоб. На это не хватило времени. Его открытые глаза, обрамленные огромными ресницами, уставились в пустоту. Герр Мартин поднес оставшиеся капсулы ко рту. Лучший способ убедиться, что он не переживет эту ужасную трагедию. Он не смел ни плакать, ни кричать: все, что он чувствовал, – это глубокая ненависть ко всему вокруг. Он отнял у сына жизнь. Только дьявольская сила могла заставить его совершить такое ужасное злодеяние. Он не хотел больше

продлевать агонию. Когда цианистый калий смешался со слюной, он не успел даже почувствовать вкус или шероховатость смертельного порошка на языке. Мгновенная смерть мозга. Через несколько секунд его сердце перестало биться.

Тела отца и сына нашли на следующий день, когда все пассажиры получили разрешение на высадку на берег за пределами Германии. В телеграмме капитану сообщили, что по санитарным нормам невозможно отложить похороны до прибытия в Антверпен. Мальчик с самыми длинными ресницами в мире был выброшен за борт вместе со своим отцом недалеко от Азорских островов.

Именно так я и предпочитала представлять себе конец моего единственного друга, мальчика, который верил в меня. Моего любимого Лео.

Анна

2014

Комната тети Ханны была очень простой и чистой. Она постаралась убрать оттуда все следы прошлого. Вот почему она прислала нам негативы, открытки с корабля, экземпляр журнала «Немецкая девушка» со своей фотографией на обложке. Она не хотела ничего хранить.

«Достаточно того, что это находится здесь, – говорила она, касаясь виска. – Хотя и оттуда я бы хотела все стереть».

Тетя могла закрыть глаза и легко передвигаться по большой комнате с окнами, выходящими на улицу, не натываясь на мебель: комод, кровать, ночной столик, кресло-качалку, подставку для шляп и шалей. Внутренним взором она видела каждый сантиметр этого пространства, которое, как она когда-то думала, будет для нее лишь временным жильем. Но спальня молодой девушки теперь стала спальней пожилой женщины.

Не было ни одной фотографии на стенах или полках. Ни одной книги. Я думала, что ее комната будет вся увешана фотографиями из берлинского детства или портретами ее предков. Но мы очень разные. Я всю жизнь обклеиваю стены своей спальни фотографиями, а она избавляется от них.

Иногда мне вообще казалось, что у нее никогда не было детства, что Ханна на фотографиях из Берлина и на обложке журнала – это другая девочка, которая погибла во время переезда.

На комодe стоял белый фарфоровый горшок, расписанный синей краской.

– Он из моей аптеки, но я ее потеряла. Тогда в этой непредсказуемой стране забирали все, – сказала она, не вдаваясь в подробности.

Она хранила горшок не из ностальгии по аптеке «Розен», которая раньше располагалась на углу улицы в Ведадо, а как емкость, чтобы класть туда все, что она хотела уберечь от вездесущей тропической пыли.

В шкафу с постоянно заедавшей дверцей я увидела целый ряд мягких белых хлопковых блузок и темных юбок из какого-то тяжелого

материала. Они стали ее униформой, которую она носила все последние годы жизни в Гаване.

Она открыла ящик своего ночного столика и показала мне маленькую синюю коробочку:

– Это единственное, что я сохранила в память о трех неделях на борту «Сент-Луиса». Скоро наступит время, когда я смогу выполнить свое обещание. Еще немного, и я открою ее.

Интересно, как она могла хранить коробку так долго, не пытаясь узнать, что там внутри. Она ведь знала, что Лео не вернется, что она потеряла его навсегда.

Она также показала мне фотоаппарат фирмы «Лейка», который отец подарил ей перед тем, как они сели на борт «Сент-Луиса».

– Возьми, Анна, – сказала она мне. – Это тебе. Я не трогала его с тех пор, как мы приехали в Гавану, так что, возможно, он еще работает.

Прежде чем она закрыла ящик, я увидела там обратную сторону фотографии, на которой что-то было написано. Мне удалось прочитать: «Нью-Йорк, 10 августа 1963 года».

Заметив мой интерес, она взяла фотографию и долго на нее смотрела. На снимке был изображен мужчина в шинели у входа в Центральный парк.

– Это Хулиан, с буквой J, – сказала она, улыбаясь.

Я никогда раньше не слышала этого имени, поэтому ждала пояснений.

Судя по тому, как она смотрела на него, а также по тому, что его фотографии не было в конверте, который мы получили в Нью-Йорке, я решила, что он не может быть из нашей семьи.

– Мы познакомились, когда оба учились в университете в Гаване. Это было очень беспокойное время.

Она снова посмотрела на черно-белую фотографию, размытую и слегка помятую.

– Мы не виделись несколько лет, потому что он уехал учиться в Нью-Йорк. Потом он вернулся, и мы снова встретились в моей аптеке. Мы были неразлучны, но потом он снова уехал. Все уезжают отсюда, кроме нас!

Когда я спросила, был ли он ее парнем, она громко рассмеялась. Затем она вернула фотографию в ящик, с трудом поднялась на ноги и вышла на лестничную площадку.

Ее спальню и наши разделяли две запертые комнаты. Тетя Ханна заметила, что я, не решаясь ни о чем спросить, изучаю их с большим любопытством.

– Это была комната Густаво! Мы виноваты в том, что создали такого монстра! У меня не хватило духу поселить там твоего отца, когда он в детстве приехал сюда жить. В те годы твой отец был нашей единственной надеждой. Теперь это ты.

Я держалась за перила, стоя на лестнице позади тети Ханны, которая осторожно переставляла ноги со ступеньки на ступеньку, пока мы шли вниз. Не потому, что боялась упасть, а чтобы держаться прямо. Я касалась стен, пытаясь представить себе отца, каким он был в моем возрасте, когда шел по этой лестнице за тетей, которая спасла его от взросления рядом с «монстром». Его родители погибли в авиакатастрофе, а бабушка слегла, и только тетя посвятила себя заботе о нем. Он рос под защитой маленькой крепости в Ведадо. Ему суждено было стать единственным, кто покинул остров, где Розентали дали клятву умереть.

Тетя Ханна, похоже, не собиралась больше ничего объяснять. Но с тех пор, как она произнесла слово *монстр*, описывая Густаво, она не могла не видеть, что мое любопытство не удовлетворено. Ведь много лет прошло между теми днями, когда Густаво был студентом, и авиакатастрофой. Но у меня будет еще шанс узнать: всему свое время.

Мы стояли вместе в дверном проеме. Несколько мгновений мы смотрели на сад, где, как говорила тетя, когда-то росли пуансеттии, бугенвиллеи и разноцветные кусты кротона.

– Здесь все чахнет. А я так хотела вырастить тюльпаны. Мы с отцом любили их.

Впервые я услышала глубокую ностальгию в ее голосе. Казалось, глаза моей тети полны слез, которые никогда не проливались, а только делали взгляд еще более синим.

Я оставила ее с мамой, потому что Диего собирался отвести меня осмотреть еще одну секретную часть города. Когда я увидела его, он сказал, как обычно, невпопад:

– Думаю, твоей тете должно быть не меньше ста лет!

Ханна

1953–1958

На Кубе погода меняется без предупреждения. Выходишь на улицу под палящим солнцем, потом ветерок пригоняет облака и все преобразается. Вы можете промокнуть за секунду, даже не успев открыть зонтик. Дождь хлещет как из ведра, ветер набрасывается на вас, ветки отламываются, сады затапливает. Когда дождь прекращается, от асфальта поднимается густой удушливый пар, все запахи смешиваются, фасады домов глядят облупившейся краской, и мимо проносятся испуганные люди. Но в конце концов вы привыкаете. Таковы тропические ливни: с ними невозможно бороться.

Я почувствовала, как на меня упала первая капля дождя, на углу улицы Калле, 23. К тому времени как я повернула направо, на проспект L, я уже промокла до нитки. Когда я поднималась по лестнице к фармацевтическому факультету, солнце снова светило, и моя блузка начала высыхать, но вода все еще капала с волос.

Но вдруг, секунду спустя, десятки студентов начали торопливо спускаться по ступенькам, пихая друг друга, как будто убегали от чего-то. Я увидела и других, сидящих на вершине скульптуры *Альма-Матер* и размахивающих в воздухе флагом. Они выкрикивали лозунги, которые я не могла разобрать, потому что их перекрывали полицейские сирены из патрульных машин, стоящих у подножия лестницы.

Девушка рядом со мной испуганно вцепилась в мою руку, сжимая ее без единого слова. Она плакала, охваченная паникой. Мы не знали, подниматься нам по лестнице или бежать по проспекту Сан-Лазаро прочь от университета.

Крики стали оглушительными. Затем раздался звук, как будто что-то громко ударилось о металл: возможно, это был выстрел. Мы окаменели. По лестнице сбежал парень, который велел нам быстро ложиться. Мы так и сделали, и перед моим лицом оказалась мокрая ступенька. Я положила голову на руки. Вдруг девушка рядом со мной вскочила и побежала вниз по лестнице. Я подвинулась к стене, чтобы меня не затоптали, а затем застыла как вкопанная.

– Теперь можно вставать, – сказал парень, но я отреагировала не сразу.

Я пролежала еще несколько секунд и, только поняв, что все окончательно успокоилось, подняла голову и увидела, что он все еще здесь, а мои книги у него под мышкой. Он протянул руку:

– Поднимайся, мне нужно идти на занятия.

Не глядя на него, я поднялась, расправляя юбку и безуспешно пытаюсь почистить блузку.

– А ты не собираешься представиться? – спросил он. – Я не отдам тебе книги, пока ты не скажешь мне свое имя.

– Ханна, – ответила я, но так тихо, что он меня не услышал. Он нахмурился, потом поднял брови – не понял – и переспросил громче:

– Ана? Тебя зовут Ана? Ты с фармацевтического факультета?

Еще один! Вечно я должна объяснять, как меня зовут.

– Да, Ана, но произносится так, будто начинается с испанского J, то есть «ха», – сказала я раздраженно. – И да, я учусь на фармацевта.

– Очень приятно, Ана-произносится-с-«ха». Но теперь мне нужно бежать на занятия.

Я смотрела, как он бежал вверх через две ступеньки. Добравшись до площадки, он остановился между колоннами, повернулся и крикнул:

– До встречи, Ана-через-«ха»!

Некоторые профессора в тот день не явились на занятия. В одной из аудиторий несколько испуганных студентов шептались о тиранах и диктатурах, переворотах и революциях. Меня же не пугало ничто из происходящего. Весь университет был в смятении, но мне не хотелось выяснять, против чего были протесты, и тем более не хотелось принимать участие в том, что не имело ко мне никакого отношения.

Когда пришло время уходить, я задержалась на некоторое время, пытаюсь что-то сделать с блузкой в туалете. Но бесполезно: она была совсем испорчена. Когда наконец я в плохом настроении вышла из здания, то снова увидела того парня, который стоял, прислонившись к дверному проему.

– Ты тот парень с лестницы, да? – спросила я, не останавливаясь и делая вид, что мне это неинтересно.

– Я не сказал тебе, как меня зовут, Ана-через-«ха». Вот почему я здесь. Я стою тут уже час.

Я улыбнулась, еще раз поблагодарила его и пошла вниз по лестнице. Он шел рядом, не отставая и молча наблюдая за мной. Его

присутствие меня не беспокоило: меня больше интересовало, как долго он собирается идти за мной.

Небо немного прояснилось. Темные облака виднелись вдаль, за проспектом Сан-Лазаро. Я подумала, что, возможно, в нескольких кварталах отсюда идет дождь, но предпочла не говорить пустой ерунды только для того, чтобы завязать разговор. Через несколько минут парень снова решил заговорить со мной:

– Меня зовут Хулиан. Видишь, нас объединяет испанское «ха».

Мне это не показалось особенно смешным. Мы уже стояли у подножия лестницы, а я все еще не сказала ни слова.

– Я изучаю право.

Я понятия не имела, что он ожидает от меня, поэтому молчала, пока мы не дошли до улицы Калле, 23, где я каждый день сворачивала налево к дому. Ему нужно было идти по проспекту L, поэтому мы попрощались на углу. Точнее, *он* попрощался, потому что все, что мне удалось сделать, – это пожать ему руку в ответ.

– До завтра, Ана-через-«ха», – услышала я его голос, когда он уже скрылся за углом.

Хулиан был первым кубинским юношей, обратившим на меня внимание. Но, очевидно, даже ему не удавалось правильно произнести мое имя. Хулиан носил длинноватые, на мой вкус, волосы, спадавшие непокорными локонами ему на лоб.

У него был длинный прямой нос и толстые губы. Когда он улыбался, его глаза чуть сужались под густыми черными бровями. И наконец-то я встретила юношу, который был выше меня.

Но больше всего в Хулиане меня поразили его руки. У него были очень длинные и широкие пальцы. Мощные руки. На нем была рубашка с закатанными рукавами, без галстука, а пиджак беспечно перекинут через плечо. Ботинки выглядели потертыми и грязными, возможно, из-за того, через что мы прошли несколькими часами ранее.

Со времени переезда в Гавану у меня не было ни малейшего желания заводить здесь друзей, ведь мы по-прежнему считали город временным пристанищем. Но в тот день, вернувшись домой, я обнаружила, что продолжаю думать о нем. Самое удивительное, что всякий раз, когда я вспоминала его лицо или голос, когда он называл меня «Ана-через-«ха», я ловила себя на том, что улыбаюсь.

Занятия в университете всегда были моим спасением. Теперь появилась еще одна причина, чтобы сбежать из дома: снова увидеть «парня с именем через «ха». На следующий день я пришла в университет рано, но не увидела его. Я даже подождала у входа несколько минут, но испугалась, что опоздаю на занятия. Лучше забыть того, кто даже не попытался правильно произнести мое имя, сказала я себе. За несколько минут до закрытия дверей, уже почти войдя в аудиторию, я вдруг в изумлении почувствовала его руку на своей. Не успев сама понять, что делаю, я повернулась к Жулиану и снова обнаружила, что улыбаюсь.

– Я пришел, потому что ты не сказала мне свою фамилию, Ана-через-«ха».

Я почувствовала, что неудержимо краснею. Не из-за того, что он сказал, а от страха, что он увидит, как я взволнована.

– Розен, – сказала я ему. – Моя фамилия Розен. Но теперь я должна идти, иначе меня не пустят в аудиторию.

Мне надо было спросить и его фамилию, но я слишком нервничала.

Когда я уходила после обеда, то с разочарованием обнаружила, что его нет. Не было его и на следующий день. Прошла неделя, а парень с лестницы все не появлялся. Но я продолжала думать о нем. Всякий раз, когда я пыталась учиться или засыпала, я вспоминала его смех и видела его кудри, за которые хотелось потянуть, чтобы выпрямить.

Но больше я его не видела.

* * *

Когда я закончила учебу в университете, я поговорила с мамой о том, чтобы открыть аптеку, которой я могла бы управлять сама. Она была не в восторге от моего предложения, потому что оно подразумевало постоянство, от которого она все так же отказывалась, хотя теперь, после семнадцати лет жизни здесь, все говорило о том, что у нас нет другого выхода. Она обсудила этот вопрос с сеньором Данноном, и он поддержал меня с большим энтузиазмом, тем более что это означало бы новый стабильный источник дохода.

В одну пасмурную декабрьскую субботу мы открыли аптеку «Розен».

Она находилась совсем рядом с нашим домом, напротив парка с огненными деревьями. Мама была не в восторге от идеи открывать бизнес в выходные. Она бы предпочла понедельник, но для меня понедельники были слишком близки ко вторникам. Поскольку я не отступила, она решила не приходить на церемонию разрезания ленточки в честь открытия.

В то время я проводила дни, а очень часто и ночи, делая лекарства, в мире, измеряемом в граммах и миллилитрах. Я наняла сестру Гортензии Эсперансу, которая стала «лицом» аптеки, или «провизором», как она любила себя называть. Стоя за узким прилавком, она обслуживала покупателей. Она была, как говорится, хороша в общении с людьми, что было для кубинцев чем-то из ряда вон выходящим. Она была чрезвычайно терпелива и снисходительно выслушивала жалобы местных. Иногда они приходили не за лекарствами, а просто чтобы их выслушали, чтобы облегчить свои страдания, поговорив с этой спокойной женщиной с ясными глазами.

Хотя она была намного моложе Гортензии, они выглядели ровесницами. Эсперанса не выщипывала брови и не пользовалась губной помадой: на лице ее, суровом и в то же время излучающем доброту, никогда не было и следа макияжа.

Эсперанса привела в аптеку Рафаэля, своего сына-школьника, и он начал помогать нам с доставкой продуктов на дом. Рафаэль был высоким и худым с прямыми темными волосами, орлиным носом, миндалевидными глазами и огромным ртом. Он говорил с людьми так же вежливо и уважительно, как и его мать. Но оба они жили в состоянии постоянной тревоги. На острове, где большинство людей принадлежали к одной религии, у них была другая вера: они разделяли с нами грех быть не такими, как все.

По этой причине я никогда не могла понять, почему, живя в постоянном страхе, оба они все равно иногда вставляли «слово Божье» в разговорах с людьми.

– Наша миссия – распространять слово, – говорили они мне.

К счастью, они никогда не пытались обратить меня в свою веру. Наверное, Гортензия сказала им, что я полячка и что лучше оставить всех поляков в покое.

Я чувствовала себя хорошо с Эсперансой и Рафаэлем, вдалеке от растущей горечи и боли моей матери. Она потеряла папу, оказалась в ловушке в стране, которую ненавидела, потеряла контроль над своим сыном Густаво. Она рассматривала аптеку как мою попытку стать счастливой, и это было чересчур для нее: она была уверена, что для Розенталей счастье всегда будет недостижимым. Преждевременная смерть была нашей неотъемлемой частью. Не было смысла притворяться кем-то другим.

Выход из дома также был рискованным предприятием. Призраки, люди-переселенцы, могли застать меня врасплох на любом углу. Вот почему я и поставила Эсперансу за стойку: я знала, что если бы я сама обслуживала покупателей, то рано или поздно кто-то появился бы, узнал меня и попытался вступить в диалог, которого мне до сих пор удавалось избегать.

Рафаэль ходил со мной на склады, чтобы забирать большие пакеты с товаром. По дороге я старалась не смотреть ни на кого из прохожих. Если кто-то подходил слишком близко или если на углу стояла группа молодых людей, я опускала глаза. Если я видела пожилую женщину, я переходила на другую сторону дороги. Я была убеждена, что обязательно встречу кого-нибудь из *них* где-нибудь. Это был мой самый большой страх.

Однажды во вторник мы шли по Калле I к Линеа, когда вдруг увидели сад. Я любовалась розами, растущими по обе стороны от главного входа. Посмотрев выше, я увидела современного вида здание, над дверью которого были древние надписи – я не видела их много лет, но сразу узнала. Из здания вышли три девушки, одетые в белое. Я застыла: не было сомнений, что они узнали меня. И снова призраки нашли способ меня догнать. Мгновенно я вся покрылась испариной.

Рафаэль, который понятия не имел, в чем дело, придержал меня за руку. Я смотрела в сторону, стараясь не обращать на девушек внимания, но когда все же оглянулась, увидела ироничные улыбки на их лицах – выражение извращенного удовлетворения. Они нашли меня, и я никак не могла спрятаться. Мы были одной породы: беженцы на острове. Мы бежали от одного и того же, но выхода у нас не было.

Рафаэль смотрел на меня, ничего не понимая.

– Это польская церковь, – сказал он, как будто я не знала, но в действительности я предпочла бы этого не знать.

Обратно со склада мы пошли другим путем. С того дня для меня эта улица больше не существовала.

* * *

В основном по вечерам, перед тем как запереть двери аптеки, Эсперанса, Рафаэль и я садились немного поболтать. Мы приглушали свет, чтобы никто не вошел и не прервал наши разговоры о старом брызге, который жил над магазином и пересчитывал каждую таблетку, которую ему выписывали, или о женщине, которая получила свои ампулы и попросила Рафаэля сразу вколоть их ей, или о мужчине, который каждый раз, когда брал лекарства для своей жены, предупреждал, что ему совершенно неинтересно слушать что-либо о Боге. В другие дни я оставалась одна на долгие часы, наблюдая за тем, как лопасти шумного вентилятора крутятся туда-сюда. Он висел так низко, что если я поднимала руку, то почти касалась его.

Часто по вечерам мы втроем слушали музыку: Эсперанса искала радиостанцию, где передавали испанские народные песни. И мы наслаждались песнями о невозможной любви, о заблудившихся кораблях, о расставаниях, безумствах, печалях, прощении, о полумесяцах, похожих на сережки, о шелесте пальм, украденных объятиях и бессонных ночах. Эти песенные мелодрамы смешивались со сладким запахом камфары, ментола, эфира, соли Виши и спирта для снижения температуры, которые в те дни продавались лучше всего.

Мы часто вместе смеялись. Эсперанса пела под ритм болеро, пока мы отдыхали после долгого дня. Потом они уходили домой, а мне приходилось возвращаться в темный Малый Трианон.

Гортензия не уставала благодарить меня за то, что я дала ее сестре и племяннику работу. Она не понимала, что единственной, кто должен быть благодарен, была я. Было бы очень трудно найти других надежных работников для моей аптеки, которая, по словам матери, была обречена на провал, потому что открылась в субботу.

Через несколько лет Густаво начал учиться на юридическом факультете и приходил домой все реже. Мы никогда не осмеливались спросить его, с кем или где он был, но боялись за него. По словам Гортензии, волна насилия снова выплеснулась на улицы Гаваны, но

после всего, что мы пережили в Берлине, ничто не могло помешать нам с мамой спать по ночам. Для меня город оставался таким же, как всегда: назойливо шумным, с неизменной жарой, влажностью и пылью.

Однажды вечером, когда мы все уже легли, Густаво неожиданно вернулся домой в разорванной рубашке, грязный и избитый. Гортензия отвела его в свою комнату, чтобы мы не пугались, но нам удалось увидеть его из полуоткрытого окна моей спальни. Мама не дрогнула.

Умывшись и переодевшись, Густаво поднялся в свою комнату и потом не выходил из дома в течение недели. Мы не знали, ищет ли его полиция, чтобы арестовать, или его отчислили из университета, хотя мы аккуратно продолжали платить за учебу. Ответ матери всегда был один и тот же: «Он взрослый. Он знает, что делает».

В конце недели за ужином он рассказал нам новости: студенческий лидер был убит, Гаванский университет закрыт. Услышав это, я не могла не вспомнить о Хулиане. «Ана-через-«ха», – услышала я совершенно отчетливо и представила, как он выходит из дверей юридического факультета. *Куда ты пропал, Хулиан? Почему ты больше не искал меня?*

Запах куриного фрикасе, которое поглощал Густаво, вернул меня в настоящее. Его голос был полон страсти, мой брат размахивал руками, говоря о смерти, диктатуре, угнетении и неравенстве. Гортензия наложила марлевую повязку на его висок, я не сводила с нее взгляда, когда лицо брата покраснело от ярости и бессилия. Он повысил голос, а я отвечала шепотом. Он все больше отчаивался, тщетно пытаясь взволновать меня своей речью. Гортензия нервно входила и выходила, убирая наши тарелки, наливая воду, и наконец с большим облегчением принесла десерт. Она думала, это означает, что ужин подходит к концу, что спор закончится и мы оба поднимемся в свои комнаты.

В какой-то момент я увидела, что на повязке Густаво появилось красное пятно. Сначала это была маленькая, едва заметная точка: затем она расплылась, и наконец тонкая струйка крови потекла к его уху.

Я очнулась на полу, рядом стояли Гортензия и Густаво. У него была свежая повязка вокруг головы, без следов крови. Я почувствовала, как тепло возвращается в мое тело. Гортензия улыбнулась:

– Поднимайся, девочка моя. Ешь свой пудинг. Ты собралась упасть в обморок из-за маленькой капельки крови?

Мама не выходила из-за стола. Я видела, как она медленно поднимает ложку с рисовым пудингом с корицей ко рту. Когда я встала, она извинилась и поднялась в свою комнату.

Мой обморок не встревожил ее: ее беспокоило, что Густаво втянул Гортензию в семейные дела, а также то, что он может быть каким-то образом связан с убийством, на стороне преступников или на стороне жертвы. Она считала любой из этих вариантов неприемлемым, потому что приняла решение выжить на острове, не привлекая к себе внимания. Стольким пожертвовав, чтобы стереть пятно, с которым она привела его в этот мир, теперь она наблюдала, как он втягивался в конфликты, которые могли оказаться фатальными для Розенов.

Густаво не мог понять, как мы можем быть такими холодными, как можем не реагировать на несправедливость в стране, которую он считал своей: как можем жить так изолированно от всего, что происходит вокруг нас. Он спросил обо всем этом меня, но к тому времени я была не в силах продолжать диалог, который никуда не приведет. *У меня мать, которая может сойти с ума в одночасье, и аптека, которой нужно управлять*, повторяла я себе бесконечно.

Густаво в своей обычной страстной манере начал рассказывать мне о социальных правах, тиранах, коррумпированных правительствах. Мне хотелось сказать ему: «Что ты знаешь о тираниях?», но мой брат родился с потребностью противостоять власти и изменять установленный порядок. Страсть, которую он вкладывал в свою речь, его агрессивные жесты и громкость голоса привели Гортензию и меня в смятение. Мы чувствовали, что в один прекрасный день он может проснуться, выйти на улицу в ярости и организовать национальное восстание. Он больше не верил в законы и порядки страны, которая, по его мнению, разваливалась на куски.

– Ты родился в Нью-Йорке и являешься американским гражданином. Ты можешь уехать отсюда без проблем, – напомнила я брату. Я просто пыталась предложить хоть какую-то альтернативу, но для него это было пощечиной.

– Никто тут не понимает меня! Неужели у вас нет крови в жилах? – закричал он в отчаянии, сжимая голову руками.

Яростно вскочив из-за стола, Густаво швырнул свою тарелку с десертом в угол. Гортензия побежала отмывать оставшееся на стене

пятно. Она бросила на меня умоляющий взгляд, чтобы я больше ничего не говорила.

– Оставь его, он скоро успокоится, – умоляла она меня шепотом, как мать, защищающая сына от его собственных ошибок.

Она была единственной, кто больше всех страдал от пропасти, разверзшейся между Густаво и нами. Она беспокоилась, что ее обожаемый ребенок попадет в беду.

– Кто защитит его, если с ним что-нибудь случится? Три женщины, запертые в особняке? – бормотала она.

В ту ночь Густаво поднялся в свою комнату, хлопнув дверью. Он бросал вещи на пол и ходил взад-вперед, разговаривая сам с собой. Потом он включил радио, заставив нас слушать гуарачу на полной громкости. Через полчаса он снова спустился с чемоданом. Он захлопнул за собой входную дверь и исчез.

Мы больше ничего не слышали о нем до конца бурного года, когда все радикально изменилось. В то утро мама предсказала, что скоро мы опять будем жить в ужасе.

Анна

2014

У мамы и тети Ханны теперь появился свой проект. Они заняты тем, что освобождают комнаты семьи, которой больше не существует. Я слышала, как они шептались и секретничали, как будто знали друг друга всю жизнь.

Тетя Ханна с трудом открыла старый ящик и достала оттуда кучу шерстяных шарфов разных цветов. Мама удивилась, увидев их: шарфы в такую тропическую жару?

– Возьми их с собой в Нью-Йорк, – сказала тетя, наматывая их вокруг моей шеи один за другим. Потом достала спицы и клубок пряжи. На этот раз удивилась я, пытаюсь понять, какой смысл в том, чтобы вязать вещи, которые никто никогда не будет носить.

– Это помогает при артрите, – объяснила тетя Ханна и пошла вниз по лестнице, опираясь на мамину руку.

Я оставила коллекцию шарфов на своей кровати – последний подарок, который я ожидала найти на Кубе, и сказала им, что иду на свидание с Диего. Его мама пригласила нас на обед, и он приехал за мной.

В грязно-белый дом Диего вела массивная деревянная дверь, которая, казалось, многое повидала за эти годы. С правой стороны от нее я увидела небольшой предмет, почти незаметный под слоями краски. Диего, кажется, не понял, почему я остановилась. Я подошла ближе и увидела, что это мезуза. Мезуза! Я не могла поверить своим глазам.

Внутри дома повсюду стояли коробки, как будто они собирались переезжать. Диего объяснил, что они используют их для хранения вещей.

– Например? – спросила я его.

– Ну, вещей, – ответил он, слегка удивленный моим любопытством.

В столовой был накрыт стол, покрытый виниловой скатертью.

Вошла мать Диего, улыбнулась, не представившись, и подарила мне поцелуй. Она была такая же худая, как и сын, с черными вьющимися волосами, длинной шеей и впалой грудью. Из-за чересчур

обтягивающего платья ее живот выглядел огромным. Прежде чем мы сели, Диего быстро объяснил ей, что моя мать – учительница испанского языка, поэтому я сказала ей по-испански, что я не немка, что я живу в Нью-Йорке и что мы почти одного возраста с Диего.

Мама Диего принесла дымящуюся миску белого риса, суп темного цвета и разноцветную тарелку с яичницей. Я быстро глянула на нее, чтобы понять, есть ли там колбаса, овощи или помидоры, но невозможно было угадать, что это за желтые и зеленые кусочки.

Я положила себе как можно меньше, чтобы они не расстраивались, если мне не понравится. Пока мы ели, я рассматривала семейные фотографии на стенах, пытаюсь понять, не похож ли кто-нибудь на моего кубинского друга или его мать. Может быть, это его бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки.

Я обнаружила еще кое-что: на серванте стоял семисвечник, и все семь ветвей были покрыты свечным воском. Удивленная и заинтригованная, я перестала есть. Мама Диего заметила:

– Не волнуйся, скорее всего, сегодня электричество отключать не будут. У нас не осталось свечей. В прошлом месяце отключали электричество несколько раз – это для экономии электроэнергии. Ешь, девочка моя, ешь.

Сначала мезуза, теперь семисвечник. И портреты их предков. Я некоторое время размышляла, о чем лучше спросить, и наконец выбрала один из фотопортретов, на котором была изображена пара.

– Это ваши родители?

Мать Диего не смогла удержаться от громкого смеха, хотя ее рот был полон риса и фасоли. Поднеся руку ко рту, она быстро дожевала, чтобы ответить до того, как я продолжу.

– Это фотографии семьи, которая раньше жила здесь. Нам дали их дом через несколько дней после того, как они покинули страну. Я была твоего возраста в то время.

Я не поняла, как имущество той семьи оказалось в собственности у этой. Видимо, они переехали в заброшенный дом.

– Больше тридцати лет назад был кризис, и правительство разрешило многим людям уехать. Они переплывали море на лодках, которые прислали их родственники из Соединенных Штатов, – начала объяснять мать Диего. – Это были ужасные месяцы. В газетах писали, что те, кто уезжает, – враги народа. Их называли подонками и

предателями. «Прекрасное избавление!» – гласили заголовки. Я помню, что в тот день, когда семья, которая жила здесь, уезжала, соседи ждали на улице, чтобы обругать их за то, что раньше называлось актом отречения.

Она не переставала есть, пока говорила. Я подумала, что это все не сильно ее расстраивает, ведь с тех пор прошло много лет.

– Они плевали в них и кричали: «Убирайтесь отсюда, черви!» – продолжила она. – Девочка из этой семьи ходила со мной в школу. Я не могла понять, какое преступление они совершили, чтобы с ними так обращались, и почему они назвали двенадцатилетнюю девчонку червяком. До сих пор помню, как она смотрела на меня из машины, когда они уезжали.

Я попыталась понять, есть ли девочка на какой-нибудь из фотографий на стене, но не смогла ее найти.

– В ее глазах было столько ненависти и боли, – сказала мать Диего. Сейчас она выглядела серьезной и уже не жевала. – А сегодня эти «червяки» внезапно превратились в бабочек, и мы принимаем их с распростертыми объятиями, – закончила она, а затем снова засмеялась. – Все меняется с годами. Или с нашими нуждами.

Она продолжила свой рассказ, а я пыталась улавливать суть, хотя мне было трудновато.

– Правительство передало их собственность моим родителям. Мы стояли в очереди на получение дома с тех пор, как ураган снес крышу с нашего.

Я представила себе мать Диего в комнате, которая когда-то принадлежала девочке, смотревшей на нее с таким презрением. Одежда девочки, игрушки – все стало ее. Она была самозванкой.

– Сначала я не могла спать в этой огромной комнате с портьерами, но потом привыкла.

Прервавшись, она пошла на кухню, а затем вернулась с ванильным пудингом в сиропе, который по вкусу немного напоминал лакрицу.

– Мои родители сохранили дом таким, каким он был, – сказала она, подавая десерт. Она сама ела пудинг быстро, словно боясь, что он может внезапно исчезнуть. – Они оставили портреты, мебель – все на тех же местах.

Десерт и история дома закончились. Улыбаясь, мать Диего начала убирать со стола. Я подошла к пыльному книжному шкафу и

остановилась перед старинной книгой в кожаном переплете. У нее был английский заголовок – самый длинный, который я когда-либо видела:

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо из Йорка, мореплавателя, который прожил двадцать восемь лет в одиночестве на необитаемом острове на побережье Америки, недалеко от устья великой реки Ориноко: его выбросило на берег кораблекрушение, в котором погибли все люди, кроме него самого. А также рассказ о его удивительном спасении пиратами. Написано им самим.»

Я повернулась к Диего.

– Я могу пересказать эту книгу почти слово в слово, – сказала я ему. – Для меня мой отец был Робинзоном, и я завидовала Пятнице.

Диего растерянно смотрел на меня. Он ничего не понимал. Я отвернулась и начала листать книгу. Прямо как Робинзон, иногда по ночам я записывала все хорошее и плохое, что случалось со мной. Я до сих пор помню многие записи: «Плохо: я никогда не знала своего отца. Хорошо: у меня есть его фотография, и я разговариваю с ним каждый день. Я знаю, что он со мной и защищает меня». Или первую страницу моего дневника-подражания Робинзону в мой седьмой день рождения:

– 12 мая 2009 года. Я, бедная, несчастная Анна Розен, осиротевшая после смерти отца посреди острова во время страшной атаки, добралась до суши совсем одна. – Я произнесла это вслух на английском, забыв, что Диего не может меня понять.

Мой друг посмотрел на меня как на сумасшедшую и начал смеяться.

– Могу я взять эту книгу? – спросила я.

– Конечно, ты можешь прихватить ее с собой, если хочешь. Никто в доме не читает.

Издание оказалось 1939 года, и на первой странице было посвящение на иврите: Девушке, которая является зеницей моего ока. И подпись: «Папа».

Ханна

1959–1963

На этом беспокойном острове новый год всегда приносил большие потрясения. Все могло кардинально измениться за одну ночь. Вы ложитесь в постель, засыпаете и просыпаетесь в другом, совершенно незнакомом мире. Типично для тропиков, как говорила мама.

В канун Нового года Гортензия наполнила дом ароматом розмарина. Мы посадили его на террасе и были поражены тем, как хорошо он растет. Мы собирали его в конце лета и сушили листья, которые Гортензия хранила в картонной коробке: осенью она готовила настойки для нас, и пока мы пили, рассказывала нам о волшебных свойствах этой травы. В последнюю ночь 1958 года мои руки, волосы и даже простыни пахли розмарином.

На следующее утро Гортензии не терпелось ввести нас в курс дела в своей обычной манере «конца света». Она стала нашим единственным контактом с внешним миром. Мы узнавали обо всем, что там происходило, со слов женщины, которая была уверена, что остров разваливается на куски, и придавала каждому событию оттенки своего катастрофического видения. По ее мнению, мы были все ближе к апокалипсису, к Армагеддону: мы жили в последние дни: конец света близок. Мы всегда благоразумно игнорировали ее проповеди о наступлении долгожданного Царства Божьего.

– Это война! Правительства нет! – закричала она, еще более взвинченная, чем обычно, едва увидев, как мы входим в столовую.

Обычно она имела привычку разговаривать с нами, не отрываясь от домашних дел, – иногда, если она при этом стояла спиной, было трудно понять ее, – но на этот раз она села за стол и понизила голос. Мы быстро сели рядом: я видела, что мама начала волноваться.

– Они улетели на самолете, после полуночи.

– Кто улетел? – перебила я ее.

О, эти рассказы Гортензии! Она всегда считала, что мы уже знаем, что происходит.

– Тот, кто всегда желал нам здоровья в конце своих речей. Теперь мы можем пожелать ему того же, – объяснила она.

Я подумала, что радость, возможно, затуманенная страхом перед тем, что может произойти, будет чувствоваться по всему острову, особенно в Гаване. Но мы жили на острове внутри острова, запертые в Малом Трианоне, так что у нас не было причин что-то праздновать.

Тот Новый, 1959 год мало кто отмечал в нашем районе. В основном все празднование шло вокруг отелей и главных магистралей города. Даже наша шумная соседка была очень осторожна: она не открыла свою бутылку шампанского в полночь. Только несколько человек выбросили на улицу ведра с ледяной водой. В воздухе висела неопределенность.

* * *

Густаво без стука распахнул входную дверь. На нем была неизвестная форма. Когда мы увидели, как он входит, в оливково-зеленом костюме с красно-черно-белой нарукавной повязкой – то роковое сочетание цветов, – мама закрыла глаза. История повторялась. Она сочла это своим наказанием.

Густаво подошел к ней и поцеловал, широко улыбаясь. Он обнял меня за талию и позвал Гортензию, которая прибежала с кухни, как только услышала его голос, даже не замешкавшись, чтобы вытереть руки. Позади него в дверях появилась молодая женщина, тоже в форме.

– Это Виера, моя жена, – сказал он.

Услышав это, мать застыла как громом пораженная. Она быстро оглядела новоприбывшую с ног до головы, изучая ее фигуру, черты лица, профиль, зубы, каштановые волосы и желто-зеленые глаза.

– Мы только что поженились. Виера беременна, так что еще один Розен на подходе!

Когда я смотрела на мать, я могла сказать, о чем она думает.

Мы не должны потерять этого ребенка. Посмотрите, что мы сделали с Густаво после бегства сюда, постоянно думая о тех, кто остался на той стороне Атлантики, так и не обосновавшись на острове, где мы должны были остаться. Этот ребенок станет спасением семьи, единственным, кто не будет нести бремя нашей вины.

Она встала с кресла, не обращая внимания на Густаво, подошла к Виере и обняла ее. Она бережно положила руку на еще плоский живот незнакомки, которая собиралась произвести на свет долгожданного ребенка, ее первого внука. Виера казалась испуганной, но позволила погладить себя этой старой женщине, которая, по словам ее мужа, жила в прошлом, отвернувшись от страны, где ей теперь приходилось обитать.

Альма не знала, радоваться ей или сетовать, что ее сын, которому она не сделала обрезание и которого отправила в школу, где совершили все возможное, чтобы стереть любые следы, которые могли бы стать знаком отличия, женился на нечистой женщине, такой же нечистой, как и мы. Она была уверена в этом. Кто знает, откуда была родом семья Виеры, как она вписалась в жизнь на острове... Альма не осмеливалась спросить ее фамилию. Какой в этом смысл? Ничего уже не исправить.

В тот Новый год мы также потеряли Эулоджио. Он решил, что пришло время начать свою жизнь за пределами чужой ему семьи. В одночасье он превратился из водителя в рабочего и впервые почувствовал себя свободным человеком в разгар революции, которая только начиналась. Наконец-то, сказал он Гортензии, в этой стране мы все равны, независимо от того, сколько у нас денег или в какой семье мы родились. Вскоре он собрал вещи и уехал, не попрощавшись.

Гортензия так и не простила его, но для мамы в его отъезде был и положительный момент: теперь нужно было выплачивать на одно жалованье меньше.

* * *

В последующие дни улицы стали заполняться боролатыми длинноволосыми солдатами: все они носили нарукавные повязки, которые невозможно было не заметить. Соседи выходили их приветствовать, женщины бросались к ним в объятия, некоторые даже целовали их. Пасео превратилась в военную магистраль. Толпы людей маршировали рядом с ними к главной площади, где всю ночь напролет слушали революционные речи от молодого лидера, который, очевидно, очень любил звук собственного голоса. Гортензия с гордостью рассказала нам, что Густаво поднялся на трибуну рядом с человеком,

который захватил власть силой оружия. Мама слушала ее с ужасом, но не проронила ни одной слезы. У нее их не осталось.

Однажды октябрьским днем Виера вышла из машины с ребенком на руках. Густаво остался рядом с водителем. Когда Виера увидела нас, она, не поздоровавшись, прямо объявила:

– Это Луис.

Она сказала это шепотом, чтобы не разбудить ребенка.

Мы в замешательстве посмотрели друг на друга: Луис? Густаво никогда не переставал удивлять нас. Мама, а потом и Гортензия взяли ребенка на руки. Я поцеловала его в лоб, подумав, что он больше похож на папину родню. Он родился с копной темных волос.

Виера не захотела ничего есть или пить, даже не захотела присесть.

– Густаво ждет меня в машине, он спешит. Я не хочу его расстраивать, – сказала она. И оба быстро уехали.

Гортензия принялась выяснять, откуда Виера родом, хотя, в конце концов, это было совершенно не важно, потому что мама с самого первого дня была уверена, что Виера – одна из нас. Однажды вечером Гортензия подтвердила эту новость:

– Виера – полячка. Она родилась в Германии, как и вы, а в пять лет была отправлена на корабле на Кубу к дяде, который приехал раньше. Видимо, она потеряла всех своих родных во время войны.

Глаза мамы широко раскрылись – казалось, она пытается перевести дыхание.

– Ее дядя, пожилой человек с либеральными идеями, связан с новыми людьми, которые сейчас у власти на острове, – объяснила Гортензия. – Его настоящее имя Абрахам, но он назвался Фабиусом, когда приехал на Кубу.

Я отправилась в свою аптеку, чтобы не дать разговорам Гортензии приглушить радость от появления нового Розена. Придя туда, я увидела, что Эсперанса в дверях оживленно разговаривает с каким-то высоким мужчиной. Я не могла понять, спорят они или просто болтают. Увидев меня, Эсперанса улыбнулась и зашла обратно в аптеку. Мужчина повернулся ко мне.

С того места, где я стояла, яркий солнечный свет не позволял мне разобрать, кто это: он был в тени. Все, что я смогла увидеть, – это то,

что он одет в бежевый костюм и у него широкие плечи. Затем я увидела его руки. И узнала их.

Это был Хулиан. Без кудрей, с более широкой, квадратной челюстью, сильной шеей и густыми бровями, которые делили его лицо на две части. Мы улыбнулись друг другу: его глаза знакомо прищурились. Его губы остались прежними, как и его озорной взгляд.

– Моя дорогая Ана-через-«ха». Ты думала, я тебя забыл? Мне нравится твоя «аптека Розен»!

Не раздумывая, я его обняла. Он выглядел удивленным, но только рассмеялся и снова произнес мое имя, на этот раз шепотом:

– Ана-через-«ха»... Тебе, должно быть, так много нужно рассказать мне.

Я взяла его за руку, и мы перешли через улицу, чтобы посидеть под огненными деревьями в парке. Он рассказал мне, что во время кризиса в университете семья решила отправить его учиться в Соединенные Штаты.

– Я окончил юридический факультет и теперь вернулся, чтобы помогать отцу в его практике... а нашел город, полный солдат.

Пока он говорил, я не могла оторвать от него взгляда. Хулиан больше не был тем юным студентом.

– Я думал о тебе все это время, – сказал он, смущенно опустив глаза.

Я всегда была чужой в этом городе. Теперь он тоже был чужим, и это нас объединяло. Впервые я почувствовала надежду. Возможно, для меня круг испытаний замкнется.

С того дня Хулиан приходил в аптеку каждый вечер перед самым закрытием. Мы оставались в парке, немного болтали, а потом он провожал меня домой. Иногда он приходил в полдень, и мы шли по Калле, 23, чтобы пообедать в очаровательном кафе «Эль Кармело».

Хулиан хотел узнать обо мне побольше, но рассказывать было почти нечего: папа погиб на войне, пока мы ждали его в Гаване, чтобы отправиться в Нью-Йорк, и наше временное здесь пребывание превратилось в постоянное.

Мы держали друг друга за руки, иногда он обнимал меня за плечи и даже однажды обнял за талию, когда мы переходили дорогу. Так мы проводили часы вместе. Самое смелое, что я сделала, – это склонила

голову ему на плечо однажды вечером, пока мы ждали переключения светофора.

Эсперанса называла Хулиана моим парнем, и я ее не поправляла. Я устала от вечных попыток объяснить, что меня зовут не Ана, что я не полячка и что Хулиан был просто хорошим другом, компания которого мне нравилась.

Он никогда не просился в наш мрачный особняк. И я никогда не приглашала его. Проходили дни, и мы больше наслаждались молчанием, чем разговорами. Мы могли часами молчать друг с другом, иногда просто наслаждаясь веселым гомоном студентов, выходящих из колледжа рядом с парком.

Я замечала, что иногда Хулиан выглядит отстраненным, что его мысли витают где-то в другом месте, что он чем-то очень обеспокоен, но у него не хватает духу сказать мне, чем именно.

Однажды вечером он позвонил мне в аптеку. Эсперанса сказала, что он на линии, и в тот же миг у меня появилось странное предчувствие. Его родители получили разрешение на выезд в Соединенные Штаты. Он только что попрощался с ними в аэропорту и не знал, когда увидит их снова.

Человек, всегда полный энергии и оптимизма, который вселял в меня уверенность, с улыбкой решал любые проблемы, такой же большой и высокий, как дерево в Тиргартене, – сейчас он был полностью разбит. Он попросил меня зайти к нему на квартиру.

Я взяла сумку и вышла из аптеки, не сказав ни слова Эсперансе.

Я пошла на угол улиц Линеа и L, где Хулиан жил, по случайному совпадению над аптекой.

Это было белое здание с широкими балконами. Я поднялась на лифте на восьмой этаж и, постучав в дверь, поняла, что она открыта.

– Хулиан? – тихо позвала я, но ответа не последовало. Я прошла по короткому коридору, который привел меня в комнату без мебели и со светлыми пятнами на стенах, где когда-то явно висели фотографии. Хулиан стоял на балконе и смотрел на север, на море.

Медленно подойдя к нему, я вдруг обнаружила, что тоже смотрю на море с высоты, как много лет назад. Я сделала глубокий вдох, и мои легкие наполнились бризом с Малекуна.

– Хулиан?

Молчание. Я сделала еще один шаг вперед и почувствовала тепло его тела. Я была так близко, что могла дотронуться до него. У меня дико заколотилось сердце, я закрыла глаза и обхватила руками его спину. Он повернулся, крепко обнял меня и заплакал.

– Что случилось, Хулиан?

Он был подавлен. Его родители были вынуждены бежать: в новых условиях не было места для их бизнеса. Перед тем как уехать, они успели продать мебель и некоторые ценные вещи, через посольство тайно вывезли свои семейные реликвии. С учетом реформ, которые ввело новое правительство, деньги, которые у них лежали в банке, потеряли ценность.

– Я остался, чтобы завершить дела, – произнес он дрогнувшим голосом.

– Ты тоже уезжаешь?

Я знала, что он не ответит. Я смотрела на него несколько секунд, а потом закрыла глаза и поцеловала. Я не хотела думать, не хотела ни о чем сожалеть. Открыв глаза, я увидела волны, бьющиеся о берег Малекуна. Я чувствовала во рту вкус соленых брызг и слез. Я почти не понимала, что происходит, охваченная незнакомыми мне эмоциями.

Хулиан взял меня за руку. Я пошла за ним, как будто растеряла всю силу воли. Он привел меня в свою комнату. В центре стояла кровать с белыми простынями. Я закрыла глаза, и его лицо сблизилось с моим.

– Ана, моя Ана-через-«ха», – продолжал шептать он мне на ухо. Его пальцы исследовали мои черты с такой нежностью, какой я не ожидала от его больших, тяжелых рук. Мои брови, глаза, нос, губы...

Я понятия не имею, когда я вышла из его квартиры в тот вечер, как я нашла дорогу в аптеку и как я спала в ту ночь.

С того дня в обед я ходила вдыхать запах моря с восьмого этажа и забываться в его объятиях.

* * *

Гавана начала приобретать другой облик. Вместе с Хулианом я внимательнее рассматривала листву огромных деревьев в Ведадо. Мы шли по Пасео и садились на любую скамейку, которая попадалась нам

на пути. Вместе с ним дни, недели и даже месяцы казались всего лишь несколькими часами.

Иногда мы шли с Пасео на Калле Линеа, а оттуда – к его дому. Нам было все равно, была ли жара, или дождь, демонстрация в поддержку или против тех вещей, которые для нас ничего не значили.

Однажды в понедельник он позвонил мне в аптеку и сказал, что мы не сможем встретиться на этой неделе: ему нужно время, чтобы кое-что сделать. Это меня не беспокоило. Но когда на следующей неделе он даже не позвонил, я начала тревожиться, хотя в глубине души всегда знала, что Хулиан обязательно исчезнет.

В день, когда солдаты пришли захватить аптеку от имени революционного правительства, я пришла на работу рано. Открыв дверь, я обнаружила под ней письмо от Хулиана.

Дорогая Ана-через-«ха»!

Я не знал, как попрощаться: я не умею прощаться. Я возвращаюсь в Нью-Йорк со своей семьей. Мы потеряли все. Здесь для меня нет места. Я знаю, что ты не можешь бросить свою мать, что ты в долгу перед семьей. То же самое и у меня. Я единственный, кто у них остался. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной, чтобы существовали только ты и я.

И я знаю, что однажды мы встретимся снова. Мы уже разлучались однажды, но я нашел тебя.

Я буду скучать по нашим вечерам в парке, по твоему голосу, по твоей белой коже, по твоим волосам. Но лучше всего я буду помнить самые голубые глаза, которые когда-либо видел.

Ты всегда будешь моей Анной-через-«ха».

Хулиан

Еще один человек, который меня покинул.

Я не плакала, но и работать не могла. Я читала письмо так часто, что выучила его наизусть. Читала его про себя, а потом вслух, перечитывала каждое предложение. Мои встречи с ним в квартире на

восьмом этаже с видом на море были выгравированы в моем сердце, в моей голове, на моей коже.

И дождь тоже. Как только начинается дождь, я вижу, как Хулиан протягивает мне руку, поднимает меня, обнимает. Мне было за что поблагодарить его.

Я пообещала себе, что отныне я больше никого не впущу в свою жизнь. Все эти надежды не для меня. С каждой минутой лицо Хулиана выцветало в моей памяти, но я все еще могла отчетливо слышать его голос: «Ана-через-«ха».

А потом появились солдаты.

Я видела, как они вылезли из машины и подошли к двери аптеки. Я повторяла слова из прощального письма Хулиана, как будто это было заклинание, которое могло защитить меня. К счастью, Эсперанса оставалась очень спокойной и смогла передать свое спокойствие и мне. Я ждала их за прилавком, не говоря ни слова. Они пришли, чтобы отнять у меня то, что принадлежит мне, то, что я построила тяжелым трудом. Мне больше нечего было терять.

Глядя им прямо в глаза, я разорвала письмо на тысячу кусочков. Мой великий секрет оказался на полу, в маленькой мусорной корзине. Я не дала им ничего сказать. Ошеломленные, солдаты просто уставились на меня. По-прежнему молча я обняла Эсперансу и Рафаэля и вышла из аптеки, не оглядываясь. Пусть они забирают все. Я больше не чувствовала страха.

По дороге домой я ускорила шаг и повторяла про себя: этот город – перевалочный пункт, мы приехали сюда не для того, чтобы пустить корни, как эти древние деревья.

Когда я пришла домой, в гостиной были Густаво и Виера с ребенком, которому только что исполнилось три года. Густаво был полон решимости держать Луиса как можно дальше от нас: я не знала, делал он это, чтобы наказать нас или чтобы не дать нам привить его сыну отношение к стране, за которую он сам был готов умереть. Я думала, что он, вероятно, появился после такого долгого отсутствия, просто чтобы узнать, как мы отреагировали на захват аптеки.

То, что принадлежало нам, теперь находилось в руках нового порядка, частью которого был мой брат.

* * *

Ночи становились все более трудными для меня. Если мне удавалось заснуть, мои воспоминания превращались в бессмысленную путаницу. В моих снах смешивались Хулиан и Лео. Иногда я просыпалась оттого, что видела Хулиана на палубе корабля «Сент-Луис», державшего меня за руку, когда мы поднимались по трапу, и Лео – взрослого мужчину, сидящего рядом со мной под огненными деревьями в парке.

Я вернулась к нашей домашней рутине и начала давать уроки английского детям, которым было наплевать на учебу. Я стала немецким учителем, который преподавал английский в районе, где меня знали как полячку. Дети и подростки, которые приходили к нашему крыльцу, чтобы я научила их говорить: «Том – мальчик, а Мэри – девочка», стояли в очереди на выезд из страны вместе со своими родителями. Один из них, юноша, который должен был пройти военную службу после окончания школы, отчаянно хотел покинуть остров, но ему сказали, что из-за его «призывного возраста» это невозможно. Я стала учителем, а мое крыльцо – исповедальней.

Эсперанса и Рафаэль не потеряли работу после захвата аптеки. Они изредка приходили ко мне в гости и рассказывали, как обстоят дела после перехода аптеки к государству. Еще одним событием стало то, что муж Эсперансы оказался в тюрьме за пропаганду религии, которая не признавалась временным правительством. Их называли сектой, опасной для патриотизма, который пытались привить пылкой массе людей, жаждущих перемен. Эсперанса и ее свидетели Иеговы отказывались салютовать флагу, петь национальный гимн и выступали против войны. Это делало их персонами нон грата в обществе, которое должно было находиться в постоянном состоянии готовности к борьбе.

Однажды вечером я заметила, что Эсперанса встревожена. Она прошептала, что новое правительство «превратилось в арбуз: снаружи зеленое, а внутри красное», но я не поняла ее слов.

Виера работала день и ночь вместе с Густаво, и они стали оставлять мальчика с нами. Мы говорили с Луисом по-английски, и через несколько месяцев он уже мог нас понять. Через год его английский стал лучше, чем испанский. Узнав об этом, ни Виера, ни Густаво не протестовали. Они были вовлечены в общественные процессы, которым посвящали все свое время. В те бурные дни семья не считалась чем-то важным.

Луис стал ночевать у нас дома почти каждую неделю. Мама решила, что внуку нужно свое пространство, и мы поселили его в соседней с ее комнате. У нас появилась надежда. На что именно, я понятия не имела, но это были радостные дни. Прежде всего я была счастлива, оттого что вижу, как растет ребенок, свободный от вины перед Розенталями.

Мы были немного удивлены тем, что Гортензия держится на расстоянии от Луиса, – она вела себя совсем по-другому, чем когда маленький Густаво приехал из Нью-Йорка. Наверное, тогда она думала, что нам нужна помощь, но с этим ребенком все было по-другому: мы посвящали ему все свое время. Или, может быть, она не хотела эмоционально привязываться, чтобы снова не оказаться в роли, до которой Густаво в конце концов низвел ее: простой обслуги, не той, кто заботился о нем, кормил его, дарил ему свою любовь в те годы, когда он больше всего в ней нуждался. Однажды летом – самым жарким из всех, что мы пережили, – я получила конверт от Хулиана из Нью-Йорка. Внутри была его фотография в парке, похожем на тот, где мы обычно встречались.

Письма не было, только фотография, дата и посвящение.

Хулиан никогда не говорил много. Я расценила те несколько слов, которые он написал на обратной стороне, как его прощальное послание: «Моей Ане-на-«ха». Я никогда тебя не забуду».

Анна

2014

Светало здесь мгновенно. Минуту назад была ночь, а в следующую – уже утро.

Между ними нет промежутка. Я проснулась от солнечного света, проникающего сквозь веки, чувствуя тепло мамы за спиной. Она смотрела на меня с улыбкой и гладила мои волосы. Сегодня она тоже проснулась с ароматом фиалок.

Я повернулась к фотографии папы, которую привезла с собой и поставила рядом с лампой. Мы посмотрели друг на друга, и я поняла, что мама счастлива. Эта поездка изменила нас всех.

– Я не обращала на тебя особого внимания, – обратилась я к нему, – но теперь ты у себя дома!

Мама улыбнулась, когда увидела, что я разговариваю с фотографией. С тех пор, как мы приехали, мама и тетя Ханна стали неразлучны. Они проводили часы разговорами, и мне было интересно, что бы папа на это сказал. Они обшарили каждый уголок, каждый гардероб.

Мама знала, что каждая сложенная блузка, брошь или старая монета хранит в себе историю, и каждую из этих историй она хотела сохранить.

– Ты не должна такое выбрасывать, – говорила она тете Ханне, указывая на несколько пожелтевших листов бумаги, перевязанных красной ленточкой. – Сохрани их: ты никогда не знаешь, как все обернется.

Это были документы, дававшие право собственности на дом в Берлине, которые казались ей теперь священными.

– Даже если они уже недействительны, это семейная реликвия, – настойчиво говорила мама, поглаживая тетину руку.

Отец с каждым днем становился ближе к ней. Он больше не был просто человеком, которого она встретила на концерте в часовне Святого Павла. Теперь у него появилось прошлое, у его семьи было лицо, у него было детство. Тетя Ханна открыла папину книгу, рассказала нам его историю, и мамины причины для жалоб постепенно

стали исчезать. Да, она потеряла мужа, а я потеряла отца, но тетя Ханна потеряла всю свою жизнь.

Я думаю, что надгробие на кладбище с именем отца и погружение в прошлое Розенталей помогло маминую горю утихомириться в ее душе. Я же обнимала ее и, если она волновалась, на всякий случай говорила, что все будет хорошо, – я чувствовала, что теперь узнала папу и у нас есть кто-то, о ком мы должны заботиться.

С каждым днем тетя Ханна слабела. В какие-то моменты она даже делалась потерянной, не знала, что делать и куда идти. Когда я впервые увидела ее стоящей в дверном проеме, она почти касалась головой притолоки. Сейчас же она казалась более низкой, согбенной и ходила медленным, тяжелым шагом старой женщины.

А может, это просто я здесь подросла? Так сказала мне мама.

Еще она говорила, что хотела бы вернуться в Нью-Йорк.

Я не понимала почему. Может быть, она хотела вернуться к своим занятиям испанской литературой в университете, возобновить жизнь, которую забросила много лет назад? Но если бы все зависело от меня, мы бы остались здесь, жили в доме тети Ханны и искали бы школу, в которую я могла бы пойти.

Долгие паузы в рассказах тети Ханны о прошлом становились все более длинными и частыми. О том, что происходило в далеком прошлом, она часто стала рассказывать в настоящем времени, и это сбивало нас с толку.

Я сидела с ней часами, внимательно слушая эти странные монологи, которые никто не мог прервать. Иногда, пока она рассказывала бесконечные истории, я фотографировала ее, но это, кажется, ее не волновало. Когда она замолкала, мы с мамой видели, какой она стала хрупкой. Но когда она говорила, на ее бледных щеках снова появлялся легкий румянец.

Я думала, что к концу нашей поездки маме больше нечего будет узнавать о папе. Но, скорее всего, мы уедем отсюда, так и не узнав, что же на самом деле случилось с моим дедушкой Густаво. Тетя Ханна всегда говорит только о Луисе.

* * *

Диего нетерпеливо ждал меня. Я увидела его у дверей. Не зная, чем заняться, он бросал камни в дерево, потом выкопал из дорожки кусок сухой земли, о который мы раньше спотыкались, и вытер руки о брюки. Видимо, он хотел позвать меня, не привлекая внимания. Он боялся, что старая немка, которую он все еще считал нацисткой, пожалуется на него матери.

Когда мне наконец удалось вырваться из дома, он тепло обнял меня. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не заметил ли нас кто-нибудь. Мне не верилось, что мальчик обнимает меня среди бела дня в незнакомом городе. Это был мой секрет, и я собиралась его хранить.

Мы с Диего шли под раскалявшим асфальт солнцем. Мы дошли до парка, и он показал мне аптеку на углу:

– Смотри, моя бабушка говорит, что раньше здесь была аптека твоей тети.

На облупившихся от сырости стенах еще были видны следы желтой краски, а над дверным проемом выцветшей краской была написана моя фамилия: аптека «Розен».

Дальше мы побежали по проспекту Кальсада, до узкого прохода между двумя большими домами. Я решила не спрашивать Диего, куда мы идем и можно ли входить сюда. Все равно мы уже были на чужой территории. Мы дошли до внутреннего дворика и поднялись по винтовой металлической лестнице, которая раскачивалась, будто вот-вот оторвется. Пока мы поднимались, было слышно, как кто-то играет на пианино и женский голос дает указания на французском языке, отсчитывая странный ритм.

Перепрыгнув через низкую стену, мы оказались на плоской крыше. Я увидела внизу окно: за ним был балетный класс. Девочки выстроились в идеальный ряд: их руки тянулись вверх, к потолку, будто хотели коснуться бесконечности. Возможно, они хотели казаться легкими, как воздух, но сверху выглядели тяжелыми, отягощенными гравитацией. Диего сидел спиной к окну. Он сосредоточился на музыке.

– Иногда у них еще бывает оркестр или две скрипки, которые играют под фортепиано, – мечтательно сказал он.

Диего снова удивил меня, сделав то, чего я от него никак не ждала. Обычно он не мог усидеть на месте, а здесь, на крыше чужого дома, сидел смирно и слушал монотонные музыкальные упражнения. Мне

самой хотелось уйти. Я чувствовала себя неуютно в месте, куда нас никто не звал.

Но Диего явно собирался продолжать свою музыкальную терапию.

– Осторожно, не наступи на моих муравьев.

Здесь, на крыше, у Диего было муравьиное гнездо. Он приносил им сахар, хлебные крошки и изучал их. Муравьи были его домашними животными. Он вытащил из кармана тщательно сложенный листок бумаги с завернутым в нее сахаром. Когда он высыпал сахар в угол, муравьи сразу же появились.

Одни были красные, другие черные. Они образовали длинную цепочку от одной стены до другой. Диего смотрел, как они несут крошечные белые сахарные крупинки к себе в муравейник. Затем он взял одного муравья и стал его внимательно рассматривать.

– Они не кусаются, – сказал он мне, осторожно кладя муравья на землю. – Через несколько лет я научусь хорошо плавать. Тогда я заберусь на плот и приплыву в Штаты, чтобы быть с тобой.

– Ты тоже, Диего? Так это правда, что все здесь хотят уплыть?

– Здесь нет будущего, Анна, – ответил он очень серьезно.

Он говорил с пессимизмом, который я уже заметила у здешних взрослых.

– Ты хочешь быть моей девушкой? – неожиданно спросил Диего. Он явно смущался и, говоря это, не смотрел на меня. Это было к лучшему, потому что я не выносила, когда кто-то видел, как я краснею. Я не могла это контролировать, и так любой мог понять, что я чувствую. А мои чувства – это мое личное дело.

Я тут же представила, как в Филдстоне рассказываю девчонкам из своего класса, что влюблена в мальчика, у которого черные вьющиеся волосы, большие глаза и загорелая кожа. В того, кто говорит только по-испански, кто проглатывает букву «с», так что она полностью исчезает, который почти никогда не читает, который бегает по улицам Гаваны и хочет покинуть свою страну на самодельном плоту, как только научится плавать.

– Диего, я живу в Нью-Йорке. Как я могу быть твоей девушкой? Ты что, сумасшедший?

Он ничего не ответил и по-прежнему стоял ко мне спиной. Наверное, уже пожалел о том, что сказал, но не знал, как выйти из неловкого положения. А я не знала, как помочь ему.

Я взяла его за руку, отчего он вдруг почти подпрыгнул – неужели подумал, что это означает согласие? Он сжал мне руку так крепко, что я не могла ее освободить. Сейчас было слишком жарко, чтобы стоять так близко друг к другу, но я не хотела быть грубой. Наконец он отпустил меня и двинулся к шаткой лестнице.

– Завтра мы пойдем купаться в Малекун.

Ханна

1964–1968

Сеньор Даннон приехал к нам в последний раз. Он вошел со своей обычной уверенностью, от него, как всегда, пахло табаком, но его волосы были в беспорядке.

На них было мало брильянтина, гораздо меньше, чем требовалось, чтобы непокорные пряди ровно лежали на его огромной голове.

На этот раз мама не стала принимать его в гостиной, а провела в столовую. Думаю, она понимала, что адвокат пришел, чтобы подвести черту под отношениями, которые всегда были основаны прежде всего на деньгах, но за которые она была ему благодарна, хотя никогда не говорила об этом.

Действительно, я не знаю, что случилось бы с нами за все эти годы, если бы не сеньор Даннон. Да, он взял за свои услуги целое состояние, но никогда нас не бросал. И не обманывал, я была в этом уверена.

Гортензия подала ему свежеприготовленный кофе и стакан воды со льдом, а затем подошла ко мне и прошептала, что ей его жаль.

– Бедняга, он не знает, что делать.

Хотя сеньор Даннон никогда не говорил о своих проблемах, она поняла, в чем они заключались, по тому, как он тревожно потел и безуспешно пытался уложить свои непокорные кудри. С тех пор как он рассказал, что потерял единственную дочь, Гортензия стала относиться к нему по-другому. Думаю, и мама тоже.

Запах табака, который от него исходил, не позволял мне к нему приблизиться: самое большее, что я могла сделать, это хотя бы не выходить из комнаты. Теперь он сидел близко к маме и говорил что-то прямо ей в ухо, а она спокойно слушала. Ни Гортензия, ни я не могли понять, хорошие или плохие новости он принес. Неожиданно мама поднялась на ноги и ушла наверх.

Сеньор Даннон выпил ледяную воду, вытер губы салфеткой, на которой остались коричневые следы, подхватил свой тяжелый портфель и последовал за мамой в ее комнату.

– Происходит что-то плохое, – заявила Гортензия, но я решила не обращать внимания на ее воркотню. На самом деле я тоже сильно

нервничала, просто не хотела мучить себя вопросами, которые ни к чему бы не привели. Я устала перебирать худшие события, которые могли произойти, чтобы почувствовать облегчение, когда все обернется менее ужасно. Кроме того, я никогда не могла предвидеть, что произойдет. К нынешнему времени я уже отказалась от этих безуспешных попыток.

Я пошла посидеть с Гортензией на ступеньках внутреннего дворика в ожидании ухода сеньора Даннона, когда можно будет узнать от мамы новости о нашем юридическом и финансовом положении на Кубе. Возможно, нам даже придется уехать в другую страну?

Через час я должна была ехать забирать Луиса из школы, носившей имя какого-то мученика. Он начал посещать детский сад при ней и был совершенно счастлив. В первые дни он плакал, когда я оставляла его в классе. Когда я приходила за ним, он снова уныло плакал, как будто затем, чтобы я почувствовала себя виноватой. Но через неделю он уже привык и, хотя у него не было таланта заводить друзей, быстро научился вести себя в обществе. Его единственной жалобой на школу было то, что другие дети очень громко разговаривали. Я тогда подумала: *«Ты живешь на Карибах: ты привыкнешь»*.

Сеньор Даннон спустился вниз, сопровождаемый взволнованной мамой, и сказал, что хочет попросить прощения. Не думаю, что он ожидал от меня объятий, но выглядел удивленным, когда я протянула руку. Вместо того чтобы пожалть, он нежно взял ее, так что мои пальцы оказались в его мягкой влажной ладони. Это был первый раз за все время нашего знакомства, когда мы прикоснулись друг к другу.

– Берегите себя. И желаю удачи, – сказала Гортензия, похлопав его по широкой потной спине.

Он вышел из дома, покачивая явно похудевшим портфелем, остановился у железных ворот и повернулся, чтобы попросить прощения. Несколько секунд он пристально смотрел на дом, деревья, неровный тротуар, затем вздохнул и забрался в машину. Мы вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, как он уезжает.

Меня грызла тревога. Не из-за новостей, которые он мог принести, а потому что я была уверена, что он никогда не вернется. Я понимала, что мы теперь остались одни в стране, шагающей в неизвестность и постоянно готовящейся к войне. Стране, возглавляемой озлобленными

военными, которые поставили перед собой задачу рассказать свою собственную версию истории, изменить ее ход по своему усмотрению.

Срок действия наших американских виз уже давно истек, но я была уверена, что мы сможем найти способ уехать, если захотим. Но такая возможность даже не приходила в голову матери. Она уже решила, что ее кости будут покоиться на Колонском кладбище. Она была тем более решительно настроена остаться теперь, когда ее горечь и злость смягчились с появлением Луиса. Я думаю, она чувствовала, что в каком-то смысле ее присутствие на Кубе необходимо и будет необходимым до того дня, который станет для нее последним. На самом деле даже тогда остров не освободится от нее, потому что, по ее словам, эта тропическая земля «должна будет хранить мои кости по меньшей мере еще столетие».

Мама также не собиралась оставлять Луиса родителям, убежденным, что они строят новое общество, которое она считала не более чем абсурдной игрой в «подвинься, моя очередь», как гласила популярная поговорка. Власть отбирали у богатых и передавали бедным, которые становились богатыми, захватывали дома и предприятия и считали себя непобедимыми. Так снова начинался порочный круг: всегда кто-то оказывался внизу.

Мама позвала меня в свою комнату, Гортензия жестом попросила меня не заставлять ее ждать. Она знала, что мама никогда не поделится с ней новостями, независимо от того, хорошие они или плохие. Кроме того, ей это было не нужно: когда она увидит нас за ужином, то сразу же все поймет.

Как и следовало ожидать, юридическая контора сеньора Даннона была захвачена новой властью. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой тремя годами раньше, но он и его жена получили разрешение на выезд из страны и собирались уехать из порта недалеко от Гаваны, куда из Майами приходили катера, чтобы забрать целые семьи. Для нас было бы не очень хорошо, если бы он снова к нам приехал, потому что теперь его считали «червем».

Когда мама услышала это слово, она вздрогнула. Так они стали называть тех, кто хотел уехать из страны или не соглашался с правительством. Ей наверняка казалось, что она вновь попала в свой кошмар. Людей снова стали считать червями. История повторялась. *Какой недостаток воображения у людей*, подумалось мне.

Сеньор Даннон оставил ей значительную сумму денег. Теперь получить доступ к нашему трастовому счету в Канаде будет сложнее. Новое правительство могло даже счесть его незаконным, и тогда нам, скорее всего, придется от него отказаться.

Мы решили, что не стоит беспокоиться. Мы могли выжить на те деньги, что у нас были. Я получала смехотворно маленькую сумму каждый месяц в качестве компенсации за аптеку, экспропрированную правительством: еще я давала уроки английского. Но большего нам не требовалось.

В тот вечер, после ужина, Гортензия получила звонок от своей сестры, которая была чем-то напугана, но не захотела вдаваться в подробности по телефону. Они обе боялись, что их разговор подслушают правительственные агенты. Она попросила два дня отпуска и в панике поспешила уехать. Я никогда не видела Гортензию в таком состоянии.

Два дня превратились в пять. Потом она позвонила и сказала, что нам теперь придет помогать по хозяйству женщина по имени Каталина. С того дня эта коренастая дама взяла дом в свои руки и никогда не покидала нас.

Каталина оказалась настоящим ураганом. Она была одержима порядком и парфюмерией. Она настаивала, чтобы мы никогда не выходили из дома, не надушившись. Именно тогда я тоже начала использовать фиалковую воду, которой Гортензия обрызгивала голову Луиса каждый день перед тем как он шел в школу.

– Это от дурного глаза, – объясняла она.

Каталина была потомком африканских рабов, смешавшихся с испанцами в колониальный период. Из всей семьи она знала только свою мать. Каталина была родом из восточной части острова, она приехала одна в Гавану двумя годами ранее, после того как ураган разрушил ее дом, а наводнение похоронило ее деревню в грязи. В том разрушительном урагане она потеряла свою мать. По ее словам, она очень много работала всю жизнь, и у нее не было времени ни на мужа, ни на семью.

Благодаря Каталине жизнь вернулась в прежнее русло, а дом наполнился подсолнухами.

– Где бы ты их ни посадил, они ищут свет, – говорила она.

Вскоре она стала верной тенью моей матери. Они прекрасно общались, несмотря на непривычную речь Каталины, полную жаргонных выражений, которые нам часто было трудно понять. Примерно таким же образом Каталина говорила и со мной, но была настолько открытой и душевной, что вскоре мы сочли это забавным.

– Мы на Карибах. Чего еще можно ожидать? – заметила мама.

Постепенно мы привыкли к жизни без Гортензии. Ее сестра Эсперанса, оставшаяся без арестованного мужа, нуждалась в ней больше, чем мы: или, возможно, кто-то из их семьи был болен. Честно говоря, мы не имели понятия, что с ней случилось.

Каталина начала сажать вдоль террасы мяту, которую она использовала для приготовления настоев. Она также посадила базилик для защиты от вредных насекомых и звездчатый жасмин, чтобы, когда мы ложились спать, душистый ветерок проникал через окна и помогал нам отдыхать.

* * *

Неделю спустя Гортензия и ее сестра появились без предупреждения поздним вечером. Луис уже спал, и мы тоже поднялись в свои комнаты.

Каталина попросила нас спуститься вниз, так как в столовой нас ждали сестры.

Они не поздоровались и не ответили на мою улыбку, фактически они проигнорировали меня. Обе с ожиданием смотрели на маму, которая в это время усаживалась во главе стола. Очевидно, она была единственной, кто мог что-то сделать в той отчаянной ситуации, в которой они оказались, и они быстро расположились по обе стороны от нее. Мы с Каталиной остались стоять в конце комнаты, потому что я подумала, что они захотят уединиться, но они были так увлечены разговором с матерью, что даже не заметили нас.

Гортензия старалась сохранять спокойствие, хотя было очевидно, что ей трудно сдерживать гнев. Она даже толком не могла говорить, видимо, опасаясь, что если только начнет, то закончит криком, а она знала, что должна проявлять к нам уважение. Я поняла, что она не только никогда не вернется к нам на работу, но и это будет последний

раз, когда мы ее видим. Она не осмеливалась смотреть мне в глаза, но выражение ее лица было полным отвращения, даже брезгливости, к тому, что ей пришлось жить под одной крышей с нами.

В конце концов заговорила Эсперанса:

– Однажды вечером, как раз когда мы собирались закрывать аптеку, они приехали за Рафаэлем. На машине, полной солдат. Я у них спрашивала, почему они арестовывают его, что он сделал плохого, куда они его везут, но никто из них не ответил мне. Они не обращали на меня внимания и забрали моего сына.

В отчаянии Эсперанса посетила все местные полицейские участки, но безрезультатно. На следующий день она узнала, что солдаты собирают всех молодых мужчин от шестнадцати лет и старше, принадлежащих к свидетелям Иеговы, и везут их на стадион в районе Марьянао. Когда она поняла, что происходит, она бросилась на пол и разрыдалась.

Она проклинала себя, винила себя за религиозность, которую она прививала сыну. Рафаэль был ребенком, который не делал ничего, кроме добра, и был не способен причинить кому-либо вред. Они давно хотели уехать с Кубы, но получить визу стало невозможно, с тех пор как «великий вождь» назвал их религиозную группу позорным пятном на обществе. У них не было ни денег, ни родственников за границей, которые могли бы помочь. Они зависели от сострадания прихожан своей церкви, которая уже официально считалась незаконной.

Мама неподвижно слушала Эсперансу, прижав локти к бокам и сложив ладони на коленях. На этот раз она столкнулась не с расовой чисткой, целью которой было создать физическое совершенство определенных параметров и цвета кожи для достижения чистоты. Это была идейная чистка. Они боялись не физических черт, а мыслей. Сомнения, высказанные сумасшедшим философом из ее собственной страны, которого она когда-то читала, промелькнули в ее голове: «Человек – ошибка Бога или Бог – ошибка человека?»

Так как Рафаэль считался несовершеннолетним – ему не исполнилось восемнадцати лет, – они получили разрешение навестить его в рабочем лагере в центре острова. Это было место, где содержались те, кто враждебно относился к новому правительству, а также люди с «неподходящими» религиозными убеждениями. Бог стал

главным врагом новых правителей, которые занимались политическими, моральными и религиозными чистками.

Принудительный трудовой лагерь, в котором находился Рафаэль, окружала колючая проволока, а у входа висела огромная надпись: «Работа сделает из вас мужчин».

Им разрешили увидеться с ним на полчаса. У Рафаэля не было возможности рассказать им, насколько плохо обстояли у него дела, – рядом все время были охранники. Он похудел больше чем на двадцать килограммов, а его голова была обрита.

– Его руки сплошь покрыты лопнувшими мозолями, – продолжала Эсперанса. – Его заставляли салютовать флагу, петь национальный гимн, требовали отречься от своей религии. Он отказался, и поэтому ему ужесточали наказание день ото дня. Он всего лишь мальчик, Альма, мальчик...

Рафаэль успел, однако, рассказать им, что делегация приезжала инспектировать лагерь, которые назывались терапевтическими реабилитационными рабочими лагерями. В состав группы входило несколько членов правительства, которые были обеспокоены условиями содержания заключенных и спрашивали, как проходит процесс перевоспитания. Он узнал одного из них, и тот ответил ему взглядом. Рафаэль улыбнулся и вдруг почувствовал проблеск надежды.

– Густаво был в составе делегации, – сказала Эсперанса, глядя прямо на мать.

Услышав имя сына – мальчика, которому она не сделала обрезание, которого воспитала свободным, мама задрожала. Она не проронила ни слезинки, но ее тело содрогнулось от беззвучных рыданий. Было очевидно, что она мучилась не только душевно: она страдала физически.

Каталина обняла меня. Я была ошеломлена, я не могла поверить в это. Гортензия опустилась на колени перед матерью и сжала ее руки.

– Альма, вы единственная, кто может нам помочь. Рафаэль – это наша жизнь, Альма, – умоляла она.

Мать закрыла глаза так крепко, как только могла. Она не хотела слушать. Она не могла понять, почему до сих пор должна расплачиваться за свою вину.

– Поговорите с Густаво. Упросите его вернуть нам Рафаэля. Мы не будем просить его ни о чем больше. Если Рафаэль умрет... – Гортензия

не dokonчила.

Мать молчала, уставившись в стену. Все ее тело дрожало.

После долгого молчания Гортензия поднялась на ноги. Эсперанса взяла ее за руку, и они вдвоем направились к двери. Они не попрощались, и больше мы о них ничего не слышали.

Продолжая дрожать, мама попыталась встать со стула. Каталина и я поспешили ей помочь. Она шла с большим с трудом, и нам пришлось почти нести ее, чтобы уложить в постель. Она нырнула в белые простыни, зарылась головой в подушку и, казалось, уснула.

На рассвете следующего утра я зашла в ее комнату вместе с Луисом, чтобы он попрощался с ней перед школой. Когда он поцеловал бабушку в лоб, она открыла глаза, схватила его за руку и посмотрела пристально и отчаянно. Потом, собрав все оставшиеся силы, она прошептала ему на ухо на языке, который он не мог понять:

– Du bist ein Rosenthal^[6].

С тех пор как мы прибыли в порт Гаваны и сошли с борта злополучного «Сент-Луиса», мама в первый раз заговорила по-немецки. И в последний.

Анна

2014

Эта поездка оказалась для мамы тяжелее, чем она представляла. Когда тетя Ханна рассказала ей о том, что случилось с Рафаэлем, у мамы не укладывалось в голове, как Куба, страна, которую она боготворила как бастион социального прогресса, могла создать концентрационные лагеря для очистки от своих «неугодных» граждан, в то время как весь мир просто смотрел на это. Возможно, дедушка Густаво думал, что ведет себя правильно: что он действительно реабилитирует тех, кто сбился с пути, те «пятна на теле общества», которые нуждаются в исправлениях.

Преступление дедушки Густаво было для него актом спасения. Чего я не могла понять, так это почему тетя Ханна никогда не просила своего брата помочь Рафаэлю. Она оставила все на усмотрение моей прабабушки.

Прошел год, прежде чем Рафаэля освободили и позволили всей его семье покинуть страну. Каталина рассказала, что, когда она узнала об этом, то побежала сообщить эту новость прабабушке, которая к тому времени окончательно слегла в постель в знак вечного самонаказания. Прабабушка была недовольна тем, что Рафаэля уже освободили. Вина была гораздо глубже, и Густаво тоже должен был ее искупить.

В конце концов, когда Густаво и Виера однажды появились, чтобы сообщить Альме, что они отправляются в далекую страну в качестве послов той нации, которую она так ненавидела, Каталина рассказывала, что моя прабабушка просто отвернулась от них. Это была ее единственная реакция. Каталина сказала: это было проклятие, она проклинала своего сына и желала им обоим смерти. Ее жест ранил Густаво до глубины души. Мой отец остался с тетей Ханной, когда его родители уехали на край света.

Каталина посвятила себя уходу за Альмой. Она кормила и мыла ее, каждый день меняла постельное белье и лечила ужасные пролежни, которые медленно разъедали ее тело. Странно, но по мере того, как она увядала, ее волосы вновь обретали прежний блеск.

Я сама как-то поднялась в комнату прабабушки, где пахло дезинфекцией. Серое покрывало, натянутое на матрас со сломанными

пружинами, кажется, все еще частично хранило ее присутствие. Я присела в углу кровати и почувствовала боль последних лет прабабушки, когда она лежала здесь в бесконечном молчании.

Тетя Ханна хранила прядь волос Альмы в черном деревянном сундуке вместе с самыми драгоценными украшениями. Это была реликвия семьи Розенталь.

Я также заметила там выцветшую кожаную записную книжку и маленькую синюю коробочку, которую моя тетя никогда не открывала, выполняя обещание, которое она дала на корабле давным-давно.

Вошедшая Каталина обняла меня за плечи.

– Это все, что у нас осталось от Виеры. Это ее семейный фотоальбом и несколько писем, которые написала ее мать, когда оставила ее в Гаване с дядей. Наверное, она предчувствовала, что они больше никогда не встретятся, – сказала Каталина и умолкла. – Альма была хорошей женщиной, – продолжила она через некоторое время, как бы успокаивая меня. – Это я сказала ей, что ее сын и Виера погибли в авиакатастрофе. Как бы ты ни ненавидела своего сына, смерть – это всегда удар, дитя мое. Еще одна могила на кладбище без тела.

По словам Каталины, прабабушка на самом деле внутренне умерла довольно давно, но не знала, как отпустить себя, хотя знала, что пришло время присоединиться к мужу и сыну.

– Если у тебя нет веры и ты не готов простить, то твое тело и душа не могут уйти вместе. Мне осталось недолго. Если меня разобьет insult, я позволю себе уйти сразу! Какой смысл во всех этих страданиях? – Каталина была мудрой старухой.

Последние дни прабабушки были ужасны: она не могла глотать и еле дышала. Каталина день и ночь сидела в кресле у ее постели, шепча ей на ухо:

– Теперь ты можешь идти, Альма. Все в порядке. Не страдай больше.

Каталина рассказала, что однажды утром, проснувшись, она увидела, что прабабушка Альма перестала дышать, а ее сердце больше не билось. Каталина закрыла глаза и осмелилась совершить крестное знамение над ее холодным серым лицом, прежде чем поцеловать ее на прощание.

Теперь я понимаю, почему моя тетя говорила, что в нашей семье никто не умирает: мы сами отпускаем себя, сами решаем, когда пора

уходить. Это заставило меня вспомнить о папе. Может быть, он тоже однажды попал в ловушку и просто позволил себе умереть под обломками.

Ханна

1985–2014

Каждый день, когда я открываю окно своей спальни и вижу листву деревьев, которые защищают меня от агрессивного утреннего солнца, я понимаю, что я все еще жива и по-прежнему живу на острове, куда мои родители привезли меня против моей воли. Мой разум бежит со скоростью, за которой не поспевает память. Мои мысли летят быстрее, чем я успеваю их фиксировать. Я не помню, что мне снится, не помню, о чем думаю.

Мои ночи беспокойны. Я никак не могу устроиться и просыпаюсь с рассветом, не зная почему. Я больше не в нашей квартире в центре Берлина: я не вижу тюльпанов из гостиной. «Сент-Луис» вытеснен из моего сознания так далеко, что я не могу вызвать в памяти его запахи.

Годы, проведенные в Гаване, запутали меня. Иногда мне кажется, что Гортензия вот-вот войдет в мою комнату или что я иду с Эулуджио в книжный магазин. Аптека, Эсперанса, мои прогулки с Хулианом, появление Густаво, рождение Луиса – все это перемешалось. Я могу видеть маленького Густаво и в то же время Луиса, который прощается со мной.

Он был единственным, кого можно было спасти.

После окончания учебы в университете Луис начал работать в Центре исследований в области физического образования. Когда он приходил домой из офиса, то закрывался в своей комнате и читал. Он поглощал любую книгу, которая попадалась ему на глаза. Все подряд проходило через его руки: исследования по производству сахара, трактат по алгебре, теория относительности или полное собрание сочинений Стендаля. Он читал каждую страницу с большой концентрацией.

Он очень мало говорил, но у него были особые отношения с Каталиной. Она знала, что ему нужно, даже не спрашивая. Меня же он целовал в лоб всякий раз, когда уходил из дома или возвращался. Мне этого было достаточно.

Выходные он проводил в кино. Ему не нужно было ни с кем разговаривать там: он был вечным наблюдателем.

После отъезда в Нью-Йорк он звонил нам раз в месяц, чтобы сообщить, что положил на наш счет деньги, но потом постепенно его звонки становились все реже. Когда мы узнали, что произошло на Манхэттене в тот страшный сентябрьский вторник, мы догадались, что не получим от него вестей некоторое время. Но молчание затягивалось, и я решила написать в офис нашего управляющего трастовым счетом. И однажды утром мне позвонили: Луис погиб. Вот так просто.

Боль свалила меня с ног, хотя на самом деле мы потеряли его задолго до этого.

– Не надо дважды плакать над одним и тем же трупом, – сказала Каталина. – Его отъезд уже подготовил нас.

Я понимала: мы все обречены на преждевременную смерть.

В одну из тех ночей, такую жаркую, что невозможно было заснуть, я приняла ванну с фиалковой эссенцией, чтобы освежиться и чтобы воспоминания о Луисе остались со мной. Я заснула меньше чем через час.

Открыв глаза, я увидела, как он идет по улицам Нью-Йорка между параллельными линиями небоскребов – крошечная точка в огромном городе. Стояла тишина: не было слышно ни шума машин, ни быстрых шагов прохожих, ни ветра. Вокруг никого не было, и я видела вдалеке только его, сидящего на холодной темной скамье. Я услышала его тяжелое дыхание и подумала: «Он готов к тому, что должно произойти».

Внезапно солнце погасло. Произошел взрыв. Потом еще один, а затем город медленно поглотила темнота.

Я побежал к нему сквозь мрак и нашла его спящим, как в детстве. Он снова был моим маленьким мальчиком. Закрыв глаза, я почувствовала его запах. Я снова открыла их, и вот он, мой малыш, лежал на руках.

Я начала петь ему колыбельную: «Когда наступит утро, я разбужу тебя, мой милый».

– Давай вместе пойдем навстречу солнцу, – шепнула я ему по-испански. Теперь я была ни в Берлине, ни в Нью-Йорке, ни в Гаване. В тот роковой день я вообще перестала существовать, пока не узнала, что у Луиса есть дочь.

Со мной связался адвокат из Нью-Йорка – хотел узнать, заинтересована ли я начать судебный процесс, чтобы получить свою

часть счета, открытого моим отцом для Розенталей. Этот человек, который надеялся получить прибыль от притязаний, которые я никогда не собиралась предъявлять, сделал мне ценный подарок: рассказал о существовании Анны Розен – той, что пришла в мир свободной от бремени Розенталей.

Мы не могли поверить в эту новость: Каталина прыгала от радости и обнимала меня. В тот день я впервые увидела, как она плачет. У Луиса была не только жена, но и дочь, которая носила его имя. Они были его наследницами.

– После трагедии часто приходят хорошие новости, – философски изрекла Каталина.

Я рассмеялась, когда Каталина сказала мне, что мы, Розены, пришли в этот мир, неся крест страданий, я попыталась объяснить ей, что это невозможно, особенно если речь идет о Розенталях.

В нашем доме фиалковая вода прочно была связана с Луисом. Как только я узнала о появлении нового Розенталя, его дочери, я начала каждый день наносить несколько капель на свои седые волосы. Этот запах навсегда остался со мной.

Мне скоро должно было исполниться восемьдесят семь лет – возраст, когда пора начинать прощаться.

Я подумала, что должна связаться с Анной: она была тем единственным следом, который наша семья оставила в этом мире. Было бы несправедливо по отношению к моим родителям, если бы я скрыла ее наследие. Каждый должен понимать, откуда пришел. Нужно знать, как примириться с прошлым.

К этому времени у меня остался лишь один долг, одно желание, которое еще не было исполнено: открыть маленькую коробочку цвета индиго.

Последний раз я задувала свечку на день рождения на борту «Сент-Луиса». Это было так давно. Но теперь снова пришло время праздновать.

Анна

2014

Папа рос рядом с тетей Ханной и Каталиной. Они обе сделали все, чтобы он чувствовал себя независимым, но, видимо, против своего желания передали ему и ощущение одиночества.

– Смерть Густаво и Виеры не слишком сильно повлияла на твоего отца, потому что ему тогда было всего девять, – говорила мне тетя. – Он гораздо больше горевал, когда хоронили его бабушку. Родители в его сознании просто ушли в один прекрасный день и больше не вернулись. Для него такой мысли было достаточно. Но в этот раз это был труп, первый, который он видел, в гробу, который собирались похоронить.

Мой отец жил в двуязычной среде. На английском он говорил дома, а на испанском – в школе, которую он не любил. Тетя Ханна решила, что немецкий ему не понадобится. Он изучал ядерную физику, и незадолго до окончания университета тетя Ханна отправилась с ним в Отдел по защите интересов американских граждан в Гаване, недалеко от Малекуна. Она взяла с собой свидетельство о рождении Густаво, чтобы подать заявление на получение американского гражданства для Луиса.

– Именно твой отец наконец получил возможность освободиться от клейма Розенталей, – сказала тетя.

Сама тетя Ханна считала, что должна остаться на Кубе, рядом с могилой матери: чтобы ее кости лежали рядом, чтобы страна заплатила за то, что не впустила ее отца... Но сколько бы она ни объясняла причины, по которым не уехала жить в Нью-Йорк, я не могла ее понять.

После переезда в США отец поселился в жилье, которое сейчас было нашей нью-йоркской квартирой, и восстановил трастовые счета, открытые прадедушкой Максом.

Сейчас не было никаких следов присутствия отца ни в его комнате, ни где-либо еще в этом доме. Дух тети Ханны и прабабушки Альмы был здесь слишком силен, чтобы сохранилось что-то другое.

Здесь также не было семейных фотографий. Единственный снимок моей тети – размытое, пожелтевшее фото, на котором она сидит на коленях у матери: фото, которое ее отец хранил до того дня, когда позволил себе умереть в землях, захваченных ограми. Это у нас с

мамой теперь были все остальные фотографии, сделанные в годы жизни тети в Берлине и на корабле «Сент-Луис».

Устав от этих семейных историй, я пошла искать Диего. Он обещал, что мы пойдем купаться на Малекун. По крайней мере, он собирался искупаться: я боялась погружаться в темную воду, где бурные волны разбиваются о скалистый берег.

В такое время дня берег с рифами и морскими ежами был местом, где толклись все соседские дети. Сначала я подумала, что запах гниющей рыбы, водорослей и мочи просто тошнотворный, но через несколько минут с удивлением поняла, что вполне привыкла к нему. Диего нырнул в бурную воду. Сначала мне показалось, что он тонет: его голова ушла под воду и он как будто изо всех сил пытался выплыть, но потом со смехом начал прыгать с другими мальчиками в воде.

Я навела на него камеру – он подскакивал и улыбался посреди сумасшедших волн.

Когда он вернулся к берегу, я увидела, что он хромает. Я сделала еще один снимок, и он позировал мне с поднятой поврежденной ногой. Его правая подошва оказалась усеянной шипами морского ежа. Он сел рядом со мной, и я терпеливо начала вытаскивать черные иглы одну за другой. Диего стойко переносил боль, хотя на его глаза иногда наворачивались слезы, но он тут же снова улыбался, выпячивая грудь и обнажая зубы, как бы говоря: «Ничего страшного, бывало и хуже!»

После того как я вытащила все шипы, он снова нырнул в море. Солнце садилось за горизонт, и мои мысли тоже летели куда-то вдаль. Я пыталась сделать как можно больше фотографий, чтобы взять их в Нью-Йорк. Облако скрыло солнце, и на несколько минут мы оказались в тени.

Я опустила камеру и вдруг почувствовала себя какой-то подавленной. Я не могла перестать думать о Диего и о семье – моей семье, – которую я только сейчас открывала для себя. Я Розенталь! Теперь уже слишком поздно отступить.

По пути домой я видела, что Диего явно расстроен. Он знал, что мы с мамой уезжаем через несколько дней. Скоро начнутся занятия, и, может быть, мы будем писать друг другу. Я должна убедить маму вернуться на Кубу. Теперь, когда мы познакомились с тетей Ханной, мы не можем просто так ее бросить. Мы единственные родственники, которые у нее есть.

Диего бесконечно говорил о том, что собирается уехать из страны. Он не хотел быть таким, как его дяди и тети, вечно боящиеся, что их дома рухнут, и живущие горькой, безнадежной жизнью. Одной катастрофы на семью вполне достаточно. Может быть, он найдет отца в Соединенных Штатах или я помогу ему найти его. Может быть, его отец в Майами, где много кубинцев: может быть, он пожалеет своего сына и возьмет его к себе. Диего говорил, что в мгновение ока он может оказаться на севере. Он все время говорил об отъезде, а не о том, что нас разлучат.

Я пошла отдохнуть: завтра будет новый день.

* * *

Мама захотела снова побывать на кладбище перед возвращением в Нью-Йорк, чтобы попрощаться. Мы поехали туда вдвоем, и такси оставило нас возле часовни. Мама не вошла туда, но несколько мгновений стояла снаружи, закрыв глаза и глубоко вздыхая.

Я не хотела читать надгробия, любоваться застывшими в мраморе ангелами, смотреть на плачущих людей. И снова в воздухе стояли резкие запахи!

Вдалеке показался семейный мавзолей. Мама увидела, что тетя Ханна изменила надпись на фронтоне. Теперь там значилось на испанском: «Семья Розенталь», а ниже пояснялось, что это название означает по-немецки «Розовая долина». Значит, тетя Ханна вернулась к своей сущности. Она больше не Розен, а та, кем была всегда: дочь своего отца.

Внутри были надгробия с надписями. Мои прабабушка Альма и прадедушка Макс, мой дедушка Густаво, папин отец, и – моя тетя! Ханна Розенталь, 1927–2014. Когда мы увидели это, только и смогли что сжать друг другу руки. Тетя Ханна, должно быть, решила, что это будет ее последний год. А, как мы уже знаем, в нашей семье не умирают, а отпускают себя.

Маме не хотелось меня расстраивать, поэтому она попыталась сделать вид, что наше открытие не имеет значения. Но я не могла не заметить на ее лице выражение ужаса, которого никогда раньше не видела. Она попыталась разрядить напряжение:

– Я уверена, тетя изменит дату. В ее возрасте все думают, что они уже одной ногой в могиле. Не волнуйся, тетя Ханна будет рядом еще долго.

Увядшие цветы Каталины все еще были здесь, как и камни, которые мама положила на все надгробия, кроме надгробия тети Ханны. Она положила еще по одному камню каждому из наших умерших родственников. Потом задержалась перед надгробием тети Ханны, вероятно, думая оставить камень и там, но потом решила этого не делать. Хотя мы обе понимали: тетя Ханна уже приняла решение и никто не может заставить ее изменить его. Мама положила камень в сумку.

Пока мы шли обратно к такси, солнце било в белое море мрамора, ослепляя нас. Я думала, что тетя достигла возраста, который раньше не могла вообразить, в стране, где она никогда не хотела остаться. Теперь она хочет вернуться в свою розовую долину.

Дома мы начали готовиться к празднованию дня рождения. Каталина и я решили испечь торт для тети. Я взбивала яйца, пока они не стали пенистыми и не поднялись так сильно, что почти переполнили фарфоровую миску. Мука постепенно сделала пену гуще. Ложка масла, щепотка соли, смазанная форма – и в духовку! Но перед этим я посыпала тесто ванилью, и воздух стал сладким и теплым. Мой первый торт!

Затем я сделала глазурь. Белая пена поднималась: я добавляла в нее сахар, пока она не загустела. Еще несколько капель лимонного сока, соль и порошок корицы. Глазурь покрыла торт, превращая его в немного однобокий снежный ком: мой подарок тете Ханне.

Мама была поражена и сказала, что мы должны печь торт вместе каждый год. Именинница все это время наблюдала за нами со своей чудесной улыбкой. Она излучала ласковое чувство покоя, которого я никогда раньше не замечала. Знать, что мы покидаем остров, что возможность, которой лишили ее с матерью с того дня, как они сошли с «Сент-Луиса», открыта для нас, – этого было достаточно, чтобы сделать ее счастливой.

Каталина села в кресло отдохнуть и заснула. Всякий раз, когда у нее появлялась возможность, она устраивалась где угодно, закрывала глаза... и нам приходилось трясти ее, чтобы разбудить. Она слышала

все хуже и хуже. У нее в голове, верно, такая симфония звуков, что она не может разобрать, что происходит снаружи.

– Это старость, ничего не поделаешь, – говорила она с короткой улыбкой, а затем встает, чтобы заняться чем-нибудь – чем угодно, лишь бы что-то делать.

Мама сказала, что тете Ханне и Каталине нужны помощники по дому. Она говорила о них, как о членах семьи. Впрочем, так и было.

Тетя Ханна попросила нас отпраздновать ее день рождения в сумерках: в тот час, когда капитан корабля «Сент-Луис» появился в ее каюте с открыткой – той, которая теперь была у нас. Ее двенадцатый день рождения. Дальше была долгая жизнь здесь, где она никогда не чувствовала себя как дома. Для нее годы, проведенные на Кубе, – наименее важные. Ее настоящая жизнь прошла в Берлине и на борту «Сент-Луиса». Большая часть последующих лет стала кошмаром.

Каталина нашла в кухонном ящике полустгоревшую свечу и воткнула ее в центр белого бисквита. Я сбегала к Диего и пригласила его отведать мой первый торт.

Мы выключили свет в столовой, и мама зажгла свечу. Сначала мы пели по-английски для меня, хотя мой день рождения уже прошел. Тетя просила нас, и мы пели, чтобы доставить ей удовольствие. Я закрыла глаза и загадала желание. Больше всего в этот момент я хотела снова вернуться в Гавану.

Мы снова зажгли свечу, на этот раз для тети Ханны. Каталина запела на испанском языке песню, которую я никогда раньше не слышала: «Поздравляю с днем рождения, Ханна, будь счастливой и радостной, много лет мира и гармонии тебе, счастливого, счастливого дня рождения...»

Тронутая, тетя Ханна наклонилась над тортом, закрыла глаза и загадала тайное желание. После долгой паузы она подула на свечу, но ее слабое дыхание не могло сбить пламя. В конце концов она погасила ее пальцами, улыбнулась всем нам и крепко обняла меня.

Когда я ложилась спать той ночью, я нашла на подушке маленькую бутылочку с фиалковой водой и записку, написанную крупным, дрожащим почерком: «Для моей девочки».

Часть четвертая

Ханна и Анна

Гавана, вторник, 24 мая 2014 года

Анна

Нам пора было уезжать, а я не знала, как попрощаться. Мама выносила из дома наши вещи. Она нервно приглаживала волосы и вытирала пот, а я ждала на дорожке, на полпути между тетей Ханной на крыльце и Диего. Он стоял на углу улицы спиной ко мне.

– Анна, пора! Нельзя уже тянуть. Пойдем, мы же не едем на край земли! – Мамин голос вырывает меня из моих мыслей.

Я подбежала к тете и, обнимая ее, почувствовала, как она крепко прижимается ко мне, чтобы не упасть.

– Осторожнее! – заметила мама. – Не забывай, твоей тете восемьдесят семь лет.

Восемьдесят семь. Я не знаю, почему она постоянно напоминает мне об этом.

– Обними меня еще раз, Анна. Вот и все, дитя мое, теперь убирайся с этого острова как можно быстрее, – сказала тетя дрожащим голосом.

Я почувствовала ее холодные руки на своих плечах, но продолжала обнимать ее. Интересно, Диего все еще стоит на углу или уже ушел?

– Послушай, Анна. У меня есть для тебя кулончик. Можно я его тебе надену? – Теперь тетин голос кажется очень слабым. – Это несовершенная жемчужина, а ты немного на нее похожа: такая же уникальная. Она появилась в нашей семье задолго до моего рождения. Теперь пришло время передать ее тебе. Позаботься о ней. Жемчуг может служить всю жизнь. Твоя прабабушка всегда говорила, что у каждой женщины должно быть хоть одно жемчужное украшение.

Я прикоснулась к крошечной жемчужине. Только бы ее не потерять! Когда я вернусь домой, я буду хранить ее в тайнике, в моей прикроватной тумбочке, вместе с папиными сувенирами. Хотя сейчас казалось, что время замерло и мы никогда не вернемся.

– Мама подарила мне жемчужину в нашей каюте на борту «Сент-Луиса» на мой двенадцатый день рождения. Теперь она твоя.

Я сжала подвеску и попыталась отодвинуться от тети, но она по-прежнему крепко меня держала.

– Не забудь: когда ты доберешься до Нью-Йорка, ты должна посадить тюльпаны, Анна, – прошептала она. – Мы с папой любили

смотреть, как они цвели, из окна, которое выходило во двор нашей берлинской квартиры. На этом острове тюльпаны не растут.

Потом я побежала к Диего и обняла его сзади. Он не смотрел на меня, но я знала, что его глаза полны слез. И вдруг, повернувшись, он подарил мне поцелуй, от которого я не смогла увернуться. Диего поцеловал меня! Интересно, видел ли это кто-нибудь. Мой первый поцелуй! Мне хотелось закричать от восторга, но не хватило смелости.

– Это для тебя, – сказал он, глянув на меня, и разжал правую руку. Там была маленькая ракушка с желтыми, зелеными и красными переливами. Я очень осторожно взяла ее, а затем еще раз его обняла.

– Мы скоро встретимся снова, вот увидишь. – Я хотела, чтобы он был уверен: я вернусь.

Я отошла от него, считая каждый шаг до машины, где ждала мама. Тетя Ханна так и стояла на крыльце, но я не хотела на нее смотреть: я не хотела плакать. Вдруг ветерок стих. Все застыло во времени, и я сделала последний шаг, как в замедленной съемке.

– Анна! – закричала мне тетя Ханна, и я побежала к ней. – Вот еще одна история для тебя.

Она протянула мне коричневый кожаный альбом моей бабушки Виеры, который хранила вместе с синей коробкой. Мы снова обнялись.

– Теперь он твой.

Она медленно отпустила меня. Я села в машину и прижалась к маме, которая открывала окно, пока мы отъезжали от дома, не оглядываясь назад.

В одной руке у меня ракушка. В другой – фотоальбом.

– Меня поцеловали, мам. У меня только что был первый поцелуй...

– Первый никогда не забудется, – сказала она, улыбаясь.

Мы молча проехали мимо старой школы из красного кирпича, где учился отец. Я представила его в сине-белой форме, которую мне описывала тетя. Вот он марширует в какой-то процессии, в которой школьники должны принять участие. Или сидит на школьной стене вместе с одноклассниками, размахивая бумажным кубинским флагом.

До свидания, папа. Я достала его фотографию из кармана блузки.

– Мы здесь, исполняем твою мечту, – сказала я фотографии и поцеловала ее. – Мы прошли этот путь вместе.

Я положила фотографию в альбом моей бабушки Виеры и закрыла глаза.

Мы доехали до аэропорта, который был переполнен семьями с огромными чемоданами. Я изучала их лица, которые казались мне знакомыми: хрупкая пожилая женщина, отправляющаяся с визитом в Майами, солдат, тщательно проверяющий проездные документы у пары с дочерью, маленькая девочка, которая уставилась на меня, а потом убежала прятаться за матерью. В их глазах я увидела страх быть среди тех, кто остался.

В самолете, глядя в иллюминатор, я прощалась со страной, где родился отец, которого я никогда не знала. Мы оставили позади Гавану и летели над Флоридским проливом. Я не могла не думать о том, что я видела Диего и тетю Ханну в последний раз. Я не знала, вернемся ли мы на землю, где похоронена моя прабабушка. Я прислонилась виском к окну и заснула, и спала до тех пор, пока не объявили, что мы прибываем в Нью-Йорк.

Я подняла глаза на маму, которая гладила меня по волосам, и увидела у нее на глазах слезы.

Мы вот-вот должны были приземлиться. Я открыла фотоальбом и первое, что увидела, – открытку с изображением атлантического лайнера с надписью: «Сент-Луис», «Гамбург – Америка Лайн».

– Помни о тюльпанах, мама. Мы будем сажать тюльпаны.

Ханна

У меня пока еще есть судьба: по крайней мере, сегодня, во вторник. И я собираюсь выбрать ее. Я могу решить, куда мне идти, к чему стремиться. Я могу стать кем захочу, бросить все и начать сначала или покончить со всем раз и навсегда. Это мой приговор. Я чувствую себя свободной.

Я могу в последний раз побродить среди разноцветных кустов кротона, пуансеттий, розмарина, базилика и мяты в запущенном саду, что стал моей крепостью в городе, который я так и не узнала. Я вдыхаю аромат недавно процеженного кофе, смешанный с запахом корицы из духовки. Я могу видеть и переживать все, что мне нравится. Как мне повезло!

На пороге нашего Малого Трианона, где я впервые увидела Анну и узнала в ней себя, я сжала ее теплую руку и вдруг увидела мир, который никогда не узнаю, ее глазами как своими.

Мать ненавидела прощания. У нее не хватило мужества сказать мне «до свидания». Она спряталась в постели, зажмурившись, и просто позволила своему телу одряхлеть.

Но правда в том, что мне прощания *нужны*. Прошло столько времени, а я все не могу забыть, что мне не позволили попрощаться с Лео, с отцом, с капитаном, с Густавом, Луисом и Хулианом. Но сегодня никто не помешает мне сделать это. Каждую секунду я видела себя в Анне: той, кем я могла бы быть, но не стала.

Я растерянна. Анна стоит в тени корабля, отплывающего из залива. Я не могу разглядеть лица тех, кто все еще кричит нам «прощай», но вдруг слышу голос папы:

– Забудь свою фамилию!

Я не могла спокойно проститься с Анной. Я держу ее в объятиях, а в моих ушах звучит отчаянный крик самого благородного человека на свете.

Закрывая глаза, я оказываюсь рядом с Диего и Анной, которые обнимаются.

Да, Диего, так грустно прощаться. Давай, целуй ее, пользуйся каждой секундой. Спасибо вам, дети мои, за то, что подарили мне этот момент.

Небо поглубело, облака рассеивались, освобождая закатное солнце. Его угасающие лучи не так болезненны для моей кожи, которая не может выдержать жжения. Запах моря ворвался в мои ноздри, ветерок начал ерошить волосы. Мы втроем, одни на этом углу улицы в Ведадо. А как же Лео? Лео здесь нет.

Рядом с Анной я счастлива. Мы так близки... Диего целует ее. Это ее первый поцелуй. Я тоже не могу в это поверить. Ей тринадцатый год, она целует мальчика, а мне приходится переживать прощание с ней.

Я открываю глаза и отпускаю ее. Все обрывается. Она уходит. Я теряю ее. Расстояние между Анной и Диего, между Анной и мной начинает болезненно увеличиваться.

Мы с Диего остались одни в растерянности. Он не переставая плакал, но, поняв, что я за ним наблюдаю, убежал.

Последние две недели стали вечностью. Я переживала каждое мгновение жизни, которая всегда была лишена смысла. Семьдесят пять лет в ловушке в иллюзорном городе, откуда другие люди уезжают, бегут и оставляют нас здесь, обреченных на упоение в земле, которой мы никогда не были нужны.

Мне хочется побыть Анной еще несколько минут. Я оставлю прошлое в этом полуразрушенном особняке: хватит мне расплачиваться за грехи других людей, за их проклятия. Мне все равно, если все, что мы пережили, будет забыто. Я не хочу вспоминать.

Когда все уехали, только Каталина осталась здесь, рядом со мной. Я повернулась и обняла ее, не зная, как попрощаться. Она смотрела на меня и все понимала, но предпочитала ничего не говорить. Потом повернулась ко мне спиной и медленно и тяжело пошла обратно в мой Малый Трианон, который теперь принадлежал ей. Дверь захлопнулась.

Я услышала корабельную сирену. Это был сигнал. Пора возвращаться в море.

Я спустилась по Пасео, считая каждый шаг, который мне еще предстоит сделать, чтобы добраться до Малекуна. Я обнаружила новые здания, заросшие сады, корни лиственных деревьев, вырвавшиеся из-под асфальта.

Анны больше не было со мной, и это причиняло мне боль. Я изо всех сил старалась отвлечься на выцветшие дома и детей, мчащихся по Пасео на велосипедах, но это оказалось невозможно. Я видела только ее, но знала, что она не рождена, чтобы жить на острове, где мы

обречены умереть, как говорила мама. В конце концов эта мысль меня утешила.

Сегодня, после того как я отпраздновала день рождения, мне трудно было понять, как мне удалось пережить всех членов моей семьи. Лео, который рисовал нашу судьбу на картах, сделанных из воды и грязи в переулках Берлина. Хулиан, ставший тщетной надеждой, которой с самого начала было суждено кануть в небытие.

У меня не было желания возвращаться в прошлое. Пора покончить со всем этим: даже у боли есть срок годности. Я жила настоящим, да, здесь и сейчас, всем, что может дать мне еще один вздох, даже если он последний. Цель была на виду, и я чувствовала, что у меня есть голос. Я существую, даже если сейчас я не более чем призрак того, кем я когда-то была.

Мне казалось, что все мои вещи душат меня. Жемчуг тянул вниз, к земле, как мертвый груз. Мое платье – броня, которая не дает мне дышать. Туфли цеплялись за тротуар, словно не желая дать мне сделать еще один шаг. Слабые румяна, которыми я намазалась, чтобы показать себе, что я еще жива, – не более чем детское оружие в этой битве за жизнь в настоящем.

Моя память теперь полна событиями – настолько, что прощания теряются в ней.

Я могу восстановить каждую деталь платья, которое было на маме, когда она села на борт «Сент-Луиса» семьдесят пять лет назад, но я не могу вспомнить, что я делала перед тем, как порошиться с Анной. Закрыла ли я дверь спальни? Я понятия не имею, оставила ли я свет включенным, попрощалась ли с Каталиной, сказала ли ей: «До свидания».

Анна приняла нашу жемчужину. Сейчас я хотя бы знаю, что на моих щеках румяна. Да, в моем лице есть жизнь. Или хотя бы ее подобие.

Единственное, что меня интересует, – это сегодняшний день. Вчера и завтра – это для других людей, а не для старой женщины восьмидесяти семи лет. Анна, теперь ты несешь след, оставшийся от семьи, которая не должна была выжить. Вот почему я передала тебе фотографии и жемчужину.

Да, время пришло, и я здесь ради тебя.

Ты меня слышишь, Лео? У меня с собой маленькая коричневая сумочка. В ней ключи, косметичка, помада, кружевной платочек, который папа привез мне из поездки в Брюгге. И твой подарок, Лео, последний, тот, который дожидался сегодняшнего дня, чтобы я его открыла: маленькая коробочка цвета индиго, которую ты вложил мне в руку перед тем, как оторвать меня от себя. У нас не было возможности попрощаться, не то что у Анны и Диего. Я так и не смогла подарить обещанный поцелуй.

У меня все так же есть голос, напомнила я себе, но румянец на моих щеках отделял меня от тебя, от моего детства. И все же я знала, что каждый шаг приближает меня к тебе.

Наконец я увидела горизонт. Я прислонилась к стене, изъеденной годами и солеными брызгами, стене, которая защищала город от моря.

– Мне восемьдесят семь, – сказала я вслух, удивив влюбленную пару, сидящую на стене Малекуна. Они даже что-то ответили, но я не расслышала. Я привыкла жить в постоянном морском рокоте. С годами я все хуже понимала, что говорят другие люди. Я уже даже не пыталась разбирать их фразы или учить новые слова. Какой в этом смысл в моем возрасте?

Я продолжила путь, пока не дошла до туннеля, соединяющего Ведадо с Мирамаром. Мне стало трудно дышать, я дрожала, но не от страха. Сердце замерло, дыхание сбилось.

Здесь, среди камней, у развалин заброшенного ресторана, я опустилась на железный стул, который когда-то был серебристым. Я сидела и смотрела, как волны разбиваются о рифы далеко за пределами порта. Я достигла того возраста, до которого мы хотели дожить вместе. *Помнишь, Лео?*

– Я единственная выжившая из своей семьи, но зато не лежу в постели, как Адлеры, – сказала я, убеждая себя, что ожидание того стоило. – Нет, не нужно больше думать. Я готова.

Я сдержала все обещания, и меня утешает осознание того, что Анна – это лучшее, что могло случиться с нами, Розенталями. Столько потерянных поколений...

Я аккуратно вынула из сумки коробочку цвета индиго, которую ты дал мне, когда мы расставались на палубе «Сент-Луиса». Я сдержала свое обещание, Лео. Не могу не улыбаться, когда понимаю, что все эти

годы одиночества, на которое меня обрекли родители, ты всегда был со мной.

Настал момент окрасить мои руки в цвет индиго. Со всей силой, которая у меня осталась, я сжала маленькую коробочку, которую ты дал мне семьдесят пять лет назад, когда мой отец умолял меня забыть свою проклятую фамилию.

Пришло время попрощаться с островом. Маленькая потускневшая коробочка была моим амулетом до сегодняшнего дня. Восемьдесят семь лет. *Мы справились, Лео.*

В память о тебе я собираюсь с силами. Настало наше время, мы его так долго ждали. *Спасибо тебе, Лео, за подарок, но я не могу открыть его сама. Мне нужно, чтобы ты был здесь, со мной.*

Закрыв глаза, я чувствую, как ты приближаешься. Тебе тоже восемьдесят семь, Лео, и ты идешь медленно. Не торопись. Я ждала тебя так долго, что еще одна минута ничего не изменит. Я глубоко вдыхаю, и ты подходишь ко мне, такой же энергичный, как в наши детские годы в Берлине, когда мы играли во взрослых.

Ты близко. Я чувствую тебя. Ты здесь.

Ты берешь меня за руку, и я встаю, чтобы обнять тебя, – то, на что мы не решались тогда. Ты дрожишь, и я прижимаюсь к тебе, чтобы ты поделился своим теплом. Это не момент скорби: это наша мечта.

Ты выше и сильнее меня. Твоя кожа кажется еще темнее теперь, когда твои кудри стали белыми, такими же белыми, как мои бедные локоны. А твои ресницы? Они все так же появляются раньше тебя...

Ты ждал семьдесят пять лет, чтобы снова появиться, потому что знал наверняка, что я буду здесь, на берегу моря, на закате, чтобы вместе мы смогли открыть сокровище, которое я сохранила для тебя.

Я знаю, что сплю. Но это мой сон, и я могу делать с ним все, что захочу. Вместе мы очень медленно открываем коробку. Вот оно, нетронутое бриллиантовое кольцо твоей матери. Посмотри, как оно сверкает в солнечном свете, Лео. А рядом – я не могу поверить своим глазам – лежит маленький кусочек пожелтевшего стекла.

Мое сердце пытается найти силы там, где их уже нет, и начинает биться немного быстрее. Я должна держаться.

Я закрываю глаза и наконец понимаю, что это: это последняя капсула с цианидом, которую мой отец купил перед тем, как мы

отправились в плавание на «Сент-Луисе». Третья капсула, единственная оставшаяся. *Ты хранил ее для меня, Лео!*

Я сожалею – и это один из немногих случаев в моей жизни, – сожалею, что считала тебя предателем, думая, что ты и герр Мартин украли капсулы, предназначенные для меня и моих родителей. Теперь я понимаю: вы не могли знать, сколько еще островов будут закрыты для вас. Все острова мира, скрытые за тишиной и молчанием. А как мы знаем, на войне молчание – это бомба замедленного действия. Вы неизбежно должны были сохранить капсулу. Это было выведено на всех наших судьбах.

Срок годности старой бесценной капсулы, которую ты хранил для меня, уже истек. Она не сможет вызвать мгновенную смерть мозга и остановку сердца. Но она мне больше и не нужна. Я ждала так долго, потому что дала тебе слово: я сдержала обещание, данное мальчику с длинными ресницами. Пришло время позволить себе уйти.

Я вижу тебя ближе ко мне, чем когда-либо, Лео, и я дрожу от счастья.

И все же не могу избавиться от чувства вины, потому что мои родители отсутствуют в моих последних мыслях. Потому что, по правде говоря, именно ты и Анна – моя надежда и свет, в то время как Макс и Альма – неотъемлемая часть моей трагедии.

Я не хочу чувствовать себя виноватой. С того момента, как решаешь уйти, легкость необходима.

* * *

Закат кажется ярче, когда знаешь, что он последний. Ветер ощущается по-другому. Мое тело все еще слишком тяжелое, поэтому я сосредотачиваюсь на волнах, на ужасном запахе морских брызг, от которого маму всегда тошнило, шумной молодежи, проходящей через туннель, и музыке из проезжающих машин. И, конечно, все время я чувствую влажную, раздражающую жару тропиков, с которой мне приходилось мириться до сегодняшнего дня.

Я теряю всякое чувство времени, позволяю своему разуму уплыть, и в тот момент, когда я чувствую, что мое сердце вот-вот остановится, ты надеваешь мне на палец кольцо с бриллиантом.

Я подношу к губам капсулу – последнее, к чему ты прикасался своими еще теплыми руками, – как будто наконец-то целую тебя. В этот миг мы вместе в светлой каюте моих родителей на борту «Сент-Луиса».

Тюльпаны, Лео, скоро зацветут тюльпаны, – шепчу я тебе на ухо. – Ты слышишь меня?

Да, ты слушаешь меня: с закрытыми глазами и длинными-длинными ресницами, которые всегда появляются раньше тебя...

Тебе уже двадцать, ты привлекательный молодой человек. Мне тоже двадцать – возраст, которым никто из нас в реальности не смог насладиться. Я склоняюсь к твоему теплому лицу и наконец дарю тебе поцелуй, который обещала подарить, когда мы снова встретимся на нашем воображаемом острове. Мы так и держимся за руки, мы ближе, чем когда-либо, и я вижу тебя рядом со мной, на вершине мачты, самой близкой к небу точки на великолепном «Сент-Луисе».

Груз, который я ношу с тех пор, как мы расстались, исчезает, и я обретаю ту легкость, которая нужна для того, чтобы позволить себе уйти.

Мы летим над длинной морской стеной Малекун, смотрим на проспект с высоты. Впервые Гавана принадлежит нам. Перелетев залив, мы садимся у молчаливого Кастильо дель Морро и оглядываемся на город, который выглядит как старая открытка, оставленная проезжим туристом.

Нам снова двенадцать лет, и никто не может нас разлучить. День не заканчивается, Лео, скоро рассвет. Гавана по-прежнему во тьме, тускло освещенная янтарным светом уличных фонарей. Все, что мы можем различить, – это несколько зданий посреди пальм.

Затем мы слышим оглушительный рев корабельной сирены. Теперь мы стоим на палубе – на том же месте, откуда впервые увидели город. В том возрасте, когда не могли понять, почему мы никому не нужны. Но теперь все тихо. Нет отчаянных голосов, выкрикивающих имена в пустой воздух. И снова мои родители разлучают нас, таща меня против моей воли на крошечный участок земли между двумя континентами.

И я не кричу, не проливаю слез, не умоляю их позволить мне остаться рядом с тобой, Лео, на «Сент-Луисе», в единственном месте, где мы были свободны и счастливы. Я беру нежную, гладкую руку матери и, не оглядываясь назад, позволяю им затянуть меня в бездну.

Но на этот раз я могу сказать тебе: «Шалом».

Примечание автора

В субботу, 13 мая 1939 года, в восемь часов вечера трансатлантический лайнер «Сент-Луис» компании «Гамбург – Америка Лайн» (НАРАГ) вышел из порта Гамбурга, направляясь в Гавану, столицу Республики Куба. На борту лайнера находились 900 пассажиров, подавляющее большинство из которых были немецко-еврейскими беженцами, и 231 член экипажа. Двумя днями позже еще 37 пассажиров поднялись на борт в порту Шербур.

У беженцев были разрешения на посадку, выданные Мануэлем Бенитесом, директором Иммиграционного департамента Кубы, и предоставленные компанией НАРАГ, имевшей офис в Гаване. Куба должна была стать транзитным пунктом, поскольку у путешественников уже были визы для въезда в Соединенные Штаты.

Они должны были остаться на Кубе в ожидании своей очереди: пребывание на острове могло длиться от одного месяца до нескольких лет.

За неделю до отплытия корабля из Гамбурга президент Кубы Федерико Ларедо Бру опубликовал Декрет 937 (названный так из-за общего числа пассажиров на борту «Сент-Луиса»), аннулировавший разрешения на посадку, подписанные Бенитесом. Могли быть приняты только документы, выданные государственным секретарем по вопросам социального развития и труда Кубы. Беженцы заплатили 150 долларов США за каждое разрешение, а проезд на «Сент-Луисе» стоил около 600–800 рейхсмарок.

Когда они уезжали, Германия потребовала, чтобы каждый беженец купил обратные билеты, и разрешила им взять с собой только 10 рейхсмарок на человека.

Корабль прибыл в порт Гаваны в четыре часа утра.

27 мая 1939 года. Кубинские власти не позволили ему причалить в зоне юрисдикции компании НАРАГ, и поэтому лайнер был вынужден бросить якорь в Гаванской бухте.

Некоторых пассажиров ждали родственники в Гаване,

Многие из них арендовали лодки, чтобы добраться до корабля, но их не пустили на палубу.

Только четверем кубинцам и двум испанцам не еврейского происхождения было разрешено высадиться на берег, вместе с двадцатью двумя беженцами, которые получили разрешения на посадку от государственного департамента Кубы до того, как они начали выдаваться Бенитесом, которого поддерживал начальник армии Фульхенсио Батиста.

1 июня адвокат Лоуренс Беренсон, представитель Американско-еврейского совместного комитета по распределению, встретился с президентом Ларедо Бру в Гаване, но не смог достичь соглашения, чтобы позволить пассажирам совершить высадку.

Переговоры продолжались. Далее кубинский президент потребовал от Беренсона поручительство в размере 500 долларов США за каждого пассажира, прежде чем они смогут сойти на берег. В переговорах приняли участие представители различных еврейских организаций, а также сотрудники посольства США на Кубе провели безуспешные переговоры с Ларедо Бру. Они также пытались связаться с Батистой, но его личный врач сказал, что генерал простудился в день, когда «Сент-Луис» прибыл на Кубу, что он должен отдохнуть и не может даже подойти к телефону.

Когда Беренсон выдвинул встречное предложение, уменьшив сумму, требуемую в качестве поручительства, на 23,16 доллара за пассажира, кубинский президент решил прервать переговоры и потребовал, чтобы корабль покинул кубинские территориальные воды к одиннадцати часам утра 2 июня.

Если бы это требование не было выполнено, «Сент-Луис» был бы отбуксирован по приказу кубинских властей в открытое море.

Капитан судна, Густав Шредер, защищал пассажиров с момента их отплытия из Гамбурга и начал делать все возможное, чтобы найти негерманский порт, где они могли бы сойти на берег.

Лайнер «Сент-Луис» отправился в Майами, но, когда он подошел слишком близко к побережью Флориды, правительство Франклина Д. Рузвельта не позволило кораблю зайти в порт.

Такой же отказ был получен от канадского правительства Маккензи Кинга.

Вследствие этого корабль был вынужден снова пересечь Атлантику, взяв курс на Гамбург. За несколько дней до прибытия лайнера Моррис Тропер, директор Европейского комитета по

совместному распределению, достиг соглашения о том, что несколько стран примут беженцев.

Великобритания приняла 287 человек, Франция – 224, Бельгия – 214, Голландия – 181.

В сентябре 1939 года Германия объявила войну, и страны континентальной Европы, принявшие пассажиров, вскоре были оккупированы армией Адольфа Гитлера.

Только 287 человек, принятых Великобританией, были в безопасности. Большинство остальных бывших пассажиров «Сент-Луиса» пережили ужасы войны или были уничтожены в нацистских концентрационных лагерях.

Капитан Густав Шредер командовал «Сент-Луисом» еще один раз, и его возвращение в Германию совпало с началом Второй мировой войны. Он больше не выходил в море, а получил кабинетную работу в судоходной компании.

Корабль «Сент-Луис» был уничтожен во время воздушных налетов союзников на Германию. После войны, во время процесса денацификации, капитан Шредер был отдан под суд, но благодаря свидетельским показаниям и письмам в его пользу от выживших пассажиров с «Сент-Луиса» обвинения против него были сняты.

В 1949 году он написал книгу «Бездомные в открытом море» о плавании, которое совершил «Сент-Луис». В 1957 году федеральное правительство Германии наградило его орденом «За заслуги» за его работу по спасению беженцев.

Капитан Шредер умер в 1959 году в возрасте семидесяти трех лет. 11 марта того же года Яд ва-Шем, официальное израильское учреждение, занимающееся сохранением памяти о жертвах Холокоста, посмертно признал его Праведником народов мира.

В 2009 году Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, «признающую страдания беженцев в результате отказа правительств Кубы, Соединенных Штатов и Канады в предоставлении им политического убежища».

В 2012 году Государственный департамент США принес публичные извинения за то, что произошло с судном «Сент-Луис», и пригласил оставшихся в живых в свою штаб-квартиру, чтобы они могли поделиться своими историями.

В 2011 году в Галифаксе (Канада) был открыт памятник, профинансированный канадским правительством и известный как «Колесо совести». Он напоминает об отказе этой страны принять беженцев с корабля «Сент-Луис» и выражает глубочайшее сожаление по этому поводу.

До сих пор на Кубе трагедия «Сент-Луиса» не освещалась в учебных классах и данная тема не была включена в учебники истории. Все документы, связанные с прибытием корабля в Гавану и переговорами с правительством Федерико Ларедо Бру и Фульхенсио Батистой, исчезли из Национального архива Кубы.

Слова благодарности

Джоанне В. Кастильо, моему редактору, которая побудила меня вновь обратиться к трагедии «Сент-Луиса». Она была моим первым читателем и движущей силой в написании этого произведения.

Джудит Курр и всей фантастической команде издательства Саймон & Шустер «Атрия Букс» за веру в меня, за вашу поддержку и за вашу тщательную работу над романом.

Моей бабушке Томасите, первому человеку, который рассказал мне еще в детстве о трагедии «Сент-Луиса» и отправил меня на уроки английского языка в Гавану вместе с соседом, который эмигрировал из Германии в 1939 году и был несправедливо известен в округе как «нацист».

Аарону, моему еврейскому другу в Гаване.

Гвидо, свидетелю Иеговы и моему другу в начальной школе.

Моей тете Монине за ее рассказы о том, как она была студенткой фармацевтического факультета в Гаванском университете, и за то, что через свою семью познакомила меня с жизнью свидетелей Иеговы на Кубе.

Лидии, моей крестной матери, рассказавшей мне о тех днях в 1940-х годах, когда она училась в школе Балдор в Гаване.

Скотту Миллеру, главному куратору Мемориального музея Холокоста США в Вашингтоне, досконально изучившему документы о трагедии «Сент-Луиса», который предоставил мне доступ к более чем 1200 документам и связал меня с выжившими.

Кармен Пинилья за то, что она выступила в роли моего гида в Берлине, за внимательность, с которой она прочитала первую часть книги, и за ее ценные советы.

Нику Кайстору, моему переводчику, за то, что передал суть и голос Ханны и Анны в англоязычной версии. Спасибо за отличный перевод.

Элейн, за ваши тщательные правки англоязычного издания.

Нюстору и Эстер Марна за их кропотливую работу в качестве редакторов.

Рэю за его поддержку и доверие.

Мирте, которая с самого начала верила в этот проект.

Маме Мирты, которая не позволила Ханне уехать без Лео.

Кэрол, которая влюбилась в мой роман еще до его прочтения и побудила меня написать его.

Марне, которая была растрогана, едва познакомившись с «Девушкой из Германии», и которая позаботилась о том, чтобы Ханна не была совсем несчастна в Гаване.

Энни Филбрик, с которой я ездил на Кубу после написания книги. Спасибо за то, что первой прочитала ее на английском языке, за добрые слова и за то, что стала крестной матерью «Девушки из Германии».

Леонор, Освальдо, Роми, Иларито, Ана Марна, Овидио, Исель, Диана, Бецаиде, Рафо, Рафоте, Герману, Соне, Соне Марне, Радамйсу, Херардо, Лаура, Борис – моей семье и друзьям, которые терпеливо переносили мою одержимость «Сент-Луисом».

Моей матери и сестре, роль которых была гораздо более значимой, чем просто роль главных героев этих страницы.

Гонсало, за его безусловную поддержку и за то, что заботился о семье, когда мне нужно было время, чтобы писать.

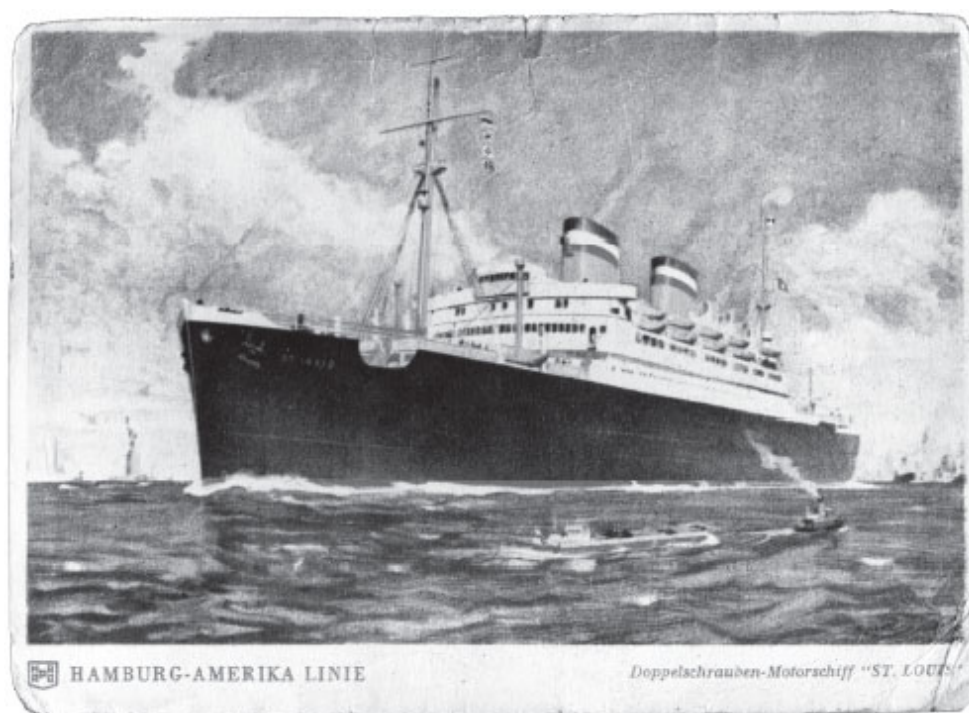
Эмме, Анне и Лукасу, истинному источнику вдохновения для создания этой истории.

907 пассажирам лайнера «Сент-Луис», которым было отказано во въезде на Кубу, в США и Канаду, перед которыми мы навсегда останемся в долгу.

Пассажиры судна «Сент-Луис»

Ниже приводится оригинальный список имен 937 пассажиров, поднявшихся на борт злополучного судна «Сент-Луис», а размещенные далее фотографии смогли живо запечатлеть их стремление к свободе. Именно им и посвящается книга «Девушка из Германии».

Материалы, включенные в этот раздел, были любезно предоставлены Мемориальным музеем Холокоста США в Вашингтоне, округ Колумбия.



Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Джули Кляйн, фото Макса Рида.

Erna Levy	Erwin Jurek	Walter Feige
Gertrud Scheuer	Katholken	Regi Blumenthal
Ludwig Bergmann	Luise Herz	Foni Bergmann
Heinrich Hauss	Selma Widmer	Anna Orze
Edw. Bismarck	D. Sub Kasul	Johanna Keilbrunn
Willa Herz	Else Blumenthal	Julie Fink
Ludwig Feld	Charlotte Atlas	Emma Hauss
Leontia Schapanik	Martha	Elise Laewe
Ruth Loebe	Felix Neubauer	
Manfred Fink	Kerta u. Michael Fink	
Leopold Fink	Ida Bauer	Bruno Bernheim
Levi Schuman	Ruth Seiber	Rosa Seiber
Regina Prohn	Samuel Moskowitz	Max Fink
Fritz Schwab	Emil Rubinfeld	Heinz Prohn
Heinz Einstein	Manuel	Berta Pauch
Hilde Pauch	Wendy Feig. Fritz Sommer	Regina Gottschalk
Jacob Gottschalk	Blumensack	Wolfgang Utter
Lea Blumensack	Ally Halbergs	Max Halbergs
Stamm Roser	Edith Friedheim	Giesela Hofmann
Leuch Jacobson	Margarete Jacobson	Emil Kohn
Thomas Jacobson	Else Goldschmidt	My Gottschmidt
Fritz Mayer	Fritz Mayer	Inja Mayer
Lea Mayer	Irma Heavies	Helene Mayer
Herman Kirsch	Liesel Joseph	Jerusalem Goussow
		Bara Guttmann

Dr. Leuth Julius u. Valerie

J. Lopic

Kaymann

Lea Sietz

Nov. F. Epstein & Frau

Susanne Jacoby

Wilhelm Gredberg

Imllbach

A. Wolf Frau

Walter Kieglberg

Oskar Mechner

Kurt Meyer & Frau u. Kind.

Egon Linsky & Frau

Otto Jacoly und Familie

Romulo Gzjalowski

Lici Gzjalowski.

Adolf Grintthal

Berta Grintthal

Walter Grintthal

Grete Grintthal

Edward Heil

Emro Heil

Alfred Friedheim

Herta Friedheim

Elly Rentlinger

Sieppid Weinsti

Sieppid Frank

Walter Wainberg.

Anno Ryma

Frith Straub

Alfred Braun

Mrs. Ruth Levin

Hans Wolfgang Philipp

Ruth Kellom

Heinz Gombitz

Giuster Gabel

Manfred Frank

Alfred Storus

und Samuel Schieinger

Marie Schillinger

Lottethely

Oskar Wutschmann & Frau

Johanna Fischer u. Kinder

Maria Salomon

Sibella Salomon

Sieppid Präyer Frau

Johann Prandl Familie

Rosa Stahl

Hilli Bornstein

Joseph Wachtel & Frau

Veronika Goldstein

u. Familie

Julius Herzog

Luise Roth u. Frau.

Melkman

Luise Middell
Richard Pflüger
Meta Pflüger
Julius Schulhof
Wella Schulhof
Moses Singer
Julie Singer
Josef Singer
Aron Securski
Luise Securski
Otto Eisenstein
Arthur Bruttner
Ludwig Meyerstein
M. Mann
Dr. Oscar Seewartz
Annick Seewartz
Richard Dresel
Ruth Dresel
Romy Gey
" Lina
" Jacques
Rosa Karliner
Herta Kraft
Paula Kikumann
Sabina Carr
Hilde Falkenstein

Walter Mikaelis
Ruth Fellner
Margot Berustein
Dr. Adler
Günther Krotzer
F. Dambach
Juwelmann
Vae. J. J. J.
Roder Reissner
Ruth Reissner
Gerda Reissner
Kurt Reissner
Luzo Reissner
M. J. J. J.
Lise Reissner
Dr. Arthur Reissner
Felix Reissner
Val. Reissner
Ruth Reissner
Erich Reissner
Arthur Reissner
Gey Reissner
Lena Reissner
Friedrich Reissner
Gesa Reissner

Martin Rothmann

Rudolf Ball + Frau

Karl Alexander & Paula

Fr. Heumann

Fritz Rothel + Frau

Heinz Rosenbach

Max Robert Lichtenstein

Ernst Weil

Sigfried Meier

Walter Heintz
Gippin + Else Heintz

Herbert Brück

Dr. Ernst Krügerstein + Frau Alice

Herbert Manne + Frau

Aschaff

Walter Greve

Walter Schmalz

Arthur Blau

Peter Schwaiger

Alfred Haldemann + Frau

Siegfried Rosenzweig

Gustav Kahn + Frau

Maxmann

Regina Freitag + Tochter

Frau Ida Jätschke

Ernst Rothholz

Ernst Marx

Familie Ernst Lichtenstein

Frau Johanna Forder

Familie Arny Goldschmidt

Günter Weil

Siegfried Seligmann

Familie Joeer Turbowitz

Arny Schindler

Frau Lilly Joseph

Max u. Fritz Schlesinger
Lilli Huber
Walther Fuchs-Marx
Anna Fuchs-Marx
Lea Siets.

Lea Siets

Max Levin

Mannheim.

Josephine Grossmann

Benjamin Albert

Chara Albert

Selb Grossmann

Helene Grossmann

Friedrich Grossmann

Nathan Haber Sally Guttman

Luja Knipel

Gieta Knipel

Sonja Knipel

Ullrich Teinkranz

Clara Kary

Julius Weil

Klara Weil

Willy Bock

Susanne Weil

Bertha Ackermann
Sieselotte Arndt.

Fritz Kaunz

Herminie Busfeld.

Clara G.

Paula Oberdorfer

Arthur Weil

Emelise Weil

Ingeborg Susi Weil

Herz Gossel

Helmut Gossel

und Frau Ruth Guttman
Herbert Klem

Leontine Rosen

Eva Rothschild.

Heinrich Adler

Robert Heine

Fritz Haindler

Josef u. Grete Guttman

Helga Guttman

Harry Guttman

Hermann Rosenbinger
 Georg Cohn - Frau
 Josephine
 Miss Rosenthal u. Frau
 Para Colson
 Dr. H. Borchardt u. Frau
 Dr. Mosenman Gertrud Schönmann
 Berthold Meier
 Woffheymy Frau
 Alfred Biehn
 Emma Biehn
 Hermann Strauss
 Moritz Franks u. Familie
 Selig Rosenberg
 Louis Rosenblum
 Franz Becker Rosenblum
 Charlotte Beck u. Frau
 Olga Koch u. Hans Otto Koch
 Aron Cornhorn u. Frau
 Dr. Thea Finkelstein
 R. Fritz Jannacow
 Frau Gussi Callin
 Betty Unger
 Max Gornimski u. Frau
 Ernst Philippini u. Familie
 Thea Thamm u. Kinder

Emma Hoffmann
 H. Hirschthal u. Familie
 Max Hirsch u. Familie
 Hanna Kiepinann
 Gertrud Kiepinann
 Philipp Baumann u. Frau
 Emma Rothschild
 Sophie u. Frank
 Moritz Frank
 u. u. u.
 Anna Oberad
 Emma Frank
 Hermann Frank
 Epirella Frank
 Max Frank
 Alex Frank
 Kurt Klein u. Familie
 Frau Betty Silber
 Frau Jack Oppi
 Max Oppi
 J. Dygoditski
 Harry Fischer
 Emma Fischer
 Eddy Gambery
 Paul Gilala
 Leontine Silber
 Ida Laubke u. u.
 Hilde Levin u. Kinder
 Ernst Ostrodski
 Gisela Alexander

Herrn Prioritäten
 Herr Lind
 W. Hiltner
 Aulis
 Lilly Hofmann
 J. Köpfer
 Frau Köpfer u. Familie
 Albert Frey
 Walter Greve u. Familie
 Herbert Hausse u. Fam.
 Geera Bianca Beck
 Hauspaentel
 Ref. Klara u. Familie
 Grete Waldmann u. Familie
 Hermann
 Berthold Beckmann
 Gertr. Margot Regser
 Adam Kamm

J. K. K. K.
 Walter Lauer
 Safi Aron
 Ernst Stein
 Georg Kappeler und F. K.
 Leopold Weiss
 Hanna Brauner
 Josef
 Susie Lauer
 Joseph Karina
 Berthold Rothholz
 Marg. Kalkinowitz
 Georg Kandler
 Hanna Kandler
 Levi Pinleim
 Hanna Tiedel
 Leopold
 Peter Goldstein

Selb. aus

Miriam Krenndler
Siegfried Rosenzweig

Arthur Höpfer
Addik Höpfer

Julius Geombick
Paula Geombick

Joseph Neufeld
Hyden Allen

Abraham Levy + Fran

Erich Gubman
Leo Varschki

Anton Haag
Rudolf Hirsch
Miriam Herman

Spete Stein
Gode Haber
Hans Haber

Erich Stein
Henriette Schapiro
Julius Schapiro
Henriette Altshiller
Selma + Karl Hoffmann

Max Gold
Rilde Mo
Frye Mo

Charlotte Nichtenhal
Jacob Wolfmann Stein

Rosa Rosentman
Ruth Rubenstein
Thea Rubenstein
Renate Rubenstein
Gert Rubenstein

Hubert Lerner
Karl Cybor
Gloria Guttmann

Max Falkenstein
Julius Weissberg
Regina Weissberg





ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Верхний ряд:

Элли Ройтлингер и ее девятилетняя дочь Рената позируют возле столовой на корабле.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Ренатой Ройтлингер Бреслоу)

Герберт Карлинер позирует со своим отцом Джозефом на палубе корабля «Сент-Луис».

Герберт и его брат Вальтер (нет на фото) единственные из всей своей семьи смогли пережить войну и иммигрировали в Соединенные Штаты в 1946 году.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Гербертом и Верой Карлинер)

Групповой портрет еврейских детей-беженцев. Среди них Эвелин Кляйн (задний ряд, в центре), Герберт Карлинер (первый ряд, слева), Уолтер Карлинер (первый ряд, второй слева) и Гарри Фульд (первый ряд, крайний справа).

Кляйнам позволили высадиться на Кубе.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Доном Альтманом)

Портрет Густава Шредера, капитана судна «Сент-Луис».

(Мемориальный музей Холокоста США, предоставлен Гербертом и Верой Карлинер)

Средний ряд:

Ана Мария (Карман) Гордон и ее мать Сидони на палубе, май 1939 года.

(Любезно предоставлено Аной Марией Гордон)

Пассажиры на борту судна «Сент-Луис».

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено доктором Лианой Райф-Лерер)

Фриц (ныне Фред) Бафф и Вера Гесс танцуют в бальном зале. Сойдя с корабля «Сент-Луис» в Бельгии, Фриц в 1940 году смог добраться до Нью-Йорка.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Фредом Баффом)

Нижний ряд:

На переднем плане слева направо: Ильза Карлинер, Роза Гуттман, Генрих Гольдштейн (Галант), Гарри Гуттман. Позади, справа: Альфред и Софи Арон.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Гербертом и Верой Карлинер)

Слева направо: Ирмгард, Йозеф, Якоб и Юдифь Кеппель, семья немецко-еврейских беженцев.

Ирмгард и Йозеф впоследствии погибли в Освенциме, а Юдифь, вместе с тетей и дядей, отправили на постоянное жительство в Соединенные Штаты.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Джудит Кеппель Стил)

Пассажиры пытаются связаться с друзьями и родственниками на Кубе, которым разрешили подойти к пришвартованному судну на небольших лодках.

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Национальным управлением архивов и учетных документов США, Колледж-Парк)

Примечания

1

Перевод с немецкого. (*Здесь и далее прим. пер.*)

2

Перевод с французского.

3

Перевод с немецкого.

4

Имеется в виду антисемитский еженедельник *Der Stürmer*.

5

Перевод с испанского. – *Прим. пер.*

6

«Ты Розенталь». – *Перевод с немецкого.*

Table of Contents

[Армандо Лукас Корреа Девушка из Германии](#)

[Часть первая Ханна и Анна Берлин – Нью-Йорк](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Анна Нью-Йорк, 2014](#)

[Ханна Берлин, 1939](#)

[Часть вторая Ханна «Сент-Луис», 1939](#)

[Суббота, 13 мая](#)

[Понедельник, 15 мая](#)

[Среда, 17 мая](#)

[Четверг, 18 мая](#)

[Пятница, 19 мая](#)

[Вторник, 23 мая](#)

[Четверг, 25 мая](#)

[Суббота, 27 мая](#)

[Вторник, 30 мая](#)

[Среда, 31 мая](#)

[Четверг, 1 июня](#)

[Пятница, 2 июня](#)

[Часть третья Ханна и Анна Гавана, 1939–2014](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1939](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1940–1942](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1950](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1953–1958](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1959–1963](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1964–1968](#)

[Анна 2014](#)

[Ханна 1985–2014](#)

[Анна 2014](#)

[Часть четвертая Ханна и Анна Гавана, вторник, 24 мая 2014 года](#)

[Анна](#)

[Ханна](#)

[Примечание автора](#)

[Слова благодарности](#)

[Пассажиры судна «Сент-Луис»](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)